

Николай Наволочкин

Амурские версты

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1857 год

*«Как от Шилки по Амуру
Великие версты:
Ох, достались эти версты —
Стерли у рук персты...»
(Забайкальская песня)*

1

Дед Мандрика, малолеток пятой Усть-Стрелочной сотни, грелся на майском солнышке с годком своим и соседом Пешковым Кузьмой, бывшим служилым казаком той же сотни Забайкальского казачьего войска. Посасывали деды пустые, без табака, медные богдойские трубочки, выменянные в молодости в один и тот же день у богдоев на летней ярмарке. Отвалили они в промен по глупости за каждую трубку по медному сибирскому пятаку, чеканенному еще, может, лет сто назад при матушке Катерине. Отвалили и, хотя с тех пор состариться успели, по сей день жалеют. Пятаки эти и гривенники медные с двумя соболями на одной стороне и вензелем царицыным — на другой, потом в цене поднялись. Приезжие заамурские торговцы и на здешней ярмарке, что таборится раз в год возле Усть-Стрелки, и на большой ярмарке у Горбицы, и даже в такой дали, как Старо-Цурухайтуевский караул, ценить их стали дороже серебра. На них можно сменять и ханшин, и буду, и огниво, и табачок. Хотя табак ныне обоим казакам ни к чему. Нутро уже не принимает дыма, обратно его кашлем выгоняет. Оттого посасывают старики пустые трубочки, благо в них вроде бы дух табачный сохранился. Должон, конечно, остаться.

Последний раз раскуривал Пешков свою трубку на зимнего Николу, когда отлежался немного после экспедиции прошлого года. Натерпелись тогда солдаты и казаки, поморозились, изголодались, а многие от тифа да простуды без причастия богу душу отдали. А все из-за его высокоблагородия Облеухова, чтоб ему на том свете ни дна ни покрышки, с отрядом которого ходил и Пешков. Но он еще легко отделался. Как раз под Николин день поборол казак простудную горячку. И хотя от слабости еще вставать не мог, сам набил обмороженными пальцами трубку и табак не просыпал. Правда, устал после этого, аж вспотел. Попросил дочку Настю высечь искру, затянулся и зашелся кашлем. Попробовал еще раз — нет, не идет табачок. С того разу и распрощался казак служилого разряда участник двух сплавов по Амуру Кузьма Пешков с куревом. Но трубочку хранит. Пососешь ее, потянешь и вроде где-то внутри легчает.

Мандрика бросил курить раньше и, можно сказать, от обиды. Провожали в ту пору первый сплав. Когда же это было? Может, в тот год, когда переселились в Усть-Стрелочную казаки из Цурухайтуя и привезли с собой невиданную доселе на карауле животину — свиней и баранов. Сейчас смешно вспомнить, а тогда переполошились в станице все от мала до

велика. Бегали к дому нового сотенного командира посмотреть, какие такие свиньи бывают и что это за бараны? Старухи, те отворачивались и крестились, когда мимо случалось проходить, и ребятишкам строго наказывали, чтобы не шастали у сотниковых ворот и не смотрели на эту пакость. Да оно и простительно. До той поры казаки в Стрелке скота и пашен держали мало, только и были у казаков кони. Больше охотой жили и рыбалкой. Шкуры изюбрей и лосей меняли в деревнях на хлеб, пушнину продавали в Шилкинском заводе купцам и там, что надо, на целый год покупали.

Вот с того лета и начались перемены в устоявшейся жизни казаков. «Значит, сплав-то первый прошел не в тот год, а попозже», — соображает Мандрика.

— Это когда же, паря, первый сплав был? — спрашивает он у соседа.

Пешков засовывает трубочку в рукав теплого халата, смотрит слезящимися глазами на берег, где стучат добрыми топориками Петровского завода линейные солдатики, и считает на узловатых пальцах: «...одно лето плыли до Николаевска; в другое возвращались; потом, выходит, пошел с полковником Облеуховым, с 13-м линейным батальоном, где и захворал. А теперь вот новое лето — одна тысяча восемьсот пятьдесят седьмой год. Выходит, первый раз сплавливались в пятьдесят четвертом». Пешков хитро щурится и говорит:

— Ежели ты, сосед, запамятовал, когда тебя Эпов по уху огрел, то в пятьдесят четвертом!

— В пятьдесят четвертом, — согласно трясет сивой бородкой Мандрика и вспоминает, какая суета была непривычная в ту весну, будто наступило светопреставление. Всю реку покрыли паромы и баржи с казаками и солдатами. И не думали никогда, и не чаяли станичники, что может в одном месте собраться сразу столько людей, что шум такой может быть в тихой Усть-Стрелке, где допреж стояло всего двадцать пять домов. Это нынче срубили сотенное правление, цейхгауз для оружия, хлебный магазин да новые жилые дома.

Бойкие казачки пытали у солдат: «Откуда вас столько берется?» На что солдатики отвечали: «Э-эх, молодка! Известно откуда — солдат солдата рождает!»

Но больше всего поразил станичников, конечно, пароход «Аргунь». Придумает же человек такое чудо! Дым из его высоченной трубы валил на берег и на казацкие избы, как при осеннем пале. Ревел он, пугая коней, сиплым гудком, так, что за много верст по реке слышно было. Испуганные эвенки — лесные охотники — после рассказывали, что, услышав гудок, они откочевали подальше в тайгу — думали: черт.

А как отваливать сплаву пришлось, все суетились и орали до хрипоты. Бабы-казачки от плача обезножили. Виданное ли дело — в неведомую даль, в далекие земли провожали они кормильцев и большаков сыновей. А когда вернутся, никто не знал — ни сотенный Усть-Стрелочной командир зауряд-хорунжий Богданов, ни командир сводной сотни, что отправлялась в путь, — зауряд-сотник Скобелицын. Одно было приказано отъезжающим в поход казакам: обмундирование и провизию готовить на два года.

Прежде, бывало, ревели бабы, когда провожали казаков на учения в Цурухайтуйскую крепость. И она, казалось, стоит в несказанной дали — пять сотен верст до нее, а до того Николаевска, куда плыли теперь мужики, может, две, а может, три и более тысячи верст. А главное, там, мол, и есть край света.

Немудрено, что ревели бабы, и по делу и не по делу орали начальники, казаки и солдаты. И когда пришло время «ура» кричать и «рады стараться», то многие уже не кричали, а хрипели. Только один Мандрика сидел на бережку, на еще не просохшем от утреннего дождя этом самом бревне, на котором они сейчас греются с годком Пешковым. Сидел и трогал горячее ухо, потому что ударил его в сутолоке урядник Васька Эпов. Съездил наотмашь, привык, вишь, бить служилых казаков на ученьях.

Из пожилых в малолетках теперь остался один Мандрика, а раньше, до перемен, что начались с приездом нового губернатора его высокопревосходительства Муравьева, многие в малолетках ходили до старости. Служилых казаков тогда требовалось немного, и всех, кто не попадал в строй, считали малолетками. Обмундирование и жалование они не получали, провиант им хоть и шел от рождения, но половинный.

Это уже при Муравьеве всех малолеток до пятидесяти пяти лет заверстали в служилые. А Мандрика остался по годам. Зато послали его заготавливать лес для плотов. Вернулся в станицу, когда сплав провожали в путь. Стоял в толпе у воды, вместе с другими станичниками и бабами, смотрел, как сводная сотня строится, чтобы на плоты грузиться. А тут на «Аргуни» оркестр Иркутского полка грянул в четырнадцать медных труб. Дуры бабы к самому строю кинулись и Мандрику с собой поволокли. Ну и рассвирипел урядник Васька Эпов: «Так вашу, паря, ети! Куды прете! И ты туда же, малолеток! Не вертись под ногами!» И влепил Мандрике оплеуху.

Выбрался старик на берег. Сел на бревно, достал трубочку и закурил с досады. Только табак, видно, от обиды, не пошел впрок. Кашель напал, голова кругом пошла, слезы потекли. Плюнул Мандрика в сторону Васьки Эпова и с той поры не курит. Как отрезал. Казачье слово, оно, паря, ого!

Сидят старики, подставляют бока солнцу, и, хотя каждый думает о своем, мысли у них, если разобраться, об одном. О том, как враз, быстро и круто изменилась жизнь и в Усть-Стрелке, и по всему Забайкалью.

Раньше по берегу Аргуни ли, или Шилки редко когда человека встретишь. Все станичные ветки, или по-нонешнему — лодки, на перстах одной руки пересчитать можно было. А за последние четыре года каких только людей не повидала Стрелка. И казаков самых дальних станиц, и солдат линейных батальонов, и начальства разного: казачьего, военного, даже в эполетах, и чиновников из самого Иркутска. А ноне, сказывают, царев посланник граф Путятин проследовать должен. Купцы-узельники вдруг объявились. Заявится с холстинным узлом в избу, что побольше, развяжет свой товар. Тут уж девки и бабы чуть не дуреют. И чулки лавочные взять хочется, и колечко, и серьги. А разбитной парень-купец лентами трясет, кажет бусы. «Прежде своему станичнику продать что-нибудь считалось зазорным. Калугу кто выловит, али козу подстрелит — тут же делили между соседями. А теперь, как узельники объявились, свой своему продавать начал», — сокрушается Мандрика.

«Еще совсем недавно девки и бабы вместе с мужиками в бане мылись, — думает Пешков. — А нынче моя Наська прыскает в ладошку, когда про это слышит. Да оно и верно. Бани-то, они вон день-деньской дымят — все приезжие в них парятся».

— Ваське Эпову, слышь-ка, — говорит Мандрика, — жребий выпал на Амур переселяться.

— Я бы не хворал, тоже своей охотой поехал бы, — отзывается Пешков.

— А я не... — раздумывает вслух Мандрика. — Ты поймей в виду: переезжать, значит, все хозяйство порушить.

— Так-то оно так. Да какое у нас хозяйство! А там получишь пятнадцать рублей пособия да двухгодичное содержание, положенное полевому казаку... А места на Амуре прадедовские, нашенские впусе лежат.

Мандрика молчит, только сопит пустой трубочкой, замолкает и Пешков, и оба вспоминают, как еще зимой читали и растолковывали в станице распоряжение генерал-губернатора: вызвать охотников к переселению. Будут даны тем охотникам паромы и баржи для сплава. Обещал губернатор дома в новых местах срубить. Лес, из которого собьют паромы, тоже сулил переселенцам отдать. Всем домочадцам назначен провиант половинный к казачьему, тоже на два года. Только переселяйтесь, казаки! Однако охотников оказалось немного. И вот уже весной тянули казаки жребий — кому ехать.

Мандрика смотрит на улицу, которая сбегает в сторону Амура, туда, где сливаются Шилка и Аргунь и начинается путь в далекие края, к самому морю-океану, и замечает мальчишку. Казачонок нехотя, еле переставляя ноги, плетется по разьеженной дороге.

— Семка! — кричит Мандрика. — Поди, голубь, сюда.

Семка, соседский мальчишка, боком подвигается к старикам и останавливается в почтительном отдалении.

— Из школы бредешь? — любопытствует Мандрика.

— Ну, — подтверждает Семка.

- Пороли нонче?
- Малость, — тупится Семка.
- Орал, поди? — подмаргивая, спрашивает Пешков. Семка многозначительно молчит.
- За что же пороли?
- Географию недоучил...
- Какой же тебе урок был? Ну-ка, скажи нам с дедом.

Семка с готовностью откашливается и скороговоркой бубнит:

— Страница пятая. Взглянувши пристально на плоскошарие, легко заметить, что материки с островами не разбросаны напояд, но представляют некоторую симметрию, позволяющую разделить все земли земного шара на четыре света: Первый — Новый свет или образцовый, который нам представляет Америку. Второй — Центральный или Европейско-Африканский. Третий — Восточный или Азиатско-Австралийский. Четвертый свет — Океанический, который, хотя и состоит из островов, но при тщательном наблюдении может быть подведен под общую мерку... — Выпалив все это, Семка втянул воздух и замолк.

— Ну, ин ладно, — сказал Мандрика. — Знатно чешешь. Чего ж, такого грамотея пороли?

— Я дальше не выучил, а урок задавали на целую страницу.

— Ну-ну, — щурит в улыбке слезящиеся глаза Пешков. — А в Амур ты, Семушка, хочешь?

— Хочу! — восклицает Семка и, топнув ногой, видно представив под собой доброго казачьего коня, рысью бежит домой.

Парнишке и правда грезится Амур, с его волнующей беспредельной далью. И для него это слово — «Амур» — не только река, которая начинается за песчаной стрелкой, а новые неведомые земли. Где-то там, об этом хорошо рассказывает дед Пешков, стояла славная русская крепость Албазин. Там не раз гремели отчаянные битвы, визжали ядра и рубились с врагом Семкины прадеды. И откуда-то оттуда — из Игнашиной, Солдатовой, Монастырщиной — из больших сел пришли сюда и поселились нынешние жители забайкальских станиц.

Манит казачонка Амур. Неужто и правда есть места, где разливается он так, что порой другой берег еле-еле разглядишь? Казаки, вернувшиеся из походов, рассказывали, что растет там пьяная ягода-виноград. Что осенью валит по Амуру рыба так, что весла на лодках ломает и черпать ее можно прямо котлом. Про тигра еще говорили — лютого зверя.

Очень хочется казачонку увидеть все это. Да и всем мальчишкам хочется. Недаром они давно перестали играть «в караул», хотя это была хорошая игра. Будто они уже взрослые казаки и объезжают на конях границу, а навстречу им едут казаки горбиченского караула, и есть место, где они должны встретиться, обменяться ярлыками и вернуться обратно. Теперь казачата играют «в сплав». Тянут бечевой плоты, попадают в шторм, жгут костры и охотятся на желтобокого, полосатого тигра.

«Семка-то поедет, и многие поедут, — грустит Пешков. — А я уж не поеду. Мне бы хоть до листопада, до морозцев дотянуть. А может, доживу...»

Сверкает под солнцем, рябит на мелях стремительная в этом месте прозрачная Аргунь. Монотонно повизгивают на берегу пилы, стучат, будто что-то выговаривают, топоры. Едкий запах горелой смолы тянется вдоль улицы от котлов, где разогревают вар для шпаклевки барж и лодок. Этот непривычный запах сдобривается другим — запахом гречневой каши, что допревает на горячих углях тут же на берегу, на обед солдатам.

Звонко ударяют молоты по раскаленному железу в закопченной, как курная баня, кузнице, сооруженной еще во время первого сплава тут же на берегу.

Трясет за ворот расхोдившийся унтер в чем-то оплошавшего солдата. Здоровенный тот линейный солдат тянет руки по швам, чтобы покорностью успокоить господина унтера. А из-за дальнего кривуна тянется к станице, уже не по Аргуни, а по Шилке новый караван барж, может, с Шилкинского завода, а может, из самой Читы.

На днях отправляется в дорогу четвертый Амурский сплав.

Ночью над темной стеной отвесных гор, что дыбятся за Аргунью на китайском берегу, висела полная луна. Сверкающая ее дорожка пересекала Аргунь, обрывалась на берегу возле Усть-Стрелки, а потом блестела вновь, продолжаясь суживающейся полосой уже на Шилке.

Лунная дорога эта отражалась в окнах дома сотенного командира, составленных из осколков настоящего стекла, и в маленьких слюдяных оконцах казачьих изб. И хотя большинство казаков укладывалось на покой рано, вместе с темнотой, казалось от лунных отблесков в окнах, что вся станица бодрствует.

По берегу Аргуни и по берегу Шилки, за порубленным черемушником, горели костры. Стремительное течение плескалось в борта неуклюжих барж, построенных по проекту корабельного инженера Бурачека, покачивало плоты, сбитые без всяких проектов, как говорил тот же франтоватый Бурачек: «Кому как бог на душу положил».

Особенно жаркий костер пылал под берегом у дома Пешкова. Там, вместе с прибывшими прямо за ледоходом аргунями — цурухайтуевскими казаками, толпились станичные парни и девки. Послушать, как они играют песни, подошли и линейные солдаты. Но служивые только сегодня добрались до станицы, еще не обвыкли и держались в стороне, не смешиваясь с казаками. Здесь их почему-то называли «москва», хотя никого из линейцев из Москвы не было. И сейчас девчата, нагнувшись к главной своей запевале голосистой Насте Пешковой, просили:

— Начни, Настюшка, старинную, пусть «москва» послушает.

— Да ну их, — отмахивалась Настя. — Устала я уж. — Но заметив, что к ней пробирается молодой казак, в новой, недавно сшитой форме, и узнав Мандрикина Ванюшку, сама вдруг затянула:

Во Сибири, во Украине,
Во Даурской стороне, —
— Во Даурской стороне, —

подхватил первый Ванюшка, а за ним девушки и парни:

И на славной, на Амуре, на реке,
На устье Комары-реки
Казаки острог себе поста-ви-ли...

Настя опять повела одним голосом:

Круг острога Комарского
Они глубокий ров вели,
Высокий вал валили,
Рогатки ставили...

Это была старинная песня, память об обжитом еще в стародавние времена Амуре, о котором никогда не забывали в забайкальских селах. Невесть кто и когда сложил ее, может, еще сподвижники Онуфрия Степанова и Петра Бекетова — защитника острога Комарского.

Как несчастье случилось, —

затянула опять Настя, после того, как хор повторил «рогатки ставили», и, словно бы не замечая Ивана, делавшего ей разные знаки, продолжала:

С удалыми казаками там:

Тут хор опять вступил, так что молодому казаку не оставалось ничего другого, как подтягивать вместе со всеми:

Издалече, издалече,
Из чистого поля,
Из раздолья широкого,
Из хребта Хингалинского,
Из-за белого камня
Выкатилось войско большое богдойское...

Солдаты песню такую никогда не слыхали, они попыхивали трубками, переглядывались.

— А что это за «войско богдойское»? — вполголоса спросил один другого.

— Да то ж китайцев они так кличут, — разъяснил второй. — А девка ничо, а! — и он подтолкнул локтем товарища.

Тот хмыкнул и отозвался:

— Хороша Маша, да не наша.

— Она не Маша, а Настя.

— Все одно — не наша!

Переключались по берегу часовые, и, когда песня смолкла, поведав о битве и поражении богдойцев, слышно стало, как и на Шилке окликают друг друга посты. А потом и там мужские голоса затянули песню. И хотя до певцов было далеко, и слова только-только угадывались, молодые казаки оживились. Они узнали эту песню. Она была новая и сложена своим станичником Пешковым, батькой Насти. И говорилось в песне о тяжелом походе прошлого пятьдесят шестого года, о том, как:

Со Стрелки отправлялись с полными возами,
В Кизи приплывали с горькими слезами...

— Настюха! — крикнул кто-то, невидимый за спинами толпившихся у костра казаков. — Слышь, Настя! Солдаты-то батьки твоего песню поют!

Но Насти у костра уже не было. Иван Мандрика, как только песня про Кумару кончилась, незаметно увел девушку от костра.

А в доме Ванькина отца, старого Мандрики, в эту ночь долго горел свет.

Нежданно-негаданно, на самом закате солнца, пожаловали к старикам гости.

Сам Мандрика сидел на лавке, решая, сейчас разуться или попозже, когда жена перестанет греметь чугунами. Марфа же задумала, пока еще совсем не стемнело, пополоскать посуду и в полумраке гоношилась у печи. Чугунок с остатком ухи и печеную картошку она засунула подальше в печь, чтобы Ванька, когда набегается, похлебал тепленького. Вынимая из печи ухват, она обронила горячий уголек на пол и запричитала, что вот, мол, на ночь гость пожалует и придется разжигать каганец, а масла-то в каганце совсем на доньшке.

— Ничего, наш гость нагуляется и в темноте ложку мимо рта не пронесет, — отозвался с лавки Мандрика, — а ежели Наську приведет, то им в темноте сподручнее.

— Зря такое баишь, старый, про свое, про дитя-то, — упрекнула его жена.

«Это Ванька-то дитя! Да он уже служилый казак», — хотел возразить Мандрика, да промолчал. С тех пор как он к старости начал заметно усыхать и притаптываться, вроде бы даже ниже становиться, а Марфа его все добрела, власть его в доме постепенно уменьшалась и переходила к жене. И не шумела на мужа Марфа, ничего не приказывала, тем более на людях, а слушался ее Мандрика и старался ни в чем не перечить. А почему — и сам не знал. Может, потому, что не дослужился он даже до полного казачьего содержания, не достиг

разряда служилого казака, а может, подавляла его Марфа своей дородностью. Марфа словно не замечала покорности мужа, величала его часто уважительно «казаком», но все в доме шло по ее воле.

Вот так сидел Мандрика, думая: разуваться али жену подождать, — как в сенцах послышались шаги. Там кто-то шарил по двери, нащупывая скобу, ясно, что не Иван. Наконец нашел и открыл дверь.

— Здравствуйте вашему дому! — услышали старики и узнали Ваську Эпова. За Васькой вошла его жена.

Вот уж кого, не только на ночь глядя, а вообще не ожидал увидеть у себя Мандрика, так это Ваську. Эпов имел чин урядника. Побывал однажды в самом Иркутске; от одного этого можно было на век загордиться. Там в иркутском казачьем конном полку учился он строю, артикулам с ружьем и пикой и другим премудростям. У себя в сотне на ученьях Эпов свирепствовал, чуть что не так, лупил казаков палкой по спине. Другие урядники тоже учили палкой, но не так, как Васька, этот бил без снисхождения. Правда, кто побогаче, откупались от побоев, дарили уряднику перед ученьем кто телка, кто жеребенка, а кто и лошадь. Потому-то и хозяйство у Васьки было крепкое. Одних коней — целый табун.

Мандрику Васька иначе и не называл — только малолетком. Сколько годов вместе в одной станице прожили, а за порогом в доме Мандрики урядник ногой не бывал. Если требовалось снарядить Мандрику на какую работу, то он стучал плеткой в окно и кричал: «Эй, малолеток, выходи!» На что Марфа неизменно отвечала: «Сейчас мой казак соберется!»

И вот сам грозный Васька Эпов пожаловал к Мандрике. Старики переполошились.

— Заходите, заходите, милости просим, — засуетилась Марфа.

Мандрика соскочил с лавки и не знал, как ему поступать: во фрунт перед урядником тянуться или встречать его как хозяин гостя. А сам в это время думал: «Чего он так поздно, да еще со своей Матреной. Может, урок какой хочет задать, так Матрена зачем?»

— А мы к вам в гости! — сказал, улыбаясь, Васька.

— В гости, по-соседски! — поддержала Ваську жена.

Васька был мужик как мужик — крепкий, почти квадратный. Зато Матрена, несмотря на достаток в доме и добрую еду, тоща была и оттого, может, зла. Поговаривали бабы зимой у проруби, когда по воду на Аргунь ходили, что надо бы Матрене дитенка. Царю-батюшке казак был бы, богу — душа православная, а дому — радость. Может, и приобрела бы тогда Мотря бабий облик, а так — шука и шука.

— Давай-ка, Матрена Степановна, узел! — как на плацу скомандовал Васька, видя, что хозяйева все еще в замешательстве.

Матрена протянула ему что-то завязанное в холстинку. Васька потряс узлом, но легонько, и достал оттуда граненый штоф со спиртом, кусок сала и даже свечку, которую, может, еще из Иркутска привез. В станице-то свечки были редкостью, да и баловство это — перевод денег. Ночью спать надо, а не свечки жечь.

Забегала Марфа. Чистую столешницу заново протерла, из печи картофель достала, уху, оставленную Ванюшке. Случай-то какой! В сенцы сбегала за вяленой рыбой и солеными огурцами. Урядник сам уголек из печи достал и раздул, свечку зажег. Никогда еще ночью не бывало так светло в доме Мандрики.

Уселись за столом как равные — с одной стороны гости, с другой — Мандрика с женой.

«Что это Васька такой добрый, не сглазил ли его кто?» — ломал голову Мандрика, наблюдая, как урядник разливает спирт. Васька поднял свой стакан зеленого стекла.

— Ну... — хотел он назвать Мандрику по имени и отчеству, да замешкался: не мог вспомнить ни имени старика, ни тем более отчества. — Ну, сосед, — нашелся Васька, — побудем здоровы!

— Пейте на здоровье, дорогие гостюшки, — закивала, как клушка, Марфа и первая пригубила разведенного спирту.

Эпов с Мандрикой опорожнили свои мерки до дна. Матрена, подражая жене сотника, у

которого доводилось им с Васькой гулять, оставила спирт на доньшке, чтобы видно было, что он там плещется, и, как жена сотника, отерла рукавом губы.

Спирт, хотя и сильно разведенный, нарушил неловкость, которую чувствовали и гости, и хозяева. Эпов, закусывая соленым огурцом, похваливал хозяйку за хорошую закуску.

— Ты бы, соседushка, и нам как-нибудь миску огурчиков занесла, а то наши-то к весне размякли.

— Да уж по утру и занесу, — обрадовалась просьбе Марфа. — У нас их еще бочоночек.

Но Васька уже заговорил о другом, о ранней весне: «Лед-то прошел еще до пасхи». Мандрика поддакивал, выпитый спирт приятно согрел старика, и уже не хотелось думать, чего это пожаловал в его дом урядник.

Налили еще. Васька опять закусил только огурцом, зато Матрена налегла на сало. Мандрика разошелся, принялся вспоминать, как рыбачили они однажды с Пешковым на протоке Безумке. Думали они тогда, что Безумка будет течь из Шилки в Аргунь, и так вентеря поставили, а течение повернуло ночью в другую сторону. За такой норов ее и прозвали Безумкой.

Слушая хозяина, Эпов похохатывал:

— Выходит, без рыбы остались!

— Без рыбы, — в тон гостю смеялся Мандрика, — и вентеря унесло.

Васька снова налил и вдруг посерьезнел. Он поднес стакан к свечке, словно рассматривая его на свет, и сказал:

— Однако, выпьем еще да и о деле потолкуем...

Мандрика сразу затих и насторожился, поглядывая на Марфу. Выпили на этот раз молча и так же молча стали закусывать. Слышно было, как на улице поют девки да лает чья-то собака.

— Слышал, сосед, что выпал мне жребеек-батюшка переселяться на Амур? — не то спросил, не то подтвердил уже известное Васька и, глядя в упор на Мандрику, продолжал: — Дак вот, паря, рядили мы нынче так и эдак с Матреной Степановной и решили, что переселяться нам нет никакого резону. Хозяйство, сам знаешь, у нас большое. Шевельни его с места, оно рассыплется, попробуй потом собери. Одних построек у меня на дворе сколько! А ведь все придется бросить псу облезлому под хвост.

Мандрика, еще не зная, к чему клонит Эпов, поддакивал. Добрая Марфа, сочувствуя соседям, принялась сморкаться и вытирать фартуком глаза. А Эпов продолжал:

— ...да, двор, и скотина, добра всякого сколько — все на плотях не увезешь. Особливо коней табун, как его перегнать?! Это тебе доведись переселяться: сел на плот, бабку рядом посадил, ноги, значит, свесил, и дуй хоть до моря. У тебя даже плетня вокруг дома нет.

Старик и на этот раз поддакнул: оно, мол, так, какое у меня хозяйство.

— Вот, вот, о том и я толкую, — обрадовался урядник. — Ну, разольем остаток. На доньшке покрепче.

Он захватил пятерней штоф, налил полстакана Мандрике, полстакана себе, хотел плеснуть Матрене, да раздумал, хотя она и пододвинула свою посуду. Чуть поколебавшись, Васька долил до полна стакан хозяина, остальное вылил себе. Матрена хотела что-то сказать, но Васька отмахнулся от нее:

— Ну, побудем здоровы!

— Благодарствуем, — отозвался Мандрика.

Мужики выпили. Мандрика стал сосать беззубым ртом огурец, а Эпов перевернул стакан, зажал его веснушчатými пальцами и как о деле решенном сказал:

— Вот мы тут думали, и с сотником нашим, господином зауряд-хорунжим толковали... Однако, одно остается — ехать заместо меня тебе.

— То есть как? — не понял Мандрика и, ожидая поддержку, посмотрел на жену.

Матрена опять порывалась что-то сказать, но Васька шевельнул ее локтем: молчи, мол.

— Все по закону, — сказал он. — Слышал, поди, распоряжение его высокопревосходительства генерал-губернатора о назначении к переселению. Там прямо про

нас писано... — Урядник полез в карман, достал оттуда свернутый вчетверо листок бумаги и, поднеся его к свечке, без запинки, как заученное, прочитал: — «Если богатый, кому достанется жребий, не пожелает, — Васька посмотрел на Мандрику и со значением повторил: — не пожелает сам переселяться, может, с разрешения ближайшего начальства, взамен себя, отправить наемщика, дав ему коня, корову и все необходимое для хозяйства».

Матрена наконец выбрала момент и сказала то, что давно собиралась:

— А мы вам коровку нашу, комолую, отдадим. Да ты ее, Марфушка, знаешь. Она в этом-то году яловая, а так справная коровка.

— И коня со сбруей, — добавил Васька, — и соху, что у меня на бане лежит. Вот, однако, ты и хозяин. Дом тебе на новом месте солдаты поставят, и магарыч за мной.

— Оно так, — замялся Мандрика, — да подумать бы надо.

В словах Васьки много было правды. Кроме вросшей в землю избы, никакого другого хозяйство в станице Мандрику не держало. Но здесь он родился и женился, и Ваньку вырастил тут же. И все-то места в округе он знал, что по Шилке, что по Аргуни. И казаки, кто из старожилов, все его знали, и он — всех.

Его Марфа родилась в большой станице Горбице. Там жители издавна держали скот, и у ее покойных родителей имелась коровка. Как вышла Марфа замуж, привела Мандрике в приданое телушку. Но та телушка во второе же лето завязла в болоте, и затянула ее трясина. Так с тех пор и не собрали они денег на корову. «Коровку бы хорошо завести, — думала Марфа, — чай, доить я не разучилась. Да вот страшно с насиженного места срываться. Здесь хоть крыша своя над головой. А что как в Амуре жилье-то не построят...»

— Однако, по рукам, сосед, — наседали урядник, — я ведь тебе пока по-хорошему, по-соседски предлагаю.

— Да оно так, — опять отозвался Мандрика. — Только надо бы нам промеж собой поговорить. Ванюшку спросить надо бы...

— Чего там, батя, поехали, — неожиданно для всех сказал от двери Иван. Никто не заметил, как он вошел, и, видно, уже слышал часть разговора.

— Во! — обрадовался Эпов. — Слышишь, что молодой казак баит. — И, обернувшись к Ивану, сказал: — Эх, жаль: не осталось спирту. Мы тут его уже употребили. А ведь полный штоф был. Однако ничего, магарыч будет.

Поддерживаемый за спину Матреной, запинаясь и беспрестанно поминая заразу и лихоманку, возвращался Васька Эпов в свой конец станицы. Говор и песни на берегу Аргуни уже стихли, только перекликались часовые, да переступали и похрапывали во дворах казачьи лошади.

— Вот и договорились миром, — приговаривала Матрена. — Одна беда, комолую жалко.

— Вот зараза, язвы ты, чего жалеть, зато сами остаемся. А малолеток этот — во пень, так пень! И денег не попросил. А я уже собрался рублей двадцать ему отсчитать. Под конец разговора берег.

Проводив за порог гостей, в доме Мандрики улеглись спать, но сон ни к кому не шел. Старики думали о перемене, которая их ожидает. Хоть и здесь несладко жилось, но другой жизни они не знали. А вот что будет там — на Амуре? Здесь вот и Ванюшка подрос, уже казак. И обмундирование ему справили. Содержание ему пойдет — подмога будет. Раздумывая, Мандрика пошарил в изголовье, достал свою трубочку и сунул в рот.

Марфа слышала, что он изредка причмокивает, и улыбалась: «Как дите несмышленое, сосет будто соску, не спит. Это ж в даль-то какую перебираться, — думала она, — и земля-то там, поди, другая, и вода, бают, в Амуре мутная — чаю не скипятишь».

Ивана Амур не пугал. Уже три лета, как вновь ходят туда в походы усть-стрелочные казаки, то один, то другой. Столько повидали. А Ванька дальше Горбицы нигде не бывал. Хочется повидать новые места. Испытать себя в деле.

Вот Колька Сухотин, лонись, уже на что тяжелый поход был, а отличился. Сколько в

тот год и казаков, и солдат поморозилось, с голоду и тифа перемерло. А Колька, как дошел их отряд до поста Кутомандского, поел мягкого яричного хлеба вволю, отогрелся и сказал: «Теперь, ребята, хлеба наелись вдоволь, я могу в два дня дойти до Стрелки». Сотенный командир его отругал: «Пошто болтаешь, — сказал, — до Усть-Стрелки сто восемьдесят верст. По льду, да по снегу, да без коней еще неделю маршировать будем». «Добегу!» — стоял на своем Колька и давай одеваться. «Ну, валяй, — разрешил сотенный, — беги, а не управишься в два дня, прикажу розог всыпать за хвостовство».

Колька взял с собой краюху хлеба и прямо в ночь ушел. Потом уже он казакам рассказывал: шагал и ночью, и днем. Присядет где на полчаса, достанет из-за пазухи хлеба, пожует и дальше. А как увидел дымы родной станицы, разревелся, и ноги почти отнялись, должно, от радости. Еле на берег влез. Приковылял к дому зауряд-хорунжего Богданова, постучался в дверь, разбудил хозяев и попросил записать час, когда он прибыл. Оказалось, прошел казак сто восемьдесят верст за сорок два часа. Зато потом произвели Кольку в урядники, и теперь он не Колька, а господин урядник Николай Сухотин.

Из-за Сухотина поссорился в эту ночь Иван со своей Настей.

Они, Пешковы, все будто Амуром сглазены, что дед Пешков, что Настя. Дед уже дважды в сплавы ходил. Любит старину вспоминать, рассказывает про Албазин, про Ерофея Хабарова, про Алексея Толбузина и Афанасия Бейтона так, будто с ними табак курил. А с Настей, когда ушли они от костра и пригреблись за огородом на коряжине, все сначала шло хорошо, а потом она говорит: «Вот Сухотин, это казак! А ты бы, Ваня, так смог?» Дался ей этот Колька. «Да я бы и дале пробег», — сказал Иван. «Ой ли, Ваня, — засомневалась Настя. — Ночью-то в темноте, да один, по диким местам...»

Хотел с ней Иван о другом поговорить: как заведут они свой дом, как поженятся, когда дослужится он до урядника, — а она опять про Кольку Сухотина.

Ванюшка ее обнял, подержал так, чтобы попривыкла, потом поцеловать хотел, а она на это: «Вон чо удумал. Уходи скорее, за ради Христа!» Как будто до этого они не целовались ни разу!

Осерчал Иван и ушел, а тут дома разговор про Амур. Ну, раз такой раздор с Настей, решил Иван ехать. Пусть кому другому Настя про Сухотина баит, все равно Колька женатый. А Иван дальние края посмотрит, отличится и вернется, может, урядником.

Журчала у самой утомившейся на ночь Усть-Стрелки быстрая Аргунь. Катил по дну камушки. Бежали ее волны мимо плотов и барж, мимо темных домов казаков пятой Усть-Стрелочной сотни, стремились на восток, чтобы, встретившись с водами Шилки, разлиться в просторный Амур. А полная луна успела уже подняться и переместиться на запад, и прозрачная дорожка ее легла теперь тоже на восток. Прямо от станичного правления, что стояло на самом краю села, тянулась она по Амуру, по его широким плесам, словно дорога к исконно русским землям, где были пролиты и соленый пот пахарей, и горячая кровь воинов.

Битый сегодня унтером и поставленный им внеочередь часовым, солдат 14-го линейного батальона Михайло Лапоть, как замороженный, смотрел на эту манящую полосу: «А вот взять ружье бросить и убежать по этой дороге, — распалял себя он. — Тамо-то, на Амуре, меня унтер не достанет. А достанет, дам ему — што левой, што правой по роже — и дух испустит».

— Слу-шай, Аргунь! — донеслось до него с соседнего поста.

— Слу-шай, Амур! — не мешкая, откликнулся Михайло.

— Слу-шай, Шилка! — отозвался часовой уже на Шилке...

передовой отряд 13-го линейного Сибирского батальона.

Передовым отрядом шли всего две роты, что очень заботило нового батальонного командира, а точнее исполняющего его обязанности капитана Якова Васильевича Дьяченко. Батальон растянулся почти на двести верст. Четвертая рота, сплавлявшаяся на плотах, сидела, видимо, где-то на мелях, не добравшись и до Горбицы. Третья задержалась в Горбице, ожидая погрузки конных казаков шестой Горбиченской сотни, предназначенных к переселению на Амур. Но большинство казачьих семей еще не было готово к сплаву, и когда, наконец, они погрузятся, никто не знал. А каждый день был дорог. Передовой отряд спешил буквально за водой, а она все время падала. Правда, в последние сутки Шилка начала прибывать, что и позволило двум ротам за день проделать почти половину расстояния до Амура. Зато на первую половину пути, на какие-то сто двадцать верст, потратили девять дней. А по графику, расписанному в Иркутске, на дорогу от Шилкинского завода до Амура всему батальону отводилось ровно два дня.

Если оставшие роты успеют воспользоваться подъемом воды, то они выйдут к устью Шилки через день-два. Но кто ее знает, эту своенравную Шилку, вода может упасть за ночь, и тогда плоты, на которых сплавляется четвертая рота неопытного, только что из корпуса подпоручика Козловского, надолго застрянут, не добравшись до Амура. За третью роту капитан был более спокоен, у нее кроме плотов, подготовленных для казаков, имелись довольно маневренные баржи и лодки, построенные самими линейцами. Солдаты на них всегда помогут застрявшим плотам. Лишь бы их долго не задержали с погрузкой казаки.

Сегодня или завтра в Усть-Стрелку должен прибыть генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев. Дьяченко уже был достаточно наслышан о вспышках гнева, на которые так скор генерал-губернатор, и готов был выдержать разнос, хотя опаздывал не только 13-й батальон. По пути его солдатам приходилось снимать с мелей баржи и спасать солдат с развалившегося плота 14-го батальона. Однако сам командир 14-го батальона майор Языков давно уже в Усть-Стрелке. Обгонял батальон и баржи Амурской компании, сплавлявшей на Нижний Амур в это лето провиант, боеприпасы и прочие грузы. Значит, отстает вся экспедиция.

«Впрочем, капитан, — усмехаясь подумал Дьяченко, — за 13-й батальон отвечаешь ты сам, а твой передовой отряд опаздывает на восемь дней. Не рано ли тебе дали это?» — и он покосился на свои новенькие капитанские погоны, которые носил чуть побольше месяца.

Думая обо всем этом и вглядываясь в многочисленные суда, приставшие к правому берегу Шилки, коренастый, моложавый для своих сорока лет капитан почти радовался служебным заботам, они позволяли не думать о неурядице в личных делах.

— Ваше благородие, а ведь это Стрелка, — сказал негромко старый солдат Кузьма Сидоров, только что замерявший глубину.

Сидоров был одним из немногих ветеранов батальона, перенесших экспедицию пятьдесят шестого года. Он служил в батальоне уже почти двадцать лет и, чувствуя, что новый командир ценит его, держался с достоинством и не боялся запросто заговорить с капитаном.

— Вижу, Сидоров, — отозвался Дьяченко. — Значит, еще раз померяешь амурские версты?

— Выходит, так, ваше благородие, — разглядывая через прибрежный тальник темневшие в отдалении крыши станицы, согласился Сидоров. И, помявшись, сказал: — У меня тут в Стрелке знакомый живет, казачок один. Вместе в том году бедовали. Может, будет время, дозволите сбегать?

— Посмотрим, Сидоров... Если ночевать придется, сходишь.

Обрадованный Сидоров зашагал вдоль борта, чтобы вновь замерить глубину.

Молодые солдаты из новобранцев, впервые участвовавшие в походе и успевшие за десять дней пути испытать его тяготы, уже не чаяли добраться до Усть-Стрелки, о которой

дорогой часто говорили. Их бывалые товарищи — «дядьки», не один год таскавшие солдатские ранцы, обещали, что за Усть-Стрелкой начнется Амур и кончатся окаянные мели.

Не раз по дороге ротные баржи, вдруг зашуршав днищами, влезали на перекат, и тогда новичкам батальона приходилось переваливаться через борта и, чуть помедлив, чтобы набраться духу, прыгать по поясу, а то и по грудь в студеную воду. Там, озябнув до синевы и судорог, они раскачивали жердями тяжелые баржи, пока не сдвигали их с места. Хорошо, если это получалось быстро, а то не раз приходилось, чуть отогревшись у костра на корме, опять лезть в Шилку.

«А все это оттого, — думал солдат первого года службы Игнат Тюменцев, — что попали мы в 13-й батальон».

О 13-м линейном батальоне среди солдат шла дурная слава. По рассказам «дядек» выходило, что ему постоянно не везло. Не везло на командиров, не везло в походах и постоянно не везло с провиантом. И все из-за его несчастливого номера. Бывший командир батальона полковник Облеухов любил чуть что лично расправляться с солдатами, и старики рассказывали, что бил он не как-нибудь, а норовил испечь лепешку во всю щеку. Кулачище у него крепкий, да и сам он мужик здоровенный.

Но особенный страх нагоняли рассказы о походе прошлого года, когда батальон проделал почти пять тысяч верст от Шилкинского завода до далекого Мариинска, где теперь находился штаб амурских войск, а потом бечевой шел обратно. И лишь поздней зимой солдатики вернулись на квартиры, оставив половину своих товарищей среди торосов на амурском льду да в снегу на песчаных островах.

Но солдат не выбирает ни командира, ни место службы.

Побритый наголо и облаченный в новый мундир, Игнат не один раз осенил себя крестным знаменем, пока унтер вел новобранцев в канцелярию, где их расписывали по батальонам. Не помогло.

Первым по ранжиру оказался веснушчатый добродушный богатырь.

— Михайло Лапоть! — гаркнул он у стола, за которым сидели писарь и два офицера, и уставился взглядом на писаря.

Унтер-офицер писарь казался новобранцам главным человеком, от которого зависела их судьба.

— Пойдешь в 14-й батальон, — распорядился один из офицеров.

«Повезло человеку», — подумал Игнат.

Второй солдат выкрикнул свою фамилию и тоже попал в 14-й батальон. До Игната оставалось три человека.

— В 14-й... В 14-й... В 14-й, — приказывал офицер.

«Ну, кажется, пронесет», — радовался Игнат. Подражая другим, он бодро выкрикнул:

— Игнат Тюменцев!

Офицер заглянул в список под рукой у писаря, потом в свои бумаги и равнодушно сказал:

— Пойдешь в 13-й батальон...

Не раз потом Игнат думал, что, окажись он впереди хоть на одного человека, попал бы в 14-й батальон, и, может, не пришлось бы хватить лиха на Шилке. А будет ли на Амуре полегче, кто знает?

Родился Игнат в крестьянской деревне Засопошной, недалеко от Читы. Там с ранних лет хлебопашествовал и охотился, а прошлой осенью его отдали «под барабан», — так говорили сельчане о рекрутах.

В деревне Игнат считался парнем заметным. Девки на посиделках его выделяли, потому что Игнат охотно играл на балалайке, не куражился, как это иногда делал сынок лавочника Илюшка, единственный владелец гармони на все ближние деревни. Мог Игнат и сплясать, не хуже, а может быть, лучше других. Жалко было девкам с ним расставаться, когда попал он в рекрутский набор.

И случилось с Игнатом перед отъездом такое... непонятное, что перевернуло всю его душу.

В тот последний вечер в родной деревне собралась молодежь на бревнах, что заготовил Илюшкин отец для нового дома. Игнат с парнями чуть выпил, по случаю проводов. Пели, как всегда, песни, выжимали друг друга с бревен, боролись, плясали у костра — парни «Бычка», а вместе с девушками «Голубца».

Уже за полночь Илюха сам затоптал угли догоревшего костра, и вечерка стала расходиться. Парочки растворились в темноте, будто их и не было. Остальные гуртом потянулись за Илюхой, который с гармонью пошел провожать девчат в дальний конец улицы.

Игнату с ними было не по пути. Он постоял у бревен, послушал, как, удаляясь, наигрывает гармошка, как запели под нее свои припевки девчата, и не спеша пошел домой.

Прошагал он совсем немного, и тут ему навстречу, от тесовых ворот усадьбы лавочника, отделилась тень. Отделилась и стала, не выходя на дорогу.

— Игнаша! — окликнул его девичий голос.

Игнат остановился. Как-то по-особенному, очень уж робко, словно выдохнула, произнесла девушка его имя. Он не сразу узнал в ней дочь соседей Глашу. А когда узнал, непонятно почему, словно окунулся в радостную теплую волну.

— Ты, Гланя? — спросил он, не понимая, отчего так радуется этой встрече и называет ее Гланей, а не Глашкой.

Глаша была девчонка как девчонка, и до этого Игнат ничем не выделял ее среди других девушек деревни. Она только этой осенью начала бегать на вечерки. Держалась тихо, не плясала, когда заводили «Голубца», не участвовала в шумных играх, тихонько сидела и улыбалась непонятно чему. Никто из парней пока ее не провожал, а сам Игнат провожал других, постарше. По-соседски другой раз крикнет ей что-нибудь через плетень — вот и весь разговор. Да и сегодня Игнат не помнил: была она на бревнах или нет.

— Домой идешь? — спросил Игнат, чтобы нарушить неловкость, наступившую от неожиданной встречи.

И это тоже было странно, никогда раньше, встречаясь с Глашей, Игнат не испытывал никакой неловкости.

— Тебя жду, — ответила Глаша, не потупясь, как это делали обычно девчата, начиная разговор с парнями, а глядя прямо ему в глаза.

И в голосе ее не было той нарочитой бойкости, за которой девушки иногда стараются скрыть свое смущение, и когда не поймешь, правду они говорят или шутят.

И пока Игнат топтался на месте, не зная, что сказать в ответ, Глаша тихо подошла к нему вплотную, так, что он видел почти у своего лица ее бледное в темноте лицо. Он стоял, проникаясь радостной нежностью к этой девушке из-за ее доверчивости и гордясь тем, что она вот так открылась ему, с какой-то совсем неведомой стороны. Прислушиваясь к тому, что в нем происходит в эту минуту, и веря, что она не отшатнется и не обидится, он положил свои руки ей на плечи и осторожно привлек Глашу к себе. Щекой он ощущал ее полushалок и ловил тепло ее дыхания.

Так, не шевелясь, боясь спугнуть эту близость, они, робко прижавшись друг к другу, стояли какое-то время, и обоим казалось, что лучших минут в их жизни не было и не будет. Но вот звук Илюшкиной гармошки стал приближаться.

— Пойдем, Игнаша, — сказала она.

— Пойдем, — отозвался он.

Но оба они продолжали стоять не шелохнувшись, будто понимая, что такой близости и такой теплоты друг к другу испытать им уже не придется.

Потом Глаша первая отстранилась. Игнат не пытался удерживать ее. Он покорно опустил руки. Но они постояли так еще немного. Гармошка уже была недалеко. Глаша, ничего не сказав, пошла по дороге. Игнат зашагал следом, отстав на шаг.

— Игнаша, — сказала она, не оборачиваясь, — хочешь, я буду тебя ждать? Долго,

доколе ты будешь служить.

Игнату на миг показалось, что это возможно, но сразу же он впервые со всей определенностью ощутил, на какой страшно большой срок уходит из родных мест. Недаром говорили: в рекрутчину, что в могилу. Поняв это, он ужаснулся и сказал:

— Нет, Гланюшка, не дожدهшься ты меня. Служить-то мне ровно двадцать лет.

Ему казалось, что все сказано и Глаша об этом уже не заговорит, потому что она прожила на свете меньше, чем тот долгий срок солдатской службы, который его ждет.

Теперь они шли рядом по твердой, чуть подмерзшей от октябрьских заморозков дороге. Ни одно оконце в низеньких избах по улице не светилося. Глаша вдруг ступила вперед, загородив ему дорогу.

— Буду. Буду! Слышишь, Игнаша, буду я тебя ждать, хоть до старости, — прямо и настойчиво произнесла она.

Он собрался что-то возразить, но она зажала прохладной ладошкой его губы.

— А помнишь, Игнаша, — вдруг весело и звонко на всю тихую улицу сказала она, когда они опять пошли, — помнишь, прошлой зимой ты вернулся с охоты и бросил мне за калитку белочку. «На тебе, Глашка, на воротник!»

Игнат совсем забыл об этом случае, потому что не придавал ему значения. Шкурка белки была подпорчена свинцом, и купцы бы ее не взяли.

— Я эту белочку берегу, чтобы память о тебе была. А тебе... вот на память... — она нашла его руку и положила в ладонь мягкий сверточек. — Кисет тебе.

— Спасибо, Гланя, — задержал ее ладонь в своей Игнат. — Спасибо, хоть я и не курю.

— Будешь курить, — уверенно сказала Глаша, — солдаты все курят.

Дальше они шли, взявшись за руки, хотя в деревне никогда так парни с девушками не ходили. Это считалось зазорным, как и ходить по-городскому под руку. В Засопошной, когда было темно, парочки бродили обнявшись. Но Игнату и Глаше было хорошо именно так.

У самого дома Глаша осторожно высвободила свою нагретую ладошку из руки Игната и, шагнув за раскрытую калитку, сказала уже из своего двора:

— Ты помни, Игнаша, что я тебе говорила, — и побежала к сенцам.

Утром у телеги, которая собирала по селам новобранцев, толпились почти все жители Засопошной. Приплелись даже дряхлые старики. Рекрутов с Засопошной не брали с самого пятьдесят четвертого года, когда на Крымскую войну, в неведомый город Севастополь, ушло сразу двое. А сегодня вот уходил Игнашка Тюменцев.

Лавочник, Илюшкин отец, прислал на проводы четверть водки. Игнатову мать поддерживали под руки соседки. Причитала она о сыне, как о покойнике. Терли глаза, всхлипывали и другие бабы. Игнатов отец бодрился, не показывал виду, но когда приложился к чарке, тоже сник, стал отворачиваться и старательно сморкаться. Многочисленные Игнатовы младшие братишки и сестренки смотрели на него, как на чужого.

И вот, когда телега тронулась, когда Илюха заиграл что-то веселое, а Игнат еле оторвался от матери и пошел, не оглядываясь, за телегой, к нему бросилась Глаша. Она долго стояла тут же в толпе, стесняясь подойти. Игнат видел ее то за плечами толпившихся вокруг него парней, то, обернувшись, примечал ее платок среди женщин и тоже не решался подойти. Глаша ждала до последней минуты, а потом, не постеснявшись отца с матерью, не думая о том, что будут говорить в селе, подбежала и обняла Игната. Платок ее сбился, обнажив русые волосы, а губы неумело прижимались к щекам растерявшегося парня.

— Чего задумался? — толкнул Игната сидевший с ним в паре солдат. — Гляди-ка, приставать будем.

— Принимай к берегу! — скомандовал в это время капитан Дьяченко.

За многочисленными плотами и лодками, облепившими берег Шилки, он выбрал наконец место для своих барж. Услышав команду, гребцы, сидевшие по правому борту, подняли весла. Солдаты левого борта, а с ними Игнат Тюменцев, дружнее, чем прежде, налегли на весла. Баржи одна за другой стали поворачивать и приставать к берегу.

И солдаты, и офицеры оживились. После десяти дней пути их ожидал отдых. Длинный ли, короткий — они пока не знали. Но любой отдых — это отдых. До этого они шли с первых проблесков рассвета до глухой темноты, когда берега начинали сливаться с водой и плыть дальше было рискованно. Лишь тогда капитан давал команду приставать. А здесь привал в середине дня!

Прошли какие-то минуты, и на берегу запылали костры. Кашевары засуетились у котлов. Добровольные помощники таскали к очагам сучья и коряжник, бежали с ведрами за водой. Дьяченко смотрел на оживленные лица солдат, слушал веселую переключку голосов и вспоминал батальон в середине зимы, когда ему в Шилкинском заводе пришлось принимать его у полковника Облеухова.

Из четырех рот батальона удалось построить в полном составе только полторы — роту и полуроту, те, что не участвовали в сплаве прошлого пятьдесят шестого года, сплаве, который тогда же называли «бедственной экспедицией». Остальные роты выглядели жалко. В их шеренгах едва насчитывалась треть состава. Еще одна треть числилась в списке больных: простуженных, обмороженных или отощавших от голода. Меньшая половина их содержалась в лазарете при Шилкинском заводе, а остальные отлеживались по станицам на всем протяжении Шилки — от завода до Усть-Стрелки. Но и те, что стояли в строю и считались здоровыми, поражали своим потеряннным и убогим видом. Во взглядах одних застыл испуг, глаза других выражали тупое равнодушие, и это было особенно страшно, словно вместо глаз у солдат были вставлены тусклые пуговицы.

Дьяченко, глядя на лица солдат с так и не отмывшейся копотью костров, на их обмороженные щеки и поразившие его своей отрешенностью взгляды, хотя и знал, что стало с остальной частью батальона, однако не удержался и сказал Облеухову:

— Господин полковник, я не могу насчитать еще почти половины нижних чинов...

Офицеры поговаривали, что Облеухов со дня своей недавней свадьбы «не просыхал» ни на час. По-видимому, они были недалеки от истины. Во время передачи батальона полковник, хотя и держался на ногах твердо, смотрел осоловелыми глазами, от него несло устоявшимся водочным перегаром. До него не дошел смысл слов, сказанных Дьяченко.

— Так у вас же, штабс-капитан, в руках список больных, — недовольно отозвался полковник.

— Я говорю о тех, кого нет в строю и в списке.

— Ах, об этих!

— Да, с вашего позволения, — подчеркнуто вежливо подтвердил Дьяченко.

Облеухов снял папаху, истово перекрестился и важно произнес:

— Царство им небесное.

Потом он надел папаху, мутным взглядом посмотрел на Дьяченко и, помолчав, добавил:

— Насколько мне известно, штабс-капитан, вы еще не командир батальона. Я надеюсь, лишь временно принимаете оный. И не вам, новому в этих краях человеку, не зная местных условий, судить нас, старых солдат. Давайте-ка лучше заканчивать эту затянувшуюся процедуру.

С тех пор прошло полгода, но батальон заметно изменился в лучшую сторону. Добрались из станиц, вернулись из лазарета выздоровевшие солдаты, прибыло пополнение. Поначалу и старые служаки, и новобранцы боялись самого слова «Амур». Очень уж свеж был в памяти неудачный поход. А солдаты, перенесшие его, ночами, покряхтев и поохав, день, дескать, государев, а ночь наша, вспоминали о походе, добавляя к былям небылицы, хотя можно было ничего не придумывать, испытания на долю батальона действительно выпали тяжелейшие.

Дьяченко считал, что в трагическом исходе экспедиции виновны два человека: бывший командир батальона полковник Облеухов и майор Буссе, отвечавший за обеспечение сплава продовольствием. Но более других, конечно, Облеухов.

Дьяченко, хотя и служил под началом Облеухова, встречался с ним всего дважды — в

начале и в конце амурской карьеры полковника. Первый раз в Иркутске, ранней весной 1854 года, когда Облеухов был назначен командиром батальона, второй раз прошедшей зимой, при сдаче батальона.

В пятьдесят четвертом году Дьяченко был еще новичком в Сибири и не знал ее, хотя числился в «Сибирском линейном № 13 батальоне» с марта 1852 года, когда после более чем десятилетнего перерыва вновь вернулся на военную службу.

Приказ о назначении в батальон он получил в далекой отсюда Полтаве, откуда три месяца добирался до Иркутска. Не успев обжиться и освоиться в «сибирском Париже», поручик Дьяченко получил приказ доставить в Москву двести семьдесят шесть рекрутов-сибиряков. Дорога с ними до Москвы, сдача солдат и возвращение заняли почти год. Зато он первый привез в Иркутск весть о победе адмирала Нахимова при Синопе. А через несколько месяцев, почти сразу же после получения известия о том, что Англия и Франция объявили России войну и их эскадры уже вошли в Черное море, Муравьев уезжал на Амур возглавить сплав по азиатской реке.

В тот день, 20 апреля 1854 года, по всей сибирской столице звонили колокола. Ходили слухи, что англо-французская эскадра идет вокруг света, чтобы напасть на Камчатку, а потом на Аян и Охотск, что китайцы у Айгуня якобы перегородили Амур цепями, чтобы не пропустить русских. Но более всего говорили о решении Муравьева провести сплав по Амуру.

Для непосвященных в подготовку сплава, во все столичные интриги, предшествовавшие решению о нем, это была действительно ошеломляющая новость. Дорогой, разведанной русскими землепроходцами еще в XVII веке, впервые после того, как был оставлен славный Албазин, по Амуру должны были пройти русские суда и доставить в его низовья, на Камчатку и Сахалин войска, боеприпасы и продовольствие.

За Ангарой в честь отъезжающего на Амур генерал-губернатора городские власти и купечество накрыли столы для прощального обеда. Еще только-только распустились вербы и ими украсили стол, за которым сидел Муравьев с супругой. Много было речей и тостов. Дьяченко запомнил разговор незнакомых ему полковника и штатского чиновника. Чиновник, видимо, сомневался в необходимости экспедиции.

— У Невельского в Николаевском тридцать человек и тридцать дрянных кремневых ружей, в Мариинском восемь солдат и столько же ружей, — сказал полковник.

— А пушки-то, конечно, есть? — спросил чиновник.

— А как же! — последовал ответ. — Имеются! В Николаевском две трехфунтовых пушки, да стреляет одна. Стоит еще пушечка в Александровском посту, в Де-Кастри. А пороху во всей экспедиции осталось полтора пуда... Вот и судите, нужен ли нам сплав!

Но общество, собравшееся за столом, в своем большинстве поддерживало сплав. Все поздравляли Муравьева с великим начинанием.

В конце обеда поднялся полковник Облеухов.

— Я, ваше высокопревосходительство, простой солдат, — сказал он, — и горжусь этим. Позвольте же мне, по-простому, прочесть вам прощальную поэму собственного сочинения.

— Просим! Просим! — поддержало полковника общество.

Он развернул лист бумаги, отнес руку вперед и зычным, привычным командовать на плацу, голосом начал:

Порадовал ты нас приездом,
Но дал лишь на себя взглянуть,
И уж сулишь нам грусть отъездом,
Собравшись в дальний дивный путь...

Муравьев поморщился, когда доморощенный пиит обратился к нему на «ты», но потом, заметив, что его супруга, уже свободно говорившая по-русски француженка Екатерина

Николаевна, томно прикрыв веки, беззвучно прихлопывает пухлыми ладошками, а другие дамы подносят к глазам платочки из модной в тот год в Иркутске сарпинки, расчувствовался сам и благосклонно выслушал длиннющее стихотворение.

Особенно понравился ему конец поэзы:

...Гряди ж, герой, среди молений,
Теплящихся во всех сердцах.
Русь от тебя ждет приношений,
Каких не сделал и Ермак!

Еще раздавались оживленные хлопки, еще, прижав растопыренные пальцы к тесному мундиру, полковник галантно раскланивался, а уже карьера его была предрешена. Обернувшись к начальнику штаба, Муравьев спросил:

— Вакансия командира 13-го батальона еще не замещена?

И получив утвердительный ответ, распорядился:

— Поставить на батальон полковника...

— Облеухова, — подсказал начальник штаба.

— Да, да, — кивнул Муравьев.

Это была первая встреча Дьяченко с Облеуховым. Вскоре поручик испросил отпуск по семейным обстоятельствам и уехал в Полтавскую губернию за сыном. Вернувшись и пристроив двенадцатилетнего Володку в доме купца Захарова, у которого до этого квартировал сам, Дьяченко отправился в забайкальский город Верхнеудинск.

13-й линейный Сибирский батальон, сформированный еще в 1829 году из Иркутского гарнизонного батальона, к началу 1855 года был разбросан по трем пунктам. Одна рота стояла в Иркутске, две находились в Верхнеудинске и одна в Шилкинском заводе. Назначенный командиром двух рот, стоявших в Верхнеудинске, Дьяченко, ставший к тому времени штабс-капитаном, получил приказ следовать с этими ротами в Шилкинский завод, куда предполагалось стянуть весь батальон.

И опять пешим порядком пришлось чуть ли не два месяца шагать по Забайкалью. В сплаве пятьдесят шестого года штабс-капитан непосредственно не участвовал, он командовал конвойным отрядом.

Полковник же Облеухов, перед самым сплавом, сосватал дочь богатого верхнеудинского купца красавицу Сашеньку Курбатову. Свадьба была отложена до возвращения жениха из похода.

Плыли в тот год линейцы на лодках. Облеухов оказался чувствительной натурой. Ночами он грезил о будущей встрече с невестой, сочинял ей нежные послания в стихах и засыпал только перед рассветом. Утром ординарец не подпускал никого к палатке начальника отряда. «Приказано не беспокоить», — шепотом объявлял он, когда в первые дни офицеры приходили доложить, что отряд готов в путь. Подкрепляя слова ординарца, из палатки рычал пес Султан, лично выращенный Облеуховым со щенячьего возраста. Линейцы и казаки, входившие в отряд, терпеливо ожидали пробуждения полковника, наблюдая, как мимо них вниз по Амуру проходят другие отряды третьего сплава.

В Мариинск отряд Облеухова добрался с опозданием на два месяца. Пока в Кизи сдавали грузы, пока готовились к возвращению, уходили лучшие летние дни.

Наконец, в самом конце июля, тронулись в обратный путь, теперь уже против течения. Солдаты не умели идти бечевой, лодки вихляли по реке, часто налетая носами на берег. Амурские версты казались длинней, чем были.

Следовало спешить, а тут подошел день ангела Саше Курбатовой. Облеухов устроил по этому случаю трехдневный пир и хлебосольно угощал офицеров обгонявших их батальон отрядов.

Через некоторое время оказался день рождения будущего тестя, а потом, по

счастливному совпадению, и дорогой тещи — эти события отмечались скромнее, всего двухдневными попойками. Нельзя было не отметить хотя бы дневкой царские и церковные праздники. Так в пирах пролетело лето, наступила осень. Перестали попадаться встречные суда, никто уже не обгонял отряд. Все войска, предназначенные к возвращению, давно прошли. На великих просторах Среднего Амура отряд под командою Облеухова остался один.

Первый тревожный сигнал будущего бедствия отряд получил, достигнув временного Сунгарийского продовольственного поста. Здесь их команду почти в четыреста человек, прошедших девятьсот верст пути, явно не ожидали.

— Я пропустил уже две тысячи ртов, а запасы у меня на посту, извините, были жалкие, — доложил начальник поста казачий есаул, одергивая однобортный чекмень с белесыми погонами.

— Но я вам приказываю, есаул, обеспечить отряд полным продовольствием на десять дней. Как то положено. Чтобы мы могли добраться до Буреинского поста, — горячился полковник Облеухов. — Там, я надеюсь, начальник более рачительный и оставил для нас все необходимое.

— Извините, ваше высокоблагородие, но мне с двадцатью четырьмя казаками здесь зимовать. Я должен думать о пропитании команды до самой весны. Единственное, что я могу сделать, это отпустить вам на десять дней сухарей и буды. Больше на посту ничего нет.

— Однако странно, господа, — обернулся Облеухов к своим офицерам, ища у них поддержки. — При мне собака, она не будет есть кашу из этой... буды. Ей необходимо мясо. Выделите хотя бы немного солонины.

— Только полпуда, для вас и господ офицеров, — сдался есаул и снял лохматую медвежью папаху, чтобы вытереть пот.

До следующего — Буреинского поста, вместо ожидаемых восьми — десяти дней, шли половину месяца. Ослабевшие на одних сухарях и жидкой каше солдаты еле брели по косам и амурским берегам, с трудом волоча за собой лодки. Но и в Буреинском посту, и в следующем за ним Зейском, которым командовал пожилой есаул Травин, оказались лишь ничтожные запасы продовольствия.

Травина напугали полковничьи погоны Облеухова, он смущался, пыхтел, но все-таки заявил:

— Войдите в мое положение, ваше высокоблагородие. На посту пятьдесят казаков. Я прикажу накормить отряд сегодня, но на это уйдет мой полумесячный запас, а зима-то длинна.

Есаул все-таки выделил отряду по два фунта сухарей на человека и дал на дорогу два мешка свежей рыбы.

— Вот в Кумарском посту, — обещал Травин, — должен быть хлебушко. Там, я слышал, построили пекарню.

Начался октябрь с нудными дождями и холодными ночами, а потом ударили заморозки. В обтрепанных за дорогу шинелях, натянув поглубже фуражечки, брел батальон против ветра и против течения к заветной Кумаре, где голодные солдаты рассчитывали получить хлеб, а может, и другое продовольствие.

Перед Кумарой пошел мокрый снег. Двести верст между Зейским и Кумарским постами показались линейцам за тысячу. В тот ветреный слякотный день похоронили первого солдата, умершего от горячки.

Но и в Кумарском посту ожидало батальон разочарование. Пекарня, о которой им говорили, действительно была сложена казаками, но мука для выпечки хлеба не подошла. Даже обогреться и обсушиться оказалось негде. Урядник с двадцатью пятью казаками поста вырыли для себя землянки. О том, чтобы разместить в них несколько сотен нижних чинов отряда Облеухова, не могло быть и речи.

Полковник с господами офицерами заняли на ночь тесную пекарню. Кое-кого из казаков пустили к себе в землянки знакомые станичники, а остальным опять пришлось

коротать ночь у костров.

На второй день после того, как оставили Кумарский пост, потянулось по Амуру «сало» из мокрого снега, а к вечеру поплыли льдинки. Стало ясно, что на лодках дальше не пройдешь, и Облеухов повернул обратно в Кумару.

Большее огорчение для начальника поста трудно было представить. Ему пришлось выселить из землянок своих казаков и поместить туда больных из отряда Облеухова. Надо было хоть раз в сутки покормить чем-нибудь свой пост и свалившийся на его голову отряд. За двадцать дней, прожитых отрядом в Кумарском посту в ожидании ледостава, все припасенное здесь продовольствие съели почти подчистую. Ненужные теперь лодки решено было бросить, и линейцы стали мастерить сани, чтобы взять на них имущество и больных.

Наконец пешком, волоча за собой сани, тронулись в дальнейший путь. Надежда теперь оставалась на Кутомандский пост. Но до него нужно было пройти триста восемьдесят верст. Начались морозы, выпал глубокий снег. Батальон растянулся и уже не собирался на ночь к одной стоянке. Голодая, солдаты варили и ели ремни, подошвы, кожу от ранцев.

Однажды на привале полковник подозвал к себе юнкера Комарова и доверительно попросил:

— Вы знаете, юнкер, мою... э, тонкую натуру. — О том, что у него «тонкая» натура, полковник узнал от невесты, когда впервые прочитал посвященные ей стихи. — Я могу побить солдата, — продолжал полковник, — но поднять руку на собаку, на моего верного Султана, я не смогу. Нет-с... Он столько перенес тягот в этом походе. — И, положив руку на плечо юнкера, просительно сказал: — Пристрелите, пожалуйста, Султана.

Юнкер подумал, что полковник решил убить пса из жалости, и стал говорить, что, может быть, собака доберется до Кутомандского поста. Она уже научилась промышлять по дороге мышей, а недавно вырыла из-под снега дохлую рыбину.

— Нет, юнкер, сделайте это сейчас, для меня...

Комаров отозвал Султана в кустарник и одним выстрелом прикончил пса. Полковник тут же приказал ободрать собаку и сварить ему мясную похлебку, остальное мясо сохранить и варить только по его распоряжению. Собачьего мяса Облеухову хватило ненадолго. Но тут батальону неожиданно повезло. Навстречу отряду выехали кочующие на лошадях местные жители — манегры. У этих обитателей тайги нашлась начатая туша сохатого. Мясо сварили и съели. А впереди батальон вновь ожидал многодневный путь без крошки продовольствия в ранцах...

Облеухов окончательно растерялся.

— Все погибло... Все погибло, — шептал он утром у костра, когда вокруг него собрались офицеры. — Но, господа, меня ждет невеста! — вдруг воскликнул он. — Я должен ради нее остаться жить. Что будем делать.

Офицеры отряда, переминаясь с ноги на ногу, молчали. И тогда полковник увидел, что манегры, собираясь в путь, снаряжают сани.

— Задержите их! — закричал он. — Скажите, что я покупаю у них лошадей.

Двое офицеров бросились к манеграм. Они долго убеждали их, наконец вернулись и сообщили, что кочевники могут продать только две лошади.

— Адъютант, — распорядился полковник, — заплатите им, сколько они попросят.

Адъютант батальона отсчитал тридцать серебряных рублей. Однако две повозки не могли вместить всех офицеров, и полковник приказал:

— Не захотели добром... Отобрать у них еще одну лошадь.

Как ни кричали охотники, как ни доказывали, что с двумя конями они пропадут, у них отобрали еще одну лошадь.

— Передайте нижним чинам, — сказал Облеухов, перед тем как устроиться в санях, — что мы едем в Кутомандский пост, чтобы предупредить там о бедственном положении отряда. Пусть помнят о царе-батюшке и идут вперед. В Кутоманде их ожидает отдых и пища.

Завихрился снег под полозьями плетеных манегрских саней, и скоро повозки с офицерами скрылись за поворотом заснеженного амурского берега.

С этого дня отряд брел без командиров, да уже и не было отряда — каждый шел сам по себе. Те, кто оказался посильнее, уходили вперед, шагали, пока хватало сил, а потом в изнеможении валялись прямо на снег. Отлежавшись, начинали искать у берега сучья и разводить костер. К этому костру тянулись другие, таяли в котелках снег, обжигаясь, пили кипяток, а потом в нем же варили уже кипяченые не раз куски ремней. Все-таки это кожа... И опять шли вперед. Казалось, вот пройдешь кривун или обогнешь скалистый берег — и за ним откроется желанный Кутомандский пост.

Дни и ночи спутались в представлении полуживых, обмороженных, закопченных дымом людей. От костра к костру брели они в холодных шинелях и не гревших фуражках. Еле двигались сами, но упорно тащили казенное имущество: ружья и ранцы. Солдат без ружья — уже не солдат.

В редкой цепочке людей, растянувшейся на много верст, шли рядом сдружившиеся за поход солдат линейного батальона Кузьма Сидоров и казак Усть-Стрелочной сотни тоже Кузьма, только Пешков. В начале пути, когда приходилось вместе тянуть бечеву, или, встретившись на привале, они рассказывали каждый о своем. Сидоров — о солдатской службе, другую-то жизнь он почти не знал, так как тянул солдатскую лямку уже около двадцати лет. Пешков рассказывал про свою станицу.

— Ну, паря, как добежим до Стрелки, сразу же ко мне, — приглашал он. — У меня старуха — добрая хозяйка. И Наська у меня — дочка. И баньку нам истопят, однако, и покормят, и напоят. Отдохнем.

— Это непременно, — соглашался Сидоров. — К себе-то я тебя не зову. У меня ни двора, ни бани. Разве костер у твоей избы разложу, возле него погостюешь!

— А то и на полати с тобой заберемся, — мечтал Пешков. — Вот где бока погреем! Ты на полатах-то леживал?

— Ты, Кузьма, может, думаешь, что я так и родился солдатом. Нет, брат, я из крестьян. Мальцом и на печи спал, и на полатах. А служу-то я не за себя, за брата.

— Как так?

— Да вот так. Брату старшему выпал жребий идти в рекруты. А он только женился. Молодка его была на сносях. Посудили, порядили дома, родитель-то мой и говорит: «Придется тебе, Кузя, за Гриху идти. Ты холостой». Вот и пошел.

— Да-а, — тянул Пешков.

— Вот тебе и «да». Как ушел, так вот уж сколько годков и хожу.

Любил Пешков припомнить были о прошлом амурской земли. Он рассказывал так, будто сам видел, как ходили на вылазки из осажденного Албазина казаки, как, размахивая самодельной секирой, врубался в гущу недругов силач Квашнин, прозванный — «Отойди подаль» — и словно былинный богатырь оставлял там, где прошел, переулок из поверженных врагов.

— Поплюет этак на ладони, ухватит древко половчей, крикнет и закрутит вокруг головы секирой. Ну, после того держись, паря! Побег Квашнин вперед. Теперь удержи не будет!

Но эти все разговоры велись раньше. Теперь же Сидоров и Пешков шагали молча. Другой раз за день не перебросятся и десятком слов. Изредка только Сидоров с надеждой спрашивал:

— Ну скоро ли эта Кутоманда?

— Погодь, — отвечал Пешков. — Вот дойдем до креста, а уж оттуда вроде недалече.

— Что это за крест такой?

— Аль не приметил, когда вниз плыли? — удивлялся казак. — На албазинском валу поставлен, еще при первом сплаве.

Обмолвятся так несколькими словами и бредут к дымку костра, что разожгли ушедшие вперед то ли казаки, то ли линейны. Молчит солдат, молчит казак Кузьма Пешков, а потом, будто про себя, пробормочет:

От Стрелки отправлялись с полными возами,
В Кизи приплывали с горькими слезами...

— Ты чего, Кузьма? — спросит Сидоров.

— Да ничо, Кузьма, я так, — ответит Пешков, а у самого в голове наплзают друг на друга слова, выстраиваются в складный ряд:

Как от Шилки по Амуру
Великие версты:
Уж как были эти версты —
Стерли у рук персты...

Никуда не может деться казак от этих слов. Лезут они сами, непрошенные и неслыханные, — все про поход.

Когда над амурским льдом или над береговыми зарослями появлялись вороны, по ним сразу открывали дружную стрельбу. Палили с колена, лежа и стоя, но попадали редко. Сидорову однажды удалось сбить сороку, и они тут же свернули на берег, разложили костер и, не дав птахе как следует довариться, моментально съели ее. Потом, так же быстро, выпили горячий навар.

— А лучше, чем пустой кипяток, — сказал Сидоров, отдуваясь.

— Знамо дело, — согласился Пешков. — Теперя мы до креста враз добежим, а там до Кутоманды — рукой подать.

Но вновь подошла длинная зимняя ночь, потом настали новый день и еще ночь, а Кутомандский пост никак не показывался.

«Ишь, земля какая. Ни жилья на берегу, ни деревеньки, — думал Сидоров. — Ни тебе обогреться, ни хлебушка попросить хоть Христа ради», — и казалось солдату, дай ему сейчас кто-нибудь добрую краюху каравая, он бы поел и мог шагать и день и ночь.

Все чаще на месте ночлегов оставались окоченевшие или окончательно выбившиеся из сил солдаты, все чаще в ледяных торосах попадались трупы, застывшие в самых невероятных позах. Мимо них проходили равнодушно. Только изредка знакомые погибшего, с трудом узнав в обмороженном, закутанном тряпками, заросшем щетиной покойнике своего приятеля, оттаскивали его к берегу или присыпали снегом на месте. А ветер через некоторое время выдувал из снега носки расхлястанных сапог или полу прожженной, обтрепанной шинелишки. Ох, много понесет весенний ледоход в далекое море жертв бедственной экспедиции!

Однажды Сидоров, шагавший впереди, остановился и приложил к уху руку.

— Слышь-ка, Кузьма, что-то впереди палят...

Пешков, ему в этот день сильно нездоровилось, подошел к линейцу, тоже послушал и равнодушно сказал:

— Должно, по воронам бьют.

— Да нет, вроде бы как-то радостно стреляют. Може, сигнал подают. А ну шагай бодрей.

Через час они добрались до вмерзшей в лед баржи. Вокруг нее уже горели костры, толпились солдаты и казаки.

— Чтой-то, паря, галушками пахнет! — оживившись, сказал Пешков.

Оказалось, что это та самая баржа, которая должна была доставить муку на Кумарский пост. Спускаясь вниз, она села на мель, а потом вмерзла в лед. На муку солдаты и казаки набросились, как на свое единственное спасение. Одни пытались из нее что-то замесить, другие просто разбалтывали в воде и хлебали, третьи, наиболее нетерпеливые и ослабшие; захватывали ее горстями и жевали.

Напрасно подпоручик Прещепенко, охранявший баржу, уговаривал не спешить, кричал, что муки на всех хватит. Люди разрывали мешки, рассыпали муку, сыпали ее себе за

пазуху.

— Не перечьте, ваше благородие, изголодались мы, — отвечали подпоручику.

— Беги, паря, набирай муку, и мы с тобой зараз бурдук заварим, — сказал Пешков.

Пока Сидоров бегал, Кузьма натаял в котелке снегу, потом разболтал в воде муку.

— Вот и бурдук готов! Наваливайся, паря!

Но болтушка из муки да еще без соли не насытила друзей. Посидев немного, они стали замешивать тесто, чтобы приготовить галушки. А к барже подходили все новые группки людей, ковыляли и ползли одиночки.

— Я теперя, ребята, отсюда никуды, — заявил вконец разбивший сапоги солдат.

Солдат этот приковылял, опираясь на винтовку, когда Пешков и Сидоров уже доедали галушки.

— Братцы, дайте хоть глотнуть горяченького, — попросил он, — а уж тогда я себе заварю болтушку. Сил никаких нет, жрать охота. Последний сухарь вчера сгрыз. Живот-то уже к костям прилип и бурчать, родимый, перестал.

— Дохлебывай, — разрешил Пешков. — А нам, паря, — обратился он к Сидорову, — повременить надо. Будя с нас. С непривычки объесться недолго.

Ночевал отряд у баржи, обложив ее со всех сторон кострами. А внизу по Амуру мерцали далекие костры. Там остановились те, кто еще не знал, что впереди баржа с мукой.

Утром Пешков и Сидоров переложили все свое имущество в один ранец, а другой набили мукой.

— Теперя добежим! — бодрился Пешков, — подпоручик баил, что до креста-то осталось верст двадцать. А там и Кутоманда-матушка!

В дальнейший путь пошли не все. Многие остались набираться сил, или, как их вчерашний знакомый, не могли идти дальше, потому что развалилась обувь.

Еще много дней брели то по скользкому льду, то, проваливаясь в сугробах, Сидоров и Пешков, пока добрались до Кутомандского поста. Их обгоняли другие солдаты и казаки. Сидоров, будь он один, намного быстрее дошел бы до поста, но Пешков перед Кутомандой совсем, ослаб, простудился и, если бы не товарищ, свалился бы где-нибудь в сугробе.

Они увидели сначала не пост, а севший здесь на мель и зазимовавший пароход «Шилку», а уж потом показались дымки над землянками поста.

В Кутомандском посту жило всего десять казаков, но они еще с лета построили несколько лишних землянок и, когда потянулся 13-й батальон, каждый день пекли хлеб и варили с запасом еду. Кто добрался до Кутоманды, считал себя спасенным. Здесь было где обогреться, отдохнуть, здесь запасались провизией на оставшиеся двести верст до Усть-Стрелочного караула.

Впервые за долгие месяцы пути спали два Кузьмы под крышей. Разморенному душным теплом Пешкову даже приснился непонятный сон. Будто бы еле-еле плетутся они с Кузьмой по снегу, сил нет ноги переставлять, а с берега их кто-то окликает: «Эй, служивые, а где ваша сила?» Взглянул Кузьма на берег, а там птица пана! Сидит на березке, хвост у нее как радуга переливается, каждое перышко сияет, смотреть больно, а из глаз птицы слезы. Идут они, ничего не отвечают, а пана опять: «Ой, казаки, казаки, а где ж ваши кони?» И слышит Пешков: кони заржали... Да где? Под ногами, подо льдом! В глубоком омуте...

Вспомнил Пешков этот сон, когда они поутру вышли в дорогу. Хотел рассказать его Сидорову, а вместо этого принялся опять складывать слова в строчки, подгонять одно к другому. А они цеплялись за те, что сложены были раньше, и чувствовал, удивляясь и поражаясь, казак, что получается у него песня про этот поход.

«На прекрутом бережку, —

шептал он, —

Вырастало древо,

Вырастало древо —
Березынька бела.
Как на той ли на березке
Сидит птица пана,
Как сидит птица пана,
Кричит: «Запропала!»

— Что ты там, молитву читаешь? — спросил, оборачиваясь Сидоров.

— Не, — ответил Пешков, — я, Кузьма, песню придумываю. Слова-то лезут и лезут в башку, а я только сегодня понял, что это песня складывается.

А она, правда, складывалась, и вопрошала в ней птица пана:

— Забайкальские казаки!
А где ваши кони?

И отвечали казаки:

— Наши кони во сыр доле
Ходят да гуляют.
— Забайкальские казаки, а где с коней сбруя?
— С коней сбруя изорвалась,
В Амуре осталась...

Отряд Облеухова, вернее, оставшаяся в живых половина его, прибыла в Усть-Стрелку лишь в середине декабря, затратив на дорогу от Мариинского поста сто сорок три дня. Сам полковник доехал до караула на полмесяца раньше. Но он не стал ожидать брошенный батальон, а, обогревшись и поев, на свежих лошадях помчался в Шилкинский завод, где его ждала красавица невеста.

Дьяченко знал о тяготах, выпавших на долю батальона в экспедицию прошлого года. Он очень удивился, когда получил распоряжение принять 13-й батальон и, как писалось в приказе: «исполнять обязанности его командира». Удивляться было чему: 14-м линейным батальоном командовал майор, 15-м — подполковник, а 16-м полковник. Сам же Яков Васильевич к тому времени дослужился лишь до штабс-капитана и только недавно стал капитаном. Но размышлять о том, почему и как это случилось, просто не оказалось времени. Необходимо было готовить батальон к новому сплаву, а фактически заново создавать батальон, строить баржи, рубить плоты, обучать пополнение и строю, и стрельбе, и плотницкому делу.

Офицеры, ходившие в сплав с Облеуховым, один за другим покинули батальон. Кого-то перевело начальство, другие сами больше не могли оставаться в батальоне. Дьяченко особенно запомнился поручик Коровин, дельный, распорядительный, как говорили, человек. Яков Васильевич долго уговаривал его взять обратно рапорт об отставке. Тот сначала отводил глаза, суетливо подрагивающими пальцами бил кресалом, пытаясь раскурить трубку, но, так и не запалив трут и не закулив, сунул трубку в карман и сказал, глядя прямо в глаза новому командиру:

— Да что там рапорт... Они ж, солдаты, не поверят теперь ни одному нашему слову. Как после этого идти в новую экспедицию! Это не учение на плацу, и не парад, где можно только командовать. Мы же, штабс-капитан, их бросили... Трусливо бросили в снежной пустыне...

Полковник Облеухов сразу, как сдал батальон, был понижен в звании. Дьяченко с головой ушел в батальонные дела. До этого ему не приходилось командовать таким количеством людей, хотя военную службу он испытал основательно.

Пятнадцати лет Яша Дьяченко был увезен из маленького поместья своего отца в Полтавской губернии на службу унтер-офицером в Тираспольский конноегерский полк, и с тех пор, правда, с десятилетним перерывом, он в строю. Пришлось быть конным егерем, драгуном, уланом, строить южнорусские военные поселения, совершать многомесячные пешие переходы. И вот теперь впереди Амур — дикий край, на всем протяжении которого стоит лишь пять временных казачьих постов, да где-то в самом устье есть Николаевский да Мариинский посты.

Из всех старых офицеров в батальоне числился только подпоручик Прещепенко. Да и тот, посадив баржу с мукой на мели, за бывшей Албазинской крепостью, зимовал там с несколькими солдатами.

Пока подъезжали новые офицеры, Дьяченко старался всячески ободрить и выделить солдат — участников прошлогоднего похода. Они у него отвечали за строительство плотов, заготовку леса. Он и сам часто брался за топор, показывал, как ловчее обтесать бревно для киля баржи, как поправить пилу. После этого проще было завести с солдатами непринужденный разговор.

— Ну и что 13-й номер... — посмеивался он, когда солдаты говорили, что номер у батальона несчастливый. — А слышали, как солдат, тоже как мы — линейец, тринадцать чертей обхитрил?

И рассказывал где-то слышанную солдатскую сказку. Правда, в ней говорилось про солдата и двух чертей, но он, хитро щурясь, увеличивал чертово племя до тринадцати, а простого солдата делал линейным.

Солдаты похохатывали — и сказка забавная, и отдохнуть можно.

— Вот что значит: мы линейцы, — заканчивал Дьяченко, когда последний черт, обманутый солдатом, с позором и без хвоста, извергая смрад, проваливался в преисподнюю.

У другой баржи, которую уже заканчивали и теперь конопатили и смолили, командир батальона похваливал отличившихся:

— Молодцы, ребята. Сразу видно: настоящие линейцы! — и, обращаясь к молодому солдату, спрашивал: — Ну ты, Тюменцев, рад, наверно, что попал в линейный батальон?

Игнат мялся, глядел на товарищей.

— Так, ваше благородие, солдат — он везде солдат. Служба-то, чо хорошего!

— Ему бы к Глаше! — оживлялись другие. — Невеста у него осталась:

— Ну, невеста у солдата — его ружье, а у нас еще и топорик. Значит, у нас сразу две невесты. А солдат — солдату рознь. Мы — линейные солдаты держим первую линию. Первую! Самый рубеж государственный. Поэтому и зовемся — линейным батальоном. Линейные батальоны всегда впереди. А уж за ними все остальные. Потому-то и на Амур мы первыми идем.

Солдаты из тех двух рот, что Дьяченко привел год назад из Верхнеудинска в Шилкинский завод, хвалили его другим:

— Подходящий командир. Он зря не изругает, не дерется. На ночлег, допустим, сперва нас разведет, а потом уж сам укладывается. И о провианте заботится. Шли мы с ним зиму, знаем его.

Постепенно батальон спланивался.

И вот Четвертый сплав, к которому готовились с морозного и ветреного января, начался.

3

Под самый вечер, когда уже солнце повисло над зааргуньскими горами, отправился Кузьма Сидоров у командира батальона и отправился в Усть-Стрелку.

— К утру чтоб был, — приказал капитан. — Утром ожидается его высокопревосходительство, и мы отчаливаем.

— Я мигом обернусь. Мне бы только дружка повидать, — заверил Кузьма, предвкушая добрую домашнюю закуску и, конечно, выпивку при уютном свете каганца, под неторопливый разговор с тезкой Кузьмой Пешковым.

До станицы недалеко — версты две.

Шагал Кузьма и вспоминал, как декабрьским вечером, когда солнышко вот так же опускалось за гористый аргульский берег, подходили они с Пешковым к этой станице.

— Вот она, родимая. Дошли, — радовался Пешков. — Счас, паря, старуха сала нажарит. Щи у нее должны быть тепленькие. Жена у меня домовитая. Наську за спиртом пошлем. Добежали мы с тобой, а!

При виде заваленных снегом домишек, дымков над трубами им казалось, что они и правда чуть не бегут, хотя, сбив за поход ноги, ослабев в дальней дороге, солдат и старый казак еле ковыляли.

— Энто каки-таки люди? — окликнул их от своего дома Мандрика, тюкавший до этого топором.

Переводя дух, Пешков остановился и закашлялся. А Мандрика, отложив топор, косолапил к ним, приглядываясь из-под варежки.

— Что же ты, паря годок, соседа не признаешь, — откашлявшись, наконец сказал Пешков.

— Неужто Кузьма! — ахнул казак. — Не признал, ан не признал. Богат будешь, Кузьма! Воротился наконец. Ну, ин и ладно, ну, ин и добро... Да и как тебя признаешь, оборвался, как варнак. — Мандрика помялся, а потом предложил: — Так заходите ко мне в дом! — И, словно обрадовавшись этой мысли, стал усиленно приглашать: — Заходите, заходите!

— Ты что? — удивился Пешков. — И мой дом вот он. Сколько дней до него топал, а уж тут дойду. Я уж к тебе завтра.

— Ну, ин ладно, — топтался на месте Мандрика, а потом начал сморкаться, очень уж старательно, так чего-то и не договорив.

— Али что таишь, сосед? — забеспокоился Пешков. — Так говори. Может, с Наськой что, али с конем?

Мандрика еще потоптался, потом махнул рукой.

— А, лихоманка его бери! Хошь не хошь, а сказать надоть. Да, может, зайдем все-таки в избу?

— Говори здесь, не томи, — приказал Пешков.

Мандрика еще раз махнул рукавом и решился:

— Жинка твоя Авдотья преставилась. Царство ей небесное. И похоронили без тебя.

Во время этого разговора подошла Мандрикина Марфа, другие бабы.

— Ай, мужики, — запричитали они, — да и что же это такое с вами сделалось? Оборвались, измаялись.

— Приказала Авдотьюшка долго жить, преставилась.

— Еще ладно, что в ту пору батюшка горбиченский тута оказался. Причастил ее, отпели, как положено. А не окажись батюшки... беда.

И вот сейчас, после долгой разлуки, бодро шагал линейный солдат Кузьма Сидоров навестить Пешкова. Пусть посмотрит, как выправился солдат. И одет подходяще в новое обмундирование, и сапоги на нем добрые, и кисет полный табаку. Придет солдат, ударит кулаком по двери, распахнет ее, щелкнет каблуками и доложит: «Солдат линейного номер тринадцатый батальона Кузьма Сидоров желает здравствовать!».

Тянулись по улице станицы подводы, гомонили у плотов и барж на берегу Аргуни казаки, белели палатки, а Кузьма видел только дом Пешкова и топал напрямик к нему.

Вот и знакомая дверь, за которой в прошлом году отогревались, а проворная Настя, всхлипывая от радости, что вернулся в их осиротевший дом отец, носилась то в сенцы за салом, то в подполье за квашеной капустой, а то бросалась с кочергой к печи, где радостно гудел огонь.

Кузьма, как и задумал, трахнул кулаком по двери, распахнул ее во всю ширину и, пригнувшись, шагнул через порог в полумрак дома. Там он браво вытянулся, прихлопнул каблуками и поднес руку к фуражке.

— Так что, разрешите доложить, — начал он и осекся...

На лежанке у печи, лицом к двери лежал Кузьма Пешков. Рядом с ним сидел старик Мандрика, у изголовья стояла Настя и белой тряпицей обтирала отцу мокрый лоб. На скамейке у стены сидели незнакомые Сидорову казаки. Пешков тяжело дышал, глаза его были устремлены вверх на матицу потолка.

Солдат на цыпочках подошел к лежанке, снял фуражку.

— Ай, это ты, служивый, — узнал Сидорова Мандрика. — Вовремя прибеги. Плох наш Кузьма. Доживет до утра, ай нет... Совсем было поправлялся, а вот на неделе слег, и все ему хуже и хуже. Ты поймей в виду: ни Настюху, ни меня не признает.

Поздно ночью возвращался Сидоров к стоянке своего батальона.

Долго сидел он возле Пешкова, ждал, может, отпустит старика хвороба и узнает он своего товарища по дальнему походу, да так и не дождался. Метался казак в жару, просил пить, а то затихал и хрипло дышал.

Кажется, не успел солдат как следует заснуть, как проиграли подъем. Голос трубы подхватила другая, на аргуньском берегу, и ожил лагерь. Солнце уже повисло над Амуром, спокойное, будто умытое и оттого не жаркое. Чуть-чуть туманились дальние амурские берега и плесы, кружились над ними подкрашенные розово восходящим солнцем длинноногие цапли. Пока плескались в ледяной шилкинской воде солдаты, пока завтракали, солнце подсушило росу и само успело подняться, разогнав дымку над Амуром. И тут часовые заметили караван судов, спускавшийся по Шилке. Видно, это был не простой караван, потому что сигнальщики проиграли незнакомый даже старому солдату Кузьме сигнал.

Впереди каравана шли два гребных четырехвесельных катера с небольшими домиками на палубе и пушками на носу, над каждым из них плескался флаг. За ними — большая баржа, тоже с домиком, потом простые баржи, две гребные канонерские лодки тоже с пушками, снова баржи и плоты.

Засуетился потревоженным муравейником весь лагерь. От Усть-Стрелки к шилкинскому берегу скакали конные. Вдоль берега у своих барж выстраивались линейные солдаты 13-го и 14-го Сибирских батальонов.

На палубе переднего катера, у мачты с адмиральским флагом, стоял невысокий сухощавый человек в генеральских эполетах на шинели, небрежно наброшенной на плечи. Он, чуть откинувшись назад, вытягивал шею, оглядывая суда и шеренги солдат. Рыжеватые усы его при этом вздрагивали, будто генерал про себя считал суда. Это был и царь, и бог всей восточной окраины России, генерал-губернатор Восточной Сибири и командующий войсками, в ней расположенными, генерал-лейтенант Муравьев. Вот катер его поравнялся с первыми баржами линейцев, генерал, придерживая левой рукой борт шинели, вскинул правую и крикнул:

— Здорово, ребята!

Солдаты зычно ответили ему свое: «Здравия желаем!»

— Хорошо плывете! — снова крикнул генерал. — Благодарю за службу!

— Рады стараться! — ответили линейцы.

Катер генерала пристал к берегу в прогалине, разделявшей баржи 13-го и 14-го батальонов. Только успели солдаты сбросить сходни, как Муравьев сбежал на берег и, не ожидая, когда пристанут другие суда с его свитой и охраной, катер с посланником графом Путятиным, не ожидая, когда сойдут сопровождавшие его офицеры, быстрым шагом направился к Усть-Стрелке, на ходу бросив:

— Господа офицеры, ко мне!

Мягко осадил возле генерала двуконная бричка, прискакавшая из станицы, но генерал

будто не замечал поданных ему лошадей. Не останавливаясь и не оборачиваясь, он отдавал распоряжения:

— Поручик Венюков, потрудитесь измерить буссолью ширину Амура, лотом промерьте глубину фарватера. Через два часа я вернусь, доложите.

Большелобый, щеголеватый поручик, откозыряв, тут же отстал.

— Майор Языков, третья рота вашего батальона разбила у реки Часовой плот. Если не подымут со дна потопленное снаряжение, командира роты разжаловать в унтер-офицеры.

Майор Языков, командир 14-го линейного батальона, крикнул от неожиданности и пробормотал:

— Слушаюсь.

А генерал торопливо шагал дальше. Рядом со свитой подпрыгивала на неровностях луга присланная за ним повозка.

— Капитан Дьяченко, это вы распорядились поставить на четвертую роту подпоручика Козловского?

— Некого больше, ваше высокопревосходительство, — стал оправдываться Дьяченко, решив, что генерал сейчас обрушит гнев на голову юного подпоручика и на него самого в том числе.

— Дельный будет офицер. Он воспользовался подъемом воды и уже обогнал третью вашу роту, что до сих пор ждет казаков в Горбице. Часа через два четвертая рота будет здесь. Распорядитесь по прибытии выдать всем нижним чинам роты по чарке водки, за счет отставшей роты. Прикажете также подпоручику Козловскому задержать плоты здесь, до сбора казаков Усть-Стрелочной сотни, предназначенных к переселению. Вы же с двумя ротами пойдете со мной к устью Зеи. Можете быть свободны... Это что за лошади? — без перехода закричал генерал, тыча пальцем в бричку, как будто только что ее заметил.

— За вами присланы, ваше высокопревосходительство. Я распорядился. Из собственного табуна, — доложил войсковой старшина Хильковский.

— Ну так распорядитесь их немедленно убрать. Немедленно! — остановившись, так что на него чуть не налетел грузный Хильковский, крикнул Муравьев.

— Погоняй! — заорал Хильковский.

Лошади рванули в сторону от дороги, и пустая бричка покатила к станице.

Дьяченко, облегченно вздохнув, побежал к своему батальону. Гроза, которую он ожидал, на этот раз миновала.

Солдаты, пользуясь свободным часом, занимались делами, для которых не найдешь времени в дороге. Один подбивал отставшую подошву, другой пришивал пуговицы. Кузьма Сидоров выстирал портянки и сушил их у костра. Унтер-офицер Ряба-Кобыла точил о камень нож, собирался побриться. Кто перекладывал вещи в ранце, кто чистил ружье. Только Игнат Тюменцев сидел на барже, свесив за борт ноги, и тренькал на балалайке.

Увидев командира батальона, Ряба-Кобыла гаркнул на Игната, и того как ветром сдуло с борта.

В девять часов утра показались наконец плоты четвертой роты. Дьяченко выслал им навстречу лодку с приказом причаливать к левому берегу, так как правый весь был занят, а к себе вызвал командира роты подпоручика Козловского.

— Повезло, — весело докладывал Козловский, — вода вдруг стала подниматься, и мы марш-марш вперед! Шли почти без остановок, день и ночь.

Лицо его осунулось за дорогу, глаза запали, но он был возбужден.

— А эта Шилка, господа, эти горы, леса, это стремительное течение — все так удивительно. Вы видели, наверно, как цвел багульник! Сопка за сопкой, и все розовые. Даже вода кажется розовой. А теперь вот зацвела черемуха. И надо же, местами лежит снег белыми пластами. Что там Ориноко или Рио-Негро, о которых так восторженно пишет Гумбольдт! Разве там подобное увидишь!

— Как нижние чины, все здоровы? — остановил офицера Дьяченко, невольно любуясь его юношеской восторженностью.

— Все, как один, господин капитан. Они так и отвечают, когда я с ними здороваюсь. Мы сегодня плывем дальше?

— Нет, вам придется задержаться, — разочаровал Козловского командир батальона и передал ему распоряжение генерала.

— Ах, жаль, — искренне огорчился подпоручик. — Так хочется на Амур. Хотя бы взглянуть на Восточный океан. Это же дорога в Америку, в Австралию, в Японию!

К беседующим офицерам подошел поручик Венюков. Он, видимо, слышал последние слова Козловского.

— Поразительно, господа, — сказал он, — сколько легенд наплели об Амуре. В Петербурге долго утверждали, что устье реки теряется в песках, и лишь недавно исследования Невельского опровергли это. Мы собираемся сплавать по Амуру четвертый раз, а мне еще этой зимой твердили в Иркутске, что все амурские экспедиции — фарс, что Амур — дрянная болотистая река, в которой местами всего на три фута воды. И вот я только что произвел промеры. Глубина по фарватеру достигает четырех сажен. А ширина около двухсот саженей, и это у истоков!

— Что же вы ответили в Иркутске? — поинтересовался Дьяченко.

— Ну, ответить тогда я ничего не мог. Во-первых, потому что сам еще не видел Амура, а во-вторых, говоривший это был мой непосредственный начальник.

— Ну, если так, — улыбнулся Дьяченко, — то все ясно.

От Усть-Стрелки показалась толпа. Впереди ее трусили конные казаки, за ними, на этот раз на бричке, ехал генерал-губернатор.

— Готовься отваливать! — скомандовал Дьяченко, а сам с Венюковым, Козловским и юнкером Михневым, временно командовавшим второй ротой, направился навстречу генералу.

Уже через несколько минут они получили приказ о порядке следования по Амуру. Первыми отправлялись передовые отряды 14-го и 13-го батальонов и генеральский катер, за ними следовали суда с посланником и его свитой, далее плоты с имуществом 14-го батальона, артиллерией, и, наконец, в последующие дни отправятся переселенцы с их имуществом и скотом.

Прибыл в 13-й батальон и числившийся в нем командиром второй роты подпоручик Прещепенко. Это он вел в прошлом году баржу с мукой, да, сев на мель, там и зазимовал. В Усть-Стрелку он добрался всего несколько часов назад и сразу же был направлен генерал-губернатором в распоряжение Дьяченко.

— Ах, господа, вы даже не знаете, как я вам завидую, — сокрушался Козловский. — Вы поплывете подобно аргонавтам, а я остаюсь.

— Ну, чему вы завидуете, — перебил его Прещепенко. — Эка невидаль — Амур. Эх, а я рассчитывал задержаться в этой станице. Здесь, говорят, недурные казачки. Однако не повезло.

— Нет, нет, не шутите. Вы только представьте, что может открыться вон за той горой!

— Еще одна гора, а там еще. Уж вы поверьте мне, уж я-то на них насмотрелся, — выбивая кресалом искру, говорил Прещепенко.

— Позвольте, у меня линза, — предложил Козловский увеличительное стекло.

— О, это что-то новое.

Прещепенко недоверчиво подставил самодельную папиросу под линзу Козловского.

— Теперь затягивайтесь, видите: задымила! — искренне радуясь, что папироса у грубоватого подпоручика действительно раскурилась, говорил Козловский.

— Скажи-ка, и правда удобно, — похвалил Прещепенко.

— Это мне подарил господин Бестужев, подрядчик Первой Амурской компании. Мы с ним встречались на стоянке в Бянкино.

Заинтересовавшись линзой, к офицерам 13-го батальона подошел зауряд-есаул казачьего войска.

— Перфильев, — представился он, — еду с вами выбирать места для станиц. Позвольте

и мне прикурить от вашего огонька, — и подставил свою трубку.

— Пожалуйста, пожалуйста, держите вот так в фокусе, — охотно согласился Козловский.

— Чудеса: без кресала, без огнива, а жжет, — удивился зауряд-есаул.

— Это что, — рассказывал Козловский, — когда я выпускался из корпуса, в Петербурге появились фосфорные спички. Это удивительное изобретение. Представьте, господа, тоненькие щепочки, на конце которых нанесен желтый фосфор. Достаточно эту химическую головку потереть обо что-нибудь, например, о подошву, и спичка тут же вспыхивает!

— И долго приходится тереть? — поинтересовался Прещепенко.

— Нет, нет, чиркнете раз, другой — и спичка воспламеняется.

— Ну, это вы бросьте, — не поверил Прещепенко. — Кресалом вон бьешь, бьешь, пока высечешь искру.

— Слово офицера, господин подпоручик, я сам пробовал.

— Дайте-ка еще ваше стеклышко, — попросил Прещепенко, — что-то у меня погасла папираса, видно, дома журятся.

— Я бы подарил вам ее, — с готовностью протягивая линзу, проговорил Козловский, — но, понимаете, не могу. Это — память о встрече с Бестужевым.

— С Бестужевым? — переспросил зауряд-есаул. — Не тот ли это Бестужев, что изготавливает прекрасные сидейки?

— Какие сидейки? — не понял Козловский.

— Да вот такие безрессорные коляски, — ответил Перфильев, показывая на бричку, на которой приехал Муравьев. — У нас их еще называют «бестужевками». Отличный мастер.

— Право, не знаю. Едва ли. Он, господа, — Козловский понизил голос, — участник декабрьского бунта. Брат писателя Бестужева-Марлинского.

— Ну, тогда он, — заулыбался в бороду зауряд-есаул. — Когда его высокопревосходительству в станице сказали, что сидейка изготовлена Бестужевым, он заинтересовался, спросил, каким Бестужевым — Николаем или Михаилом? Но у нас никто этого не знал. Однако его высокопревосходительство все равно решил на ней прокатиться. Он даже пошутил: «Надеюсь, никто не донесет, что генерал-губернатор катался на коляске, сделанной заговорщиком! На меня ведь уже писали доносы...»

Мимо беседовавших офицеров торопливым шагом прошел командир 14-го батальона майор Языков, за ним еле поспевали штабс-капитан, поручик и унтер-офицер.

— Разыскать! Немедленно разыскать! — сдерживая себя, чтобы не перейти на крик, говорил майор. — И на первой же остановке всыпать каналье пятьдесят розог!

— Что случилось? — спросил Козловский у штабс-капитана.

— Бежал из-под стражи солдат. Ну, попадется, мерзавец, я сам с ним расправлюсь! Может, увидите, господа. Он приметный — здоровенный такой, конопатый. Зовут Михайло Лапоть.

В эту минуту горнисты заиграли тревогу. Все, кто был на берегу, бросились на баржи и плоты. На губернаторском катере поднялся спущенный до этого флаг. Офицеры тоже поспешили на свои суда. И сразу же с генеральского катера долетела команда: «Отваливай!» Ее подхватили офицеры на баржах и баркасах.

Четвертый сплав начинал свой путь по Амуру.

Вот одна за другой снялись с места баржи 14-го батальона. Видно было, как на первой барже майор Языков все еще выговаривает штабс-капитану. «Не нашли солдата, — подумал оставшийся на берегу Козловский. — Ну, куда он денется, чудака, только заработает розог да штрафной батальон. И зачем бежать, зачем бежать, когда впереди столько интересного!»

Отдохнувшие после нелегкого пути по Шилке солдаты дружно налегли на весла. Течение подхватило баржи, и они быстро прошли мимо генеральского катера. Муравьев опять стоял под флагом, на этот раз без шинели и шапки. Вышел на палубу своего катера и посол адмирал Евфимий Васильевич Путятин, возведенный недавно за успешное заключение

договора с Японией в графское достоинство. Он тоже стал на палубе у флага, по морской привычке расставив ноги, медлительный, грузный человек, с обветренным в дальних плаваниях лицом, с мутноватым старческим взглядом. Он чувствовал, что генерал-губернатор, несмотря на старание всячески подчеркнуть значение его, адмирала, особы, вплоть до того, что в Кяхте, у окон дома, где останавливался Путятин, с утра до поздней ночи гремел оркестр, не давая старику привычно соснуть после обеда, Муравьев все-таки был расстроен его приездом в Сибирь.

«Да оно и понятно, — думал Путятин, глядя на проплывающие суда, — Николаю Николаевичу самому хотелось бы подписать пограничный трактат с Китаем. Тоже, видимо, метит в графы. Он ведь, по молодости, самолюбив. Ишь, как разобиделся перед коронацией, когда не был приглашен на встречу государя при въезде его в Москву, а потом обойден при производстве в очередные чины. Даже прошение об отставке подавал».

Граф лениво думал об этом, извиняя недовольство губернатора, а сам любовался линейцами, усердно налегающими на весла: не моряки, а ладно управляются с неповоротливыми баржами. «Ничего, — опять думал он о Муравьеве, — пообижается и перестанет. А мне ехать в Китай... Дело-то государственное».

За 14-м батальоном тронулся и 13-й. Подпоручик Козловский долго махал фуражкой вслед уходящим ротам. А баржи первой роты, обогнув песчаную стрелку, разделявшую Шилку и Аргунь, уже выходили на амурский фарватер. И как пошло с первого сплава, с 1854 года, каждое судно, выходящее в Амур, встречало великую реку криком «Ура!»

На самом мыске, у первой амурской волны, собрались жители станицы Усть-Стрелочной.

Кузьма Сидоров, отложив шест, всматривался в толпу провожающих. Он надеялся увидеть Настю, или старого Мандрику, или кого-нибудь еще из знакомых казаков и, может быть, перемолвиться с ними о здоровье Пешкова. Но среди снующих вдоль берега мальчишек, баб, повязанных платочками, и девок, машущих длинными рукавами, среди что-то кричащих казаков никого знакомого так и не увидел.

«Видно, совсем плох Кузьма. Отказаковал казак», — подумал Сидоров.

— Давай-ка, Сидоров, кинь еще разок шест, — отвлек Кузьму от мыслей о Пешкове унтер Ряба-Кобыла. — Ишь, воду-то будто кто ножом разделил: только что мутная была, а тут, смотри, какая чистая пошла. Не мель ли здесь? Не прозевать бы...

— Не, — отозвался Сидоров. — Это аргуньская водица. Вишь, с шилкинской мутной смешаться не хочет. Здесь глубоко. — Но шест взял и ловко опустил в воду. — Пронос! — доложил он.

Долго еще две реки, образовавшие Амур, спорили друг с другом: то Шилка, мутная от дождей и донного ила, выносила свою темную воду на фарватер, то прозрачная Аргунь перебивала ее, и вода светлела, казалось, до дна просвеченная солнцем.

Потянулись навстречу линейным солдатам скалистые берега, прорезанные иногда долинами узких речек, поросших веселым лесом. А то вдруг обрывистым мысом, будто отколовшись от берега, в реку врывался голый замшелый утес, вспенивая и закручивая омутами течение.

Вот он, Амур, о котором так много говорили и спорили. Он и пугал, и манил, а сейчас плещется о борта, сбегает его капли с весел, несет он по течению тяжелые баржи.

Офицеров и 14-го, и 13-го батальонов, и бывавших уже на Амуре, и впервые плывших по нему, охватило одинаковое оживление. Они всматривались в пустынные, величественные берега, переговаривались. Яростный спорщик, чересчур прямолинейный Прещепенко, служивший когда-то в драгунском полку и с той поры изображавший из себя лихого драгуна, недовольного своим нынешним пехотным положением, хотя и вернулся только что с Амурского, все равно притих, не покрикивал на солдат роты, которую только что принял, хотя и собирался сразу натянуть удила. Он оперся о борт рядом с пожилым юнкером Михневым и внимательно слушал его рассказ о роковом, как считал юнкер, невезении в служебных делах. В другое бы время Прещепенко начал подтрунивать над ним, но сейчас сочувственно сказал:

— Ничего, Николай, сходим в поход, а там, глядишь, и твое дело решится. Станешь и ты подпоручиком.

Михнев, ожидавший, как всегда, подвоха, недоверчиво посмотрел на Прещепенко, но тот мечтательно смотрел вперед. Михнев обрадовался, что Прещепенко признает его равным, назвал по имени.

— Гляди-ка, гуси тянут. Что-то припозднились в этом году, — сказал он.

Через Амур, с юга на север, поблескивая крыльями, летел косяк гусей, даже их крик доносился до линейцев.

— Приволье им тут, — отозвался подпоручик. — Ни городов, ни деревень, вот и не торопятся, дьяволы.

Солнечный день, новизна дороги, путь по великой реке и сочувствие, прозвучавшее в словах Прещепенко, растрогали юнкера Михнева. Уже пятнадцать лет он ходит в юнкерах. Давно вышли все мыслимые сроки производства в офицеры, а дело его так и не решается. Где-то, в какой-то канцелярии потеряны его бумаги, и на все прошения приходит один и тот же ответ: «Ваше прошение передано на дальнейшее расследование». Последний рапорт он отправил перед отплытием из Шилкинского завода, когда временно стал командовать второй ротой, которую сегодня он передал Прещепенко. Может, и правда, вернувшись со сплава, он наконец станет офицером.

Капитан Дьяченко плыл по Амуру впервые. В прошлом году с конвойным отрядом он ходил только по Шилке. Все дальше и дальше уводила его судьба от родимых мест, от далекой Украины. «Хорошо, хоть сын сейчас в Иркутске, — думал он, — все-таки, по сибирским понятиям, не так уж далеко». А теперь перед ним раскрывал свои просторы Амур, и вставала дальняя дорога в новые места. Плескалась, искрилась солнечными бликами, завораживала взгляд амурская вода. Медленно уплывали назад нагромождения скал, бугрились пологие зеленые горы. К Якову Васильевичу подошел и сел рядом прикомандированный к батальону зауряд-есаул Забайкальского казачьего войска Василий Сергеевич Перфильев.

— Пошла Россия на дедовские земли, — заговорил он негромко. — Старики-то, бают, полтора века этого ждали, и вот дождались...

— Почему же только теперь дождались. До этого уже были сплавы, — возразил ему Дьяченко.

— Ну, те сплавы не то, — оживился Перфильев. — В этом году селиться по Амуру начнем. Мне бы теперь хорошие места для станиц выбрать. Чтобы и луга были, и земля подходящая.

— А далеко, Василий Сергеевич, вы с нами поплывете?

— До Кумары, — ответил Перфильев. — Девять станиц до Кумары надо расселить. — И вдруг неожиданно пожаловался: — Эх, жизнь — никакого тебе покою. Лето. Хозяйством надо бы заняться, а ты все бросай и плыви. Раньше-то какая забота у казака была. От караула до караула вершим проскакал, ярлыками обменялся — и домой. Пока снова твой черед подойдет в караул заступать, и на охоту сбегашь, и то и се. А нынче и летом, и зимой казаку покоя нет. Летом сплавы, зимой курьеров возим, ученья, плоты рубим...

Дьяченко удивляла эта особенность в разговорах казаков. То они с радостью говорили об Амуре, о древних русских землях, похвалялись своим родом, идущим от самих защитников Албазина, а то вдруг жаловались на новые порядки и перемены. И он спросил у зауряд-есаула:

— А что, казаки с охотой на Амур переселяются?

— Да по-разному. И насиженные места бросать не хочется — все там обхожено, каждая кочка известна, и земли-то дедовские, сколько бы времени ни минуло, зовут. Видно, в крови память тоже есть. Вы откуда сами будете?

— Полтавской губернии.

— Вспоминаете, поди, тянет домой? — уставился на капитана из-под лохматых бровей

Перфильев.

— Ну, Василий Сергеевич, хитро вы все подвели, — улыбнулся Дьяченко. — Тянет, понятно, да служба не пускает.

— Вот и казаков так же. И тянет, и не пускает.

На левом берегу зеленые увалы гор отступили на север. Между ними и рекой протянулся просторный зеленый луг.

— Вот здесь бы станицу поставить, — сказал капитан, — и сенокос, и место просторное. Жить было бы весело. А, Василий Сергеевич?

— Рано, — возразил Перфильев. — Первую станицу приказано основать при устье реки Игнашиной. Там, еще при Албазинском воеводстве, деревня была, тоже Игнашина.

Быстрое течение, попутный ветер, весла гребцов быстро гнали баржи на восток. Миновали два острова, а потом потянулся на целую версту запомнившийся капитану своей суровой дикой красотой высокий утес с крутыми гранитными скатами, поросший по вершине сосновым бором. Течение здесь было настолько стремительное, что гребцы опустили весла.

— Эвенки зовут этот утес Бэркэ, — сказал Перфильев, — по-нашему это значит — Смелый.

Узнал приметное место и Кузьма Сидоров. Прошлой зимой, пробираясь к Стрелке, они с Пешковым обошли утес с правого берега. Здесь, у крутояра, парили полыньи, отчего даже стены утеса покрывал белый иней. И, обходя их, пришлось делать большой крюк.

Вспоминая, Кузьма радовался быстрому плаванию. «Добро бежим», — сказал бы сейчас Пешков, думал он. Не знал солдат, что товарища его по походу, старого казака Кузьмы Пешкова не стало этим утром, когда на восходе солнца проиграли линейцы подъем. Не знал, что осиротела Настя, осталась одна.

С утра на воде было прохладно, а к полудню, когда дошли до устья горной речки Урки, спины у гребцов взмокли, то один, то другой начали сбиваться с ритма. И когда весло ударялось о весло, унтер-офицер Ряба-Кобыла начинал считать: «Ать-два, разом! Ать-два, разом!» Гребцы принаравливались под счет и опять в лад взмахивали веслами. Здесь баржи 13-го батальона догнал катер генерал-губернатора. За ним на привязи тянулась лодка с навесом. Генерал, когда баржи поравнялись с ним, крикнул:

— Чьи суда?

— 13-го линейного Сибирского батальона! — доложил Дьяченко.

— Хорошо плывете, солдаты! Благодарю за службу! — привычно крикнул Муравьев.

Дождавшись, когда солдаты, радуясь передышке, опустили весла и вразной ответили: «Рады стараться!» — генерал опять крикнул, указывая на долину Урки:

— По этой реке, солдаты, дважды выходил на Амур Ерофей Хабаров. Ура, ребята!

На генеральском катере было две смены гребцов, и он быстро обогнал баржи батальона. С лодки, прицепленной к катеру, помахал, узнав Перфильева, молодой казак. Зауряд-есаул тоже махнул ему фуражкой и сказал Дьяченко:

— Наш парень. Сотника Богданова сын Роман. Грамотный, черт! Три зимы в станичной школе учился в Цурухайтуевской крепости да еще зиму в Нерчинском заводе. А сейчас генерал его писарчуком взял. Он, вишь, прошлой зимой навстречу отряду Облеухова выезжал, продовольствие возил и одежду.

За Уркой русло Амура тесно зажали скалы, течение здесь стремительно несло на восток, и командир батальона, дождавшись, когда катер Муравьева обогнал передовой 14-й батальон и скрылся за поворотом, решил дать передышку гребцам.

— Суши весла! — скомандовал он. — Рулевые, не дремать!

Игнат Тюменцев, давно уже выгребавший из последних сил, с радостью опустил весло и вытер рукавом пот. Поначалу, как выехали на Амур, он, как и все, смотрел на берега и даже переговаривался с соседями. Но через час, когда солнце все сильнее начало припекать спину, а руки и ноги заныли от однообразных движений, ему было уже не до лесов и гор. Он думал только о том, как бы не сбиться и не подставить свое весло под весла других гребцов.

Сейчас, привалившись к борту, он отдыхал, зажмутив глаза.

Кузьма Сидоров сбросил за борт ведро, привязанное к веревке, и зачерпнул воды. Ведро пошло от гребца к гребцу. Пили прямо через край, обливаясь и побрякивая.

Когда усталость немного отошла, стали закуривать, передавая друг другу тлевший трут, заговорили:

— Водюю плывучи, что со вдовою живучи, — вздохнул кто-то.

— А что со вдовой! Какая вдовушка попадется, а то и девку не надо.

— И чего Амур ругали, — вступил в разговор Игнат. — Я ж его не знаю как боялся, когда в батальон пришел. А тут подходяще. Тайга добрая. Козы, поди, есть, белки.

— Да уж этого добра здесь полно, — подошел к солдатам Перфильев. — Безлюдье тут. А где человека нет, там зверю приволье.

— И правда, ребяташки, плывем, плывем, а ни деревеньки тебе, ни заимки, — удивился Игнат.

— Вот так оно до моря, — сказал Перфильев. — Лежит земля, человека ждет, как девка перезревшая.

Дьяченко, попыхивая трубкой, стоял за Перфильевым, слушал и посмеивался в усы.

— Ну, Тюменцев, — сказал он Игнату, — понимаешь теперь, зачем нужны линейные солдаты?

— Так грести, — сказал Игнат.

Соседи Игната засмеялись.

— А грести зачем?

Игнат завертел головой, ища поддержки у товарищей, и, не встретив ее, сказал:

— Чтобы плыть...

— Куда же плыть? — не отставал капитан.

— Знамо, куда! Вперед...

— Вот, вот — вперед. А я что говорил: линейцы всегда впереди, на первой линии. А за нами, Тюменцев, деревни встанут, а может, и города.

— Дошло? — спросил Ряба-Кобыла.

— Так дошло, — под смех товарищей согласился Игнат и распрямил плечи. «А верно, — подумал он, — мы же передовые. Вот ведь как, а! Только насчет деревень и городов капитан зря говорит. Когда их тут построишь».

Первый короткий привал, всего на один час, сделали в конце долины, протянувшейся на много верст по левому берегу Амура, возле устья речки Игнашиной. Остановился здесь только 13-й батальон, потому что с ним плыл зауряд-есаул Перфильев, отвечавший за выбор удобных мест для новых станиц. 14-й батальон, не задерживаясь, ушел дальше.

У берега стоял генеральский катер. Сам Муравьев расхаживал по траве, что-то показывая поручику Венюкову. Тот держал в руках картонную папку и водил по ней карандашом — чертил план. За ними, не отрываясь, ходили еще два чина с генеральского катера. Шел Муравьев — шли и они, останавливался он — замирала и свита. Муравьев торопливо срывался с места и быстро шагал вперед — спутники его тоже убыстряли шаг. Это были начальник канцелярии Муравьева и переводчик с китайского языка Шишмарев и полковник Моллер.

— Ну что, Василий Сергеевич, — сказал генерал-губернатор Перфильеву, когда тот соскочил с баржи и поднялся на луг. — Вот здесь и зложим станицу Игнашину. Первую станицу на Верхнем Амуре.

— Подходящее место, ваше высокопревосходительство, — согласился Перфильев. — Мы его с позапрошлого года заметили.

Обернувшись к Дьяченко, генерал приказал:

— Распорядитесь, капитан, вырыть яму и приготовить столб. Поставим здесь знак. А ты, Богдашка, запиши в своем журнале, — сказал он молодому писарю Богданову: — 26 мая 1857 года при устье реки Игнашиной, в шестидесяти трех верстах от станицы Усть-Стрелочной.! Так, Михаил Иванович, выходит по вашей карте?

Венюков подтвердил.

— Ну-с, вот, в шестидесяти трех верстах, записал? Заложена станица Игнашина.

Начальник путевой канцелярии, молодой еще чиновник Шишмарев захлопал в ладоши, его поддержали офицеры.

Линейцы вырыли яму, срубили дерево, обтесали его. На стесе Венюков сделал надпись: «Станица Игнашина». Столб вкопали на берегу, чтобы его сразу можно было заметить с реки.

Генерал снял фуражку, перекрестился и сказал торжественно:

— Первый столб первой станицы!

4

Не выбирал дня старый казак Кузьма Пешков, когда умирать, поэтому и похоронили его в спешке, самые близкие соседи. Да и тем некогда было: кто в сплав готовился, кто сам переселялся на Амур. Уже и плоты с линейными солдатами покачивались на Шилке и Аргуни, ждали переселенцев. Командир оттуда, молоденький подпоручик, заглядение для молодых, каждый день навещался в станицу, торопил со сборами. Ему, видишь ли, поскорей на Амур хотелось. А попробуй соберись — и то жалко бросить, и другое. Всей-то тяжести, кроме скота, разрешалось брать пятьдесят пудов на семью. Вот и задумаешься, что взять, что оставить. Не на день уезжали казаки — совсем покидали станицу. А тут Васька Эпов бегаёт, глотку дерёт: «Собирайся, паря, мать... Последний срок вам на отъезд — девятое июня!»

Спасибо, линейный подпоручик помог гроб сбить. Прислал двух солдат, и те в полдня управились. Зато чуть не похоронили Кузьму без попа. В Горбицу послать некого, да и все лодки в разгоне. Как раз перед тем, как преставиться Кузьме, был в станице не простой поп, а, говорят, архимандрит, да ушел с царевым посланником. И уж в самый день похорон зашептались станичные старухи, засуетились, а потом подослали одну бабку к Мандрике. Оказалось, что забрел в Стрелку сивенький поп-раскольник. «Желаете, — говорит, — по старому обряду всего за алтын отпою и все справлю...»

Долго чесался Мандрика, кряхтел, не знал, на что решиться. А бабка насаждает, и Марфа ее поддерживает:

— Ты, казак, разреши... Васька, — говорит, — не узнает, сотник Богданов тоже, а покойничку все одно, как его отпоют и соборуют, лишь бы отпели.

— А, была не была, — махнул залатанным рукавом Мандрика и согласился. — Что бабам перечить!

А после похорон на поминках выпил поп лишку и разболтался. Оказалось, что это он мучил мужиков в селе Бичурском и даже подбил их на бунт за старую веру. Добегал об этом слух и до Стрелки. Тогда бичурские раскольники захватили земского заседателя, который хотел арестовать попа. Избили заседателя и заперли в подполье волостного правления. А после почувствовали, что даром это не пройдет, и давай вооружаться. Кто ружье достал, кто топор наточил, кто рогатину приготовил. Так они и встретили роту солдат. Сам генерал-губернатор приезжал усмирять бунтовщиков. Этого попа и пятерых зачинщиков отправили в верхнеудинскую тюрьму. И вот теперь он оттуда бежал и пробирается на реку Бурею, где, по слухам, живут без всякого начальства с давних времен мужики, соблюдая старую веру, за которую страдал еще протопоп Аввакум Петров, тут же где-то в Забайкалье.

Так и оказалось, что взял Мандрика на душу большой грех: связался с раскольным попом, да еще и с беглым. Хорошо, что поп в ту же ночь из станицы ушел, а куда — никто не знает. Пропала той ночью новая долбленная ветка с веслом у сотника Богданова. Сотник-то подумал, что сын его Роман плохо вытянул ветку на берег. Мандрика же догадывался, что уплыл на ней беглый поп, может, и правда — на реку Бурею искать своих старообрядцев.

И добро, что уплыл, Мандрика и так опасался, как бы не разузнало начальство, что был

он в станице, отпевал Пешкова. А согласие на это давал кто? Мандрика! Вместо попа теперь в ту верхнеудинскую тюрьму отправить могут Мандрику. А коли так, надо поскорей уезжать. И засобирался казак. Ванюху своего и Марфу прямо-таки загонял.

В первые дни после похорон, когда еще бабы ночевали у осиротевшей Насти, утешали ее разговорами, как-то не подумал Мандрика, что нельзя оставлять девку без призора: своими заботами был занят. Выступать через неделю, а Эпов коня, как обещал, не ведет, коровку комолюю Матрена сама доит. И все-таки вспомнил Мандрика про Настю...

Ночью это случилось. Лежал он, не спал, поджидал Ванюшку. Марфа рядом ворочалась. Хотел опять Мандрика над старой подшутить, сказать что-нибудь про Ивана и Настю. И тут его словно подтолкнул кто: а как же быть с Настей? Одна ведь она на всем свете. Одно слово — сирота. И нет у нее никого, кроме соседей. А он, Мандрика, годок покойного Кузьмы. Вместе росли. За одни проказы родители их за уши драли. Заорет на своем базе Кузя Пешков, значит, сейчас начнут драть и Мандрику. Да... Задумаешься.

— Не спишь, Марфа? — спросил он, хотя знал, что не спит жена, лежит с открытыми глазами, тоже о чем-то заботится.

— Какой сон, — отозвалась Марфа и вздохнула.

— Про Наську я вот думаю. Негоже ее тут бросать.

— Знамо дело, — согласилась Марфа, а сама ждет, что еще старый скажет, и Мандрика ожидает, не придумает ли жена что-нибудь. Сказала бы что подходящее, так бы и сделать.

Помолчали старики, повздыхали украдкой, а что придумаешь?

Потрескивал сверчок за печкой. Шуршало что-то под половицами, может, мыши, а может быть, сам дедко-домовой переступал мягкими лапами, отряхивая паутину с сивой, как у попа-расстриги, бородки, чуял, что скоро старый дом покидать придется. Также беспокоился: как да что на новом месте будет? Ему и вовсе переезжать неохота. Если Мандрика стар, то дедка стар совсем. Еще Мандрикин дед, переселяясь в Стрелку из Горбицы, привез его в лапте. Тогда и Мандрики на свете не было, и отец его совсем мальцом носился. Понятно, домовому-то какая охота ехать. Забот у него здесь мало. Коней у Мандрики нет, чтобы за ними доглядеть. И хозяевам уход за дедкой какой — раз в год Марфа лепешку ему испечет из свежей муки да под печку на капустном листе подсунет. Он и сыт. Зимой, правда, зябко в старой избе, вот он в стужу и постанывает, охает, то под полом, то в трубе, — мерзнет. А так он ничего, тихий. Только раз и показался за все годы. Это еще старой матушке Мандрикиной, царство ей небесное. Заглянула она однажды под печку, полено сухое на растопку взять, а он сидит, дедко-то домовый на дровишках и брюхо мохнатое почесывает. Матушка-то бойкая была, не растерялась: «Приходи, дедушка, вчера!» — сказала. Он и сгинул. С тех пор никому не кажется. Все, видать, соображает, как это вчера прийти. Казачки прежде-то посмышленнее нынешних были.

Правда, батька Мандрикин над матушкой потешался, говорил, что это кот, а не домовый под печку влез. Да кто же его знает, кота али самого дедку матушка видела.

— А что, казак, если нам Настюшку с собой взять? — сказала вдруг Марфа.

— Да как ее брать, в дочки, что ли, аль в работницы?

— Возьмем, а там на Амуре и поженим с Ванюшкой...

Мандрика разволновался, сел. Пошарил трубку. Сунул ее в рот, но сразу же вынул. Худой и легонький, он подергал себя за редкую бородку, а потом стукнул кулаком по острому колену и враз решил, как когда-то курить бросил:

— Счас женим!

— Да ты что, отец, — всполошилась Марфа. — Ночь на дворе.

— Дело доброе желаю исделать, — не отступал Мандрика. — Придет Ванюшка, мы ему об этом и объявим. А Наську поутру и сосватаем!

— Господи, а я подумала, что ты прямо сейчас женить их хочешь.

Ванюшка появился под утро. Хотя и был он уже служилый казак, а отец у него всего малолеток, побаивался парень родителя. С опаской открыл Иван дверь, тихо пробрался к своей лавке и начал раздеваться. «Спят старики, — решил он, — и мы на боковую». Но

Мандрика дремал не дремал в эту ночь, не поймешь, и Ванюшку сразу услышал.

— Иван! — окликнул он.

— Ну, я, — отозвался молодой казак, досадуя: «Начнет, мол, сейчас батя выговаривать и поспать не даст. Сам-то дрых, что ему».

— Слышь-ка, Иван, — заговорил Мандрика, — порешили мы с матерью поутру к Насте сватов засылать.

Молчит Иван, ждет, что отец дальше скажет, а сам думает: «Это у него присказка такая. Скажет сейчас: полуношничаете все, а нам собираться надо. Узлы вязать. Вон Эпов ни коня, ни корову еще не привел, а ты все носишься. И заботы у тебя никакой в башке нет».

— Что молчишь-то? — начал сердиться Мандрика. — Аль тебе Наська не мила? Что ж тогда все к ней прибиваешься? Невдомек тебе, что девах-то одна осталась.

В темноте со вздохом шевельнулась мать, видать, рот перекрестила. Понял Иван, что не шутит отец, и от радости замер.

— С ней был? — опять спрашивает Мандрика.

— С ней. А с кем же еще?..

— Ну так как ты думаешь-решаешь?

— Да я хоть сейчас согласный! — вскочил Иван. — Давайте, я к ней враз сбегаю. Предупрежу.

— Ну, ин и ладно. Ну, ин и добро, — помягчал старик.

— Спи ужо, — подала голос мать, — утро вечера мудренее.

На следующий день все и порешили. Не оставалось времени сватов засылать, соблюдать старые обычаи, как надо.

Смазал Иван дегтем сапоги, расчесал Мандрика деревянным гребнем бородку, и пошли они через огород в соседский дом.

Настя не ожидала гостей, стоит у грядки в огороде, подоткнув юбку, тяпает траву в борозде.

— Бросай, красна девица, работу, — поздоровавшись, сказал Мандрика. — Пошли в избу. Дело есть. Есть, есть дело.

— Вы заходите, я зараз, — бойко откликнулась Настя.

Дом у Пешковых был попросторнее, покрепче, чем у Мандрики, печка с лежанкой поаккуратней. А остальное все так же. У стены лавки. Между двумя окошками на Аргунь — стол. От стены до стены под потолком у печки жердь, одежду зимой сушить. Полка с глиняными мисками да деревянными ложками, а за нее подоткнут еще с весны пучок верб, перевязанный ленточкой.

Сели гости на лавку. Мандрика на посошок оперся, Иван к стене прислонился, ждут. А Настя замешкалась, забеспокоилась. Хотя старый Мандрика часто в их доме бывал, и Ванюшка по делу и не по делу забегал, а тут задумалась Настя: зачем это они? Может, Ванюшка проболтался про их уговор: как только обстроится он с отцом и матерью в новой станице на Амуре, так и приплывет за ней. Вчера ночью они только про это и говорили. «Самое позднее зимой по первому льду прикачу», — обещался Иван. А тут вот пришли. Может, дядька Мандрика против... «Ох, если откажется от меня Ваня, пропаду я».

Робко, будто не в свой дом входила, переступила Настя порог да так, потупившись, и стала, не закрыв двери.

«Ладную девку выбрал Иван, — подумал Мандрика, — не хуже моей Марфы, когда она молодой бегала».

— Да ты проходи, голубка, проходи, — сказал он. — Или Ваньку стесняешься? Так он у нас не кусается.

Иван тоже собрался сказать что-нибудь веселое, да охватила его непонятная робость, потупился, как и Настя, сидит, молчит, а ведь парень бойкий.

Бьется в оконце ожившая муха, перекликаются на берегу казаки и казачки, собравшиеся в Стрелке из разных станиц в ожидании переселения. Ругают начальство, что

загодя на месте не предупредило, сколько пудов груза с собой брать. Только в Стрелке и узнали. А куда добро, что сверх пятидесяти пудов с собой взяли, куда его? Бросать жалко, родных в Стрелке, кому можно отдать, нет. Покупать никто не хочет. Но сюда в хату все эти голоса доносятся как гусиное «га-га». Молчит Настя. Хотела она пройти к лавке и сесть, да ступить не может. Улыбнулся Мандрика про себя: растерялась девка, догадывается, почто пришли, али не догадывается? Тут бы издали, как положено, начать, да времени на окольный разговор нет. А раз такое дело, надо прямо говорить.

— А мы ведь, Настюша, сватать тебя пришли. Вот он, твой жених, — показал Мандрика на Ивана. — Как ты, согласная?

Говоря это, казак думал: «Ой, плохо все, скоро как-то. Обидится еще Настюшка. Да что делать...»

— Ой, дядя, — Настя всплеснула руками и зарделась, — да я совсем согласная!

— Ну, ин и ладно, ну, ин и добро, — даже прослезился Мандрика, растрогали его девичьи слова. — И ты, Настенька, девка добрая, и с родителем твоим мы вот с таких мальцов бегали, — показал он рукой от пола. — Да и Ванюшка у нас не варнак какой. Только ведь переселяться нам надобно.

— И я с вами...

— А не жалко тебе, голуба? Ведь бросать все придется? — Мандрика снова оглядел крепкий дом Пешковых.

— А на кой он мне дом! Мы с Ванюшкой новый срубим.

— Ну, ин и добро! Пошли теперя к матери, свекрови твоей, пусть и она благословляет.

Весь остальной день прошел в хлопотах и заботах. От матери направились к сотнику Богданову: как, мол, быть, можно ли невенчанными ехать?

— Езжайте, — не раздумывая, решил сотник, — а мы вам туда к покрову батюшку из Горбицы подошлем. Он по пути зараз кого окрестит, кого повенчает, кого отпоет. Все справит.

Сотник был рад: не надо заботиться о дочери покойного казака и, вместо одной семьи, теперь можно записать две.

— Ну, тогда, это самое, Кирик Афанасьевич, заходите вечером на свадьбу, и я прошу, и Марфа моя, и вот молодые. Кланяйтесь, — толкнул Мандрика сухим кулачком в потную от переживаний спину Ванюшки.

— Чо это, паря, ты тут баишь! — сразу сменил милость на гнев сотник. — Завтра отваливать, а он — свадьбу!

— Да как завтра! Мне еще Васька, то есть, господин урядник Эпов, коня не привел и коровку.

Услышав жалобу, сотник побагровел:

— Как не привел? Ну, я его сейчас шурну — враз пригонит. У самого табун коней, а он одну жалеет. А вы, однако, идите, идите. Собирайтесь.

Только начали увязывать Наськину поклажу, как к Мандрикину дому прискакал на жеребчике Васька Эпов.

— Эй, малолеток! — загорланил он. — Получай задарма коня! Шустрый черт! — сказал урядник, соскакивая на землю. — Будешь меня вспоминать. — И, передавая повод чуть не пританцовывающему от радости старику, вполголоса спросил; — Ты сотнику на меня не жалобился?

— Что ты, что ты, я его и в глаза не видел! — слукавил Мандрика.

— А как же коровка? — на ходу подвязывая платок, спешила к казакам Марфа.

Васька Эпов уставился на нее, будто не узнавая, потом постучал черенком плетки по голенищу и сказал:

— Так она на пастбище. Пасется коровка-то. Вот прибежит вечером, Матрена Степановна подоит ее, и пригоним. А уж поутру доите вы... — И, направляясь домой, обернувшись к Мандрике: — Встретишь сотенного, скажи, мол, пригнал я животину!

Но и вечером не пригнала Матрена корову.

— Ничего, — утешал Марфу Мандрика, — припозднилась, видать, по хозяйству. Зато мы утром своо молочка напьемся.

Настя уже считалась своей. Как стемнело, послали за ней Ивана, чтобы ужинать шла да и ночевать осталась — пусть к семье привыкает. Уложили ее спать на лавке. У одной стены дома Ванюшка лег, у другой Настя, а посередине у печки Мандрика с женой, свекор, значит, со свекровью. Разделили молодых. Хоть и жалко их, да ничего не поделаешь, невенчаные. Настюшка, как легла, так и затихла — не слышно ее, а Иван долго ворочался и курить раза три вставал. Черт нетерпеливый.

Поднялись рано. Марфа достала плитку кирпичного чая, хотела заварить, да Мандрика остановил:

— Чего загоношилась? Погоди, Матрена корову приведет, подоишь и сливану нам сваришь. Люблю я сливан, чтоб, значит, заварка была свежая, молочка парного туда, маслица, яичко и посолить как надо.

Но сливаном побаловаться не довелось. Коровку-то Матрена привела да с самых сенец затараторила:

— Бог в помощь, соседушки! А я вам комолую свою пригнала. И покормила ее травкой и подоила, чтоб вам не беспокоиться.

Вот тебе и сливан! Выпил Васька Эпов со своей тощей жинкой молоко!

А вскоре и команда подросла: грузиться на плоты с имуществом и скотом, устраиваться там, травы свежей для скотины на первый день накопить, а в полдень — в дорогу.

Мандрика попал на плот к уже знакомому подпоручику Козловскому, тому, что присылал солдат тесать для Кузьмы Пешкова гроб. Офицер стоял на берегу и вместе с сотником Богдановым отмечал в реестре: «Две семьи: Мандрики Ивана — служилого казака и Мандрики — малолетка. Четыре души. Одна корова и две лошади».

Сложили на плоту пожитки, привязали и Настиного, и своего коня, рядом корову. Водрузили курятник с курицами. Принесли полкопешки травы. Кажется, все.

— С плотов не отлучаться! — приказал подпоручик. — Через два часа отваливаем.

Ванюшка с Настей устроились на свежем сене. Рядышком так лежат, зубоскалят. И не заботит их, что уезжать, бог знает куда, час пришел. Что теперь они, как те цыгане. Мандрика с Марфой на бревнышке уселись, да не сидится старику. Повертелся он, посмотрел, как грузятся на плоты казаки, загоняют хворостинками глупых телят, как приезжие казаки на берегу завтракают перед дорогой, и подошел к подпоручику.

— Дозвольте, ваше благородие, за дедкой в станицу сходить?

— Как? — удивился офицер. — У вас еще один человек, а у меня записано всего четыре души.

— Да оно... — замялся Мандрика, — это и не душа вовсе, а суседка.

— Не понимаю, — обидчиво пожал плечами подпоручик. — При чем тут соседка? Она что, с вами собралась? Вдова, что ли? И молодая?

— Почто вдова? — Тоже удивился недогадливости офицера Мандрика. — Оно, как бы вам сказать... Суседка — домовой, значит. Коли дедушку не позвать с собой в новое место, прокудить станет. Да он у нас, дедка-то, тихий. Он не помешает... Так я сбегаю, ваше благородие?

Козловский поморгал длинными девичьими ресницами, снял перчатки, которые надел, видать, перед казачками покрасоваться. А так зачем бы ему перчатки, летом-то — в июне!

— Домовой, говоришь? — переспросил он. — Ты что, взять его с собой хочешь? А знаешь, это очень интересно. И я с тобой пойду!

— Так оно бы и хорошо, — замялся казак, — только как он, дедко? Не осерчал бы. Вы хоть и свой, а все-таки чужой человек.

Но восторженный Козловский, которому нравился и этот край, и эти люди, с их наивными обычаями, старинными песнями и преданиями, уже загорелся любопытством.

— Я нисколько не помешаю. Я буду очень осторожен.

— Ну, ин ладно, — с неохотой согласился Мандрика.

Откажи офицеру — он возьмет да и не разрешит сбежать в станицу. А позвать домового надо. Без дедки в дому, все одно, что без тараканов. Жилого духа не будет.

Настин дом стоял с утра с заколоченными дверями; свой, когда перебирались на плот, Мандрика забивать не стал, только подпер колом: надеялся все-таки вернуться за дедкой. Но кол, подпиравший дверь, стоял почему-то прислоненный к стене. «Запомню я дверь подпереть, что ли? — недоумевал Мандрика. — Али заходил кто, али дедко осерчал и начинает проказить?» Осторожно толкнул он скрипучую дверь и также осторожно вошел за ним подпоручик.

Голо и неприятно было в дому. Вещи из него вынесли, доски с лавок Ванюшка посрывал и отнес на плот. В углу у двери свален всякий хлам, который не взяли с собой на новое место. Старик чихнул, и звук этот гулко разнесся по пустому жилью. Показав пальцем, чтобы подпоручик не отходил от порога, Мандрика порывлся в ветоши в углу и достал заранее припасенный опорок от ичига. Из опорка он вынул чистую тряпку, в которую были завернуты стопка, флакон со спиртом, сухая лепешка и крашеное яичко.

— Лучше бы лапоть, — шепнул он, показывая подпоручику на опорок, — да нет лаптя...

Козловский считал себя человеком не суеверным, пошел он с Мандрикой, чтобы увидеть известный ему лишь понаслышке народный обряд, но и его охватил холодок, когда старый казак, налив в стопку спирту, поставил ее в опорок, потом положил щепотку соли на лепешку и, прихватив все это, направился к печи. Сквозь занавешенное с улицы мешковиной оконце чуть пробивался пыльными полосками солнечный свет, поскрипывали под нетвердыми ногами старика половицы. Мандрика присел у печки, положил в опорок лепешку и яичко, сунул опорок под печку, встал и негромко произнес:

— Дедушко домовый! Прошу твою милость с нами на новожитье: прими нашу хлеб-соль, Ты уж не оставайся тут, поедем с нами. Теперя у нас, слава богу, два коня и коровка, не забижай их. Вот и господин подпоручик за тобой изволили прийти. Он и повезет нас на новожитье.

И Мандрике, и даже стоявшему у двери офицеру показалось, что под печкой кто-то шевельнулся. Оба замерли и теперь уже ясно услышали булькающий звук — словно дедка-домовой и впрямь выпил стопку спирту. «Бог знает, что такое, — подумал подпоручик, — чертовщина какая-то...»

А старый казак, подождав, чтобы дать дедке-домовому спокойно забраться в опорок, отряхнул тряпку, присел, зажмурив глаза, ощупью дрожащими руками нашел опорок и накрыл его тряпкой. Главное было сделано. Он вынул опорок, подвернул под него тряпку и молча направился со своей ношей к двери. «Легонек-то, — думал он о домовом, — совсем ничего не весит». За ним, тоже молча, вышел подпоручик.

— Слушай, старик, а может, вернемся, посмотрим, что там шевелилось под печкой, — предложил он.

Мандрика недовольно затряс головой, показывая пальцем на губы, что надо, мол, об этом молчать, и шустро зашагал впереди офицера к Шилке.

За околицей на лугу, сверкая босыми пятками, Мандрику и Козловского догнал казачонок Семка.

— Уезжаешь, деда?! — крикнул он, настигая прутком воображаемого коня.

— Уезжаем, Семушка, — ответил Мандрика.

— Ух ты! — позавидовал Семка. — И я к вам, может, скоро приплыву.

— Один, что ли, голубь?

— Не, — ответил Семка, — с ребятами. Вот только прибьет к берегу пустую баржу, али плот вдруг кто бросит, мы на него и на Амур. Свою, деда, станицу срубим. Ты только тятке не сказывай!

— Да уж не скажу, — осторожно придерживая опорок с домовым, пообещал

Мандрика. — А ты мои снасти, что я тебе оставил, проверь, рыбку лови!

— Ладно, деда! — закричал Семка и умчался к Шилке.

«Ах, Россия, Россия!» — растроганно шептал Козловский.

Он не задумывался сейчас, как много вмещает в себя это понятие — Россия. Он восторженно ощущал ее лишь как свою родину с шестидесятидвухмиллионным народом и неоглядными просторами. В ней находилось место для старика Мандрики с его домовым и мальчишки Семки, для линейных солдат его четвертой роты, для трудолюбивых «мужичков» крестьян, блистательных столичных гвардейцев, мастеров на дебоши и амурные приключения, и мужественных защитников Севастополя, кровью поливших прославленные редуты.

Но подпоручик совсем не знал Россию, часто взрывающуюся народными бунтами, еще неосознанно стремящуюся к чему-то лучшему, Россию с ее миллионами крепостных, ждущих освобождения.

Откуда ему было знать, что уже третий год носит длинную серую шинель с такими же петлицами, как и у его солдат, и такими же погонами, только с цифрой «7», рядовой 7-го Сибирского линейного батальона, вчерашний каторжник, тридцатилетний писатель Федор Достоевский. А все годы, пока подпоручик учился в корпусе, на берегу Каспийского моря томился другой каторжный солдат — Тарас Шевченко, осужденный «за сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений». На приговоре недавно «почивший в бозе» Николай I собственноручно написал: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». И лишь в этом, 1857 году, поэт был наконец освобожден. Не знал подпоручик, что только два года назад вернулся из дальней ссылки еще один писатель — Михаил Салтыков-Щедрин.

Неведомая подпоручику Россия думала, боролась. В туманном Лондоне, в первой Вольной Русской типографии Александра Герцена второй год выходил альманах «Полярная звезда», на титульном листе которого помещены были профили пяти казненных декабристов. И кто-то уже тайком читал только что вышедший первый номер первой русской свободной политической газеты «Колокол», программой которой было освобождение слова от цензуры, крестьян — от помещиков, податного сословия — от побоев.

А о тех же героях севастопольской обороны, которыми так восхищался юный подпоручик Козловский, артиллерийский офицер Лев Толстой писал: «Из-за креста, из-за звания, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине...»

К полудню подтянулась наконец к Усть-Стрелке третья рота 13-го батальона. Вода в Шилке опять начала падать, и каждая верста сплава далась солдатам с большим трудом. Измученным линейцам дали короткий привал. А плоты четвертой роты подпоручика Козловского, с казачьими семьями, их домашним добром, коровами, лошадьми, вхохчущими курами, телегами с надранными вверх оглоблями, толстобрюхими самоварами под ними, темными иконами с ликом богородицы и Николая угодника на них, тронулись в путь вновь поднимать заросшие шиповником и кислицей, березками и осиною земли бывшего Албазинского воеводства.

«Наконец-то, — подумал подпоручик, — наконец и я увижу Амур. Что же все-таки откроется за той дальней горой? И где сейчас передовой отряд? Сегодня как раз полмесяца, как они ушли вперед».

Михайло Лапоть, рядовой 14-го линейного батальона, бежал из-под стражи. Посажен он был в трюм своей баржи за неслыханное преступление: Михайло ударил унтер-офицера.

Плюгавенький этот унтер давно за что-то невзлюбил солдата. Может, его бесил богатырский рост Лаптя — фуражка унтера едва доставала солдату до груди. Возможно, унтер-офицеру не нравилась завидная сила Лаптя — Михайло один легко ворочал бревна. А может быть, унтер просто показывал свой норов: ты, мол, силен, а власти не имеешь, а я вот могу измываться над тобой в свое удовольствие.

Чуть что-нибудь не нравилось унтеру, он наскакивал на линейца и первое время только орал. Потом, видя, что Лапоть покорно молчит, осмелел, и при новых промашках солдата привык, привстав на носки, трясти его за грудь. Это еще можно было терпеть. Но однажды, уже в Усть-Стрелке, унтер разошелся и несколько раз ткнул Михайлу своими костлявыми кулаками. В общем-то, было не больно, однако Михайло по-хорошему, так, чтобы никто не слышал, шепнул ему:

— Еще раз вдаришь, держись...

Унтер уставился на него табачными глазками, поморгал белесыми ресницами, но в тот раз ничего не сказал. Не трогал он Михайлу несколько дней. Даже другие солдаты удивлялись:

— Ты что, Михайло, али кумовался с нашим Кочетом, — так они прозвали унтера. — Не орет он на тебя, не петушится.

Михайло добродушно усмехался и говорил:

— Слово, ребята, такое знаю.

И вот, за день до начала сплава, Михайло уронил в воду сходни. Он тут же подцепил их багром и вытянул на борт. Но за ним уже следил ходивший с утра не в настроении унтер. Он налетел на солдата, схватил его за шиворот и принялся распекать. Михайло, как всегда, покорно опустил руки, ожидая, когда господин унтер-офицер отойдет. Но унтер от собственного крика распалялся все больше и больше. Не мог он простить Лаптю его угрозу.

— Может, хватит, — почти ласково сказал ему солдат.

— Что?! — взвился унтер, будто его кольнули, и ударил Лаптя по лицу. «Ладно, — подумал Лапоть. — Я тебя предупреждал», — и, размахнувшись, саданул унтера в грудь. Можно было по роже, но неудобно будет начальству ходить с синяками. Синяки-то учел Лапоть, а вот, что стоят они на палубе, не сообразил. Кочет взбрыкнул ногами и свалился за борт. Булькнуло здорово. Унтер, отфыркиваясь, вынырнул, колотя по воде руками. Отплевавшись, он заорал:

— Караул, спасите!

Михайло сам подал ему шест, кто-то из солдат подцепил багром фуражку. На баржу унтер лез молча, а уже на палубе дал себе волю. На его крик прибежал штабс-капитан. Михайле надавали оплеух и затолкали его в трюм. А чтобы не сбежал, надвинули на люк ящик с каким-то тяжелым грузом.

С этого времени про Лаптя словно забыли. Батальон готовился к отплытию, назначенному на завтра. Над трюмом то стучали солдатские сапоги, то все стихало. Потом опять бегали солдаты, что-то бросали на палубу, что-то передвигали над самой головой Лаптя. Вечером подана была команда на ужин. Линейцы, весело звеня котелками, потопали на берег, и слышно было, как по барже ходит один часовой.

Накормить в тот вечер арестованного никто не догадался, а может, Кочет специально распорядился поддержать его голодным, чтобы сильнее прочувствовал свою вину.

Ночью, когда все затихло, Михайло решил пошарить в тесном трюме, нет ли здесь чего-нибудь съедобного. Больше всего он надеялся найти мешок с сухарями. Солдат, радуясь, представлял, как он будет грызть вволю крепкие ржаные сухари. Но сухарей в трюме не оказалось, наверно, они хранились в другом отсеке.

Журчала под днищем вода. Храпел кто-то у самого люка, и Михайло тоже решил уснуть. Но вольготно растянуться в трюме не было возможности. Он, сидя, привалился к ящику, даже подремал немного, а потом встал и попробовал люк. Попробовал просто так, от нечего делать. Крышка, к удивлению солдата, поддалась. На ней что-то лежало, но не очень тяжелое. Михайло надавил спиной и высунулся из трюма. Оказалось, что на люке спал

солдат, а ящики, которыми придавили люк, наверно, передвинули при погрузке в другое место. Солдат, храпевший на крышке, намаялся за день так, что даже не проснулся, когда Михайло выбрался на палубу. Возле солдата нашлось свободное место, и Лапоть улегся рядом. Он спокойно проспал до самого подъема, а потом, вместе со всеми, сбегал на берег.

Только в зарослях ивняка, справив, как и все, малую нужду, Михайло решил, что ждать ему чего-нибудь хорошего от наступающего дня нечего. Может, сегодня же его выпорют да и отправят в штрафные или на рудники. Значит, надо бежать. А куда? Да пока подальше от батальона, а там авось повезет. И Михайло по кустарничку да по тальнику стал пробираться вдоль реки.

Берег гомонил. Плескались в воде солдаты, что-то варили казачьи семьи, ожидавшие погрузки. У одного такого семейного табора Лапоть приметил бадейку с молоком, отнес ее в кусты и там почти половину, не дохнув, выпил. Отер губы и бадейку выставил на виду, чтобы ее не забыли хозяева, после этого отправился подальше от берега и станицы.

Так он, озираясь, где украдкой, пригнувшись, а где и бегом, двигался и двигался вверх по Шилке, пока не оставил за собой стоянку обоих линейных батальонов, и лишь там затаился в кустах.

Вскоре до него, хотя отшагал он от лагеря порядочно, донесся оттуда шум. Это подошли суда каравана генерал-губернатора, но Михайло решил, что обнаружили его побег, и вся суeta на берегу, команды, крики — из-за него. А раз так, он пустился дальше. Добрался Михайло наконец до протоки Безумки. Дальше для него пути не было — плавать солдат не умел. Здесь в ложке, поросшем тальником, беглец провел ночь. Хотя и шел уже конец мая, без шинели да на пустой желудок Михайло порядочно продрог. Развести костер он не решался — могут заметить.

Утром Лапоть на солнышке отогрелся, но голод его мучил все сильнее. Он побродил по кустам, пощипал натошак дикого луку, но много ли его съешь без хлеба и соли. Отползая с поляны, он наткнулся на птичье гнездо с двумя пестрыми яичками и тут же, хотя знал, что грех разорять птичьи гнезда, выпил эти яички. Так в тот день он съел всего пучок луку да выпил два яйца величиной с наперсток каждое.

Надо было пробираться к станице, добывать еду, а может, какую лодку. Но это Михайло отложил на завтра.

Еще одну ночь скоротал он в кустах, а утром чуть свет выбрался к станице. Задами, через огороды, он подобрался к первому дому, привлеченный аппетитным запахом допревавшей каши, и затаился у плетня. Здесь ему невероятно повезло. Хозяйка как раз вышла доить корову с ведерком и куском хлеба, посыпанным солью, в руке. Ведро она повесила на колышек неподалеку от присевшего солдата, положила в ведро хлеб, а сама направилась к стойке выгонять корову. Михайло сунул руку в ведро, схватил хлеб и по-за домом, по-за сараями пустился бежать.

К концу того дня, вечером, он задумал соорудить себе шалаш, чтобы можно было хорошо выспаться. Для этого Лапоть зашел в густой тальник и начал было ломать стебли, как заметил кучу хвороста или травы. В сумерках трудно было разглядеть. Михайло подошел поближе и увидел, что это низкий шалаш, в котором можно улечься как раз одному человеку. Заглянув в лаз, Михайло с радостью убедился, что шалаш пустой.

Внутри шалаш кто-то обложил сеном, а в изголовье даже лежал старый стеганный халат. Но самое главное, под халатом Михайло нащупал холстяную сумку с буханкой черствого хлеба и сухарями. Не раздумывая, кто это и для чего припрятал хлеб, изголодавшийся Лапоть сразу же съел полбуханки. Теперь можно всласть покурить. Михайло набил табаком трубку, высек искру и, развалившись на халате, стал покуривать, думая, что и в бегах жить можно, только бы попадались почаще торбы с буханками хлеба. Его рота, наверно, уже ушла на Амур, унтер один остаться не мог, и все-таки надо убраться куда-нибудь подальше, в этой станице его многие знают.

Раздумывая так, Михайло услышал осторожные шаги. Он замер, прислушиваясь. Но шаги за шалашом сразу стихли. Послушав и подождав, Михайло начал потихоньку, ногами

вперед, выбираться. И когда он вылез уже наполовину, шаги вдруг стали удаляться, а потом до солдата донесся треск сучьев, и все стихло.

Михайло выполз, огляделся, но никого уже рядом с шалашом не оказалось. Конечно, сюда подходил человек. Заплутавшаяся корова или лошадь не стали бы ни с того ни с сего убегать. Было от чего встревожиться, и солдат провел ночь беспокойно. Он то засыпал, то вскакивал, упираясь головой в крышу своего укрытия. Слушал и опять засыпал.

«Кто же это подходил?» — вертелась неотвязная мысль.

Утром Михайло решил посмотреть, не остались ли возле шалаша какие следы, но сколько ни ходил он, согнувшись, сколько ни вглядывался, ничего не заметил. Он зашел в чашу, откуда ночью донесся треск, но и там, на сырой земле, следов не было. Осматриваясь, Михайло повернулся к своему ночлегу и сразу присел. К шалашу крался седой патлатый старичок в старенькой серой рясе, подпоясанной веревкой, и в лаптях.

Не замечая солдата, старичок присел у лаза в шалаш, а потом проворно юркнул туда.

«Утянет хлеб!» — испугался Лапоть, не думая о том, что и шалаш, и сумка могли принадлежать старику. Бегом припустил солдат спасать провиант и успел вовремя. Из шалаша показались растоптанные лапти, худые ноги старика, а потом и он весь. В грязных сухих руках незнакомец держал заветную сумку. Не говоря ни слова, Лапоть ухватился за сумку и потянул к себе. Старикашка, теперь Михайло видел, что это или монах, или какой неудачливый поп, уцепился за сумку обеими руками. Они уставились друг на друга и молча то один, то другой дергали сумку всяк к себе.

Конечно, богатырю солдату ничего не стоило скрутить хилого попишку и отобрать у него хлеб и сухари. Но старичок мог поднять крик, а это Лаптю в его положении было ни к чему.

— Отдай, батя! — негромко сказал он.

А поп вместо того чтобы выпустить сумку, потянул ее сильнее да еще зашептал:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помоги мне!

— Ах, ты так! — Михайло дернул сумку и приподнял ее вместе со старичком над землей.

Старик сучил в воздухе лаптями, но сумку не выпускал.

— Ладно, — сказал Лапоть, отдавая сумку, — твой, что ли, харч?

— Мой, — ответил старичок, прижав сумку к впалой груди и тяжело дыша.

— Ну, давай тогда вместе поедим.

Старик согласно кивнул. Они сели у шалаша, старик развязал сумку и вынул оттуда хлеб, осмотрел его, покачал головой недовольный тем, что солдат уже съел половину. Потом двумя пальцами перекрестил хлеб, разломал и протянул меньший кусок солдату. Покопавшись за пазухой своей рясы, он достал тряпочку, в которую была завернута крупная соль.

Молча, присматриваясь друг к другу, посыпав хлеб солью, они начали есть.

— Ты кто? — спросил Лапоть.

— Сыне, — с укором сказал старичок, — аз — человек... А ты что тут плутаешь?

— Надо... — ответил Михайло.

Больше они ни о чем друг друга не спрашивали, а принялись торопливо жевать, украдкой наблюдая, как у кого уменьшается краюха. Старик ухитрился прикончить свой хлеб первым. Он собрал в ладонь крошки, оброненные на рясу, высыпал их в рот и опять перекрестился непривычно для Лаптя двумя пальцами.

— Ты старообрядец, что ли? — поинтересовался солдат.

— Истинной веры аз праведник.

Михайло полез в карман за кисетом, старичок сразу замахал на него руками, заерзал:

— Убери табачище, не оскверняй место.

Михайло отошел в кусты и покурил там. Старик не отходил от шалаша, наблюдая за солдатом.

«А бес с тобой, сиди», — подумал Михайло. Правда, жалко было сухари, но он решил

сам раздобыть еду и пошел по кустам прочь от шалаша. В чаще, недалеко от протоки, он наткнулся на перевернутую долбленную лодку. «Вот это дело! — обрадовался Лапоть. — Теперь можно переплыть на ту сторону». Под лодкой лежало весло и закопченное ведерко. Это было совсем хорошо.

Лапоть перевернул лодку, осмотрел. «Целая, — обрадовался он, — течь не будет». Разглядывая лодку, он услышал за спиной сопение, оглянулся и опять увидел старика.

— Что ходишь по следам? — недовольно спросил он. — Может, и лодка твоя?

— Истинно так, — ответил старичок.

Он пришел сюда с сумкой в руках, не решился оставлять сухари в шалаше. Лапоть рассердился:

— И хлеб твой, и шалаш, и лодка! Может, и деревья здесь твои, и трава!

— То не мое, то божье, а ветка сия, сыне, истинно моя.

«Да пропади ты пропадом!» — выругался про себя Лапоть и хотел было идти, но раздумал и попросил:

— Слышь, батя, ты перевези меня за протоку, на ту сторону, и забирай свою лодку.

— Днем-то нельзя, — ответил старик. — А потемну могу и переправить... Т-сс! — насторожился вдруг он.

На берегу за тальником послышались голоса.

Лапоть сразу хотел бежать, да и старик присел и начал часто креститься. Но они быстро успокоились. С берега доносился звонкий мальчишеский голос, а ему изредка отвечал старик. На погоню это не походило. «Посмотрю», — решил Михайло и осторожно стал пробираться через кусты, за ним семенил старичок.

На опушке в густых тальниках они залегли и осмотрелись. Голоса раздавались под берегом у самой воды.

— Сейчас я, Семушка, портки-то сыму и вытяну мордушу. Може, мы с тобой с рыбкой-то и будем, — говорил старик.

— Не, дедка, я сам.

— Ну, ин ладно, побрели вместе.

Послышался плеск воды, кряхтение старика, веселые выкрики мальчишки.

— К берегу ее, Семушка, к берегу! — распоряжался старик.

— Есть рыба! Сом! — кричал Семка.

— Ну, ин и добро! — радовался старик. — Подале, голубь, выкидывай!

На песке у воды забила выброшенная рыба. Дед и мальчик опорожнили мордушу и снова забросили ее в протоку.

— Теперя, Семушка, покажу тебе другую мордушу. Она подале стоит. Как я уеду в Амур, так ты ими и владей.

— Мои будут! — радовался Семка. — Ты, деда, поскорее уезжай.

— Да уж скоро, голубь, скоро!

Старик и мальчишка, оставив рыбу, пошли вдоль берега вынимать вторую мордушу.

Поп шепнул Лаптю:

— Старик-то — казак местный Мандрика. Я его соседа вчера отпевал.

Дождавшись, когда рыбаки зашли за кривун, Лапоть прыгнул с невысокого берега и выкинул наверх сома и двух щук.

— Еще кидай, сыне, еще! — ерзал на берегу попик.

— Хватит, — выбираясь на берег, сказал Лапоть. — Тепло ведь, рыба пропадет зря.

Они оттащили неожиданный улов к шалашу и не видели, как охал и удивлялся Мандрика, когда не нашел половины рыбы.

В густой чаще, рискуя, что кто-нибудь может заметить дым, поп и солдат сварили ведро ухи.

«На два дня хватит», — думал Лапоть, но уху они прикончили к вечеру.

— Ничего, — говорил Лапоть, — будем проверять мордушу. Теперя мы с рыбой.

Поев горячего, поп стал разговорчивым и, слово за слово, выпытал у солдата всю его

историю.

— Уходить тебе надо, служивый, — сказал он. — А то поедem со мной на Бурею-реку. Тамо где-то, верные люди сказывали, истинной веры вольные мужики обитают.

— А где она твоя Буря?

— По Амуру плыть надо. Далече она.

— Мне это не подходит, — вздохнул Михайло — Туда батальон наш сплавляется. Там унтер...

— А мы, яко тати, поплывем ночами.

Михайле было все равно, в какую сторону подаваться. Везде скрываться придется, а на Бурее-реке обещал поп вольное житье, без начальства. А что там старoverы — это не так уж и важно: креститься двумя перстами научиться можно.

Отравляться в путь они решили сразу, как только уедут из станицы ожидавшие казаков-переселенцев последние роты 13-го и 14-го батальонов. А за это время надо было запастись сухарями, а может, крупой и другим провиантом, и хорошо бы соли раздобыть. Поэтому ночами они теперь бродили вокруг станицы и батальонных стоянок, а днем отсыпались.

— Ты, сыне, к Мандрике проберись, — советовал поп. — Он переселяется и сухариков, видать, насушил.

— А что сам-то?

— Знает он меня, вот что. Мне-то нельзя.

В дом к Мандрике Лаптю удалось пробраться только в день отъезда старика и его семьи. Пожиться здесь уже было нечем. Дверь в дом оказалась подперта колом, а внутри валялся разный брошенный хлам. Михайло заглянул в печку, но и она была пуста. Солдат уже собрался уходить, как услышал приближающиеся к дому голоса. «Забыл старик что-то...» — испугался Михайло и залез под печь.

Он услышал, как в дверь вошли люди, как один из них тихо сказал: «Лучше бы лапоть, да нет лаптя...» — «Меня ищут!» — обомлел солдат. И тут Мандрика направился к печи, Михайло затаил дыхание. «Пропал, — решил он. — Нынче пороть будут али позже?» Но вместо окрика: «Вылазь!» — вместо штыка, направленного ему в грудь, солдат увидел растоптанный опорок от мягких сибирских сапог — ичигов, а в нем наполненную доверху стопку, лепешку и даже крашеное яйцо. А когда казак стал звать домового, Михайло сообразил в чем дело. И ему, в своем селе, доводилось слышать, как, переезжая в новый дом, старики приглашали с собой «суседку».

«А, была не была, чего пропадать добру!» — решил Лапоть, схватил стопку и хотя было неудобно, сидел он согнувшись, выпил ее до дна. Он успел поставить стопку на место, схватил лепешку, полез было за яйцом и чуть не наткнулся на руку старика — Мандрика уже накрывал опорок тряпкой.

Хлопнула дверь, казак и его спутник ушли, и Михайло облегченно вздохнул, ругая в то же время себя, что замешкался и не успел взять яйцо.

Ночью, проверив напоследок мордуши, оставленные Мандрикой, и прихватив одну из них с собой, беглый солдат и поп-расстрига поплыли по течению искать Бурею-реку с вольными мужиками.

6

Ровно через сутки после выхода из Усть-Стрелки передовой отряд четвертого Амурского сплава подходил к месту, где стояла более чем полтора века назад Албазинская крепость. Все это время плыли ночью и днем. Остановки делали только, когда намечали места для новых поселений. Вслед за Игнашиной, в тот же день заложена была станица Сгибнева. Начальник канцелярии губернатора молодой чиновник Шишмарев, знаток

китайского и маньчжурского языков, названием остался недоволен.

— Ну, Игнашина, ладно, — иронически говорил он. — Так река называется, и село там раньше стояло, говорят, тоже Игнашино, а вот Сгибнева — зря!

— Почему? — поинтересовался Дьяченко.

— Ну что Сгибнев! Ни чину у него большого, ни звания. Простой лейтенант. Одна заслуга, что «Аргунью» командовал. Любого моряка поставь на его место, взберется на мостик, крикнет погромче: «Полный вперед!» — и поплыли... Этак дальше пойдет, извините, именами простых казаков называть станицы начнем.

Капитан не знал Сгибнева, не достаточно хорошо знал и Шишмарева, поэтому примирительно сказал:

— Места на Амуре много, станиц можно построить десятки, так пусть одна носит имя командира первого парохода, разбудившего эти места.

— Вот, вот, так и Николай Николаевич считает, а я думаю — это ненужный либерализм, — не соглашался Шишмарев.

Необычную картину представлял Амур ночью. Еле-еле различались в темноте гористые берега, ни огонька в оконцах жилья на них, как на других реках, ни костра на отмели, только яркие сочные звезды усыпают небо да мерцают костерки на баржах и впереди 13-го батальона, и позади. Работает на баржах только половина весел — часть гребцов спит, завернувшись в шинели. А бодрствующая смена тоже не спешит, вяло опускаются и тихо всплескивают весла. Начальство ночами не торопит, того и гляди: сядешь на мель.

Игнат Тюменцев завидует спящим товарищам. Сейчас бы растянуться на досках, запахнуть поплотнее шинель, кулак под щеку и дать храпака. Может, привиделась бы Глаша. Она уж снилась ему один раз. Стояла будто бы на своем крылечке босая. Лил дождь и светило солнце — все сразу. А Глаша смеялась и плакала — тоже сразу. Мокрый сарафан облегал ее так, что Игнат видел девушку словно раздетую. Он хотел перепрыгнуть через плетень в соседский двор, чтобы обнять Глашу, но только собрался сделать шаг, как проснулся. И ему очень хотелось досмотреть этот, растревоживший его, сон.

«Ах ты, Гланя, Гланя! Придумала же: буду ждать. А ждать-то надо сколько, — вздыхает Игнат, — а я пока и года не отслужил».

— Тюменцев! Не спи! — окликает его унтер-офицер Ряба-Кобыла и начинает размеренно считать: — И раз, и два!

Утром подошли к устью Кутоманды. Сменившись, Игнат спал, как и мечтал, подперев кулаком колючую щеку. Его веслом ворочал Кузьма Сидоров. Кузьма сразу узнал это место. По-прежнему сидел на мели против поста пароход «Шилка», а на берегу чернели землянки, где нашли спасение от голода и холода прошлой зимой линейцы и сам Кузьма. Только пусто было сейчас на берегу, не виднелось у брошенных землянок казаков. Еще ранней весной ушли они на новое место, туда, где стоял когда-то Албазин.

На борт «Шилки» высыпали матросы и мастеровые, чинившие машину.

— Стоит, милая, — сказал Перфильев, показывая на «Шилку», — это она с пятьдесят четвертого года только досюда и добралась. Худо сделали пароход-то.

Дьяченко слышал, что этот неудавшийся пароход, построенный вместе с «Аргунью», может плавать лишь по течению, и его уже кто-то окрестил «неповоротливым чудовищем».

Команда парохода махала вслед проплывавшим мимо баржам. Для всех собравшихся на борту первые суда, появившиеся в этом году, были большим развлечением. С ранней весны бились люди над машинами, но конца ремонта и переделок не видели.

— А вы весла приделайте, веселки! — крикнул подпоручик Прещепенко.

— Ничего, «москва», — протяжно ответили с борта «Шилки», — мы еще вас нагоним.

Солдаты посмеялись и забыли бы про пароход, но через какой-то час баржа Прещепенко прочно села на мель.

До этого батальону везло. То ли Дьяченко удачно выбирал направление, то ли просто все обходилось само собой, но его баржи шли по Амуру без досадных задержек. И сейчас две первые баржи миновали невидимую под водой мель. Стараясь держаться того же

направления, шла третья баржа. Подпоручик Прещепенко сидел на носу и, довольный удачным плаванием, перебирая струны гитары, негромко напевал:

Кольцо души-девицы
Я в море уронил;
С моим кольцом я счастье
Земное погубил...

Внезапно послышался скрежет днища о гальку, толчок — и баржа резко встала. Подпоручик чуть не выронил гитару. Размахивая кулаком, он побежал к рулевому.

— Болван! — заорал он. — Где твои глаза?

Кормчий виновато разводил руками. Юнкер Михнев командовал грести назад. Гребцы смешались, кто греб назад, кто вперед. Но вот все дружно навалились на весла, пытаясь сдвинуть баржу кормой с мели. Корма двинулась и медленно пошла по течению.

— Хорошо! — крикнул Прещепенко. — Дружней!

Но тут и корма, развернувшись, села на мель. Следующая баржа, не успев отклониться в сторону, налетела на корму севшего судна и обломала на нем рулевое весло. От толчка подпоручик выронил гитару и в сердцах ударил рулевого. Тот бестолково ворочал ручкой сломанного весла.

Виновники поломки бросили им канат. Его закрепили на корме, но все попытки сняться с мели с помощью буксира окончились ничем.

— Все в воду! Все в воду, каналы! — кричал Прещепенко, бегая по палубе.

Нехотя снимая сапоги, солдаты переваливались через борт и почти по грудь погружались в холодную воду. Михнев бегал вдоль борта и показывал, где кому встать.

— Раскачивай! — командовал он. — Дружно, раз! Еще раз!

Развернувшись, медленно подходила к месту аварии баржа командира батальона. С нее тоже бросили канат. Михнев поймал и закрепил его. И вот уже гребцы двух барж пытаются помочь севшим на мель.

Игнат Тюменцев и Кузьма Сидоров сидели рядом, за одним веслом.

— А ну, Игнат, не жалея силенки, — приговаривал Кузьма, — а то придется с той баржи груз на себе таскать.

Наконец корма севшего на мель судна шевельнулась и медленно поползла. Линейцы в воде еще дружней продолжали раскачивать свою баржу.

— Ой, братцы, судорога у меня ногу тянет, — пожаловался один из солдат.

— Ничего, терпи, знай качай!

— Братцы, и вторую тянет. Утопну я.

— Ваше благородие, тут у него судорога...

В это время тронулся и пополз на глубину нос баржи.

— Пусть залазит! — разрешил подпоручик.

Солдат попытался вскарабкаться на борт, но сам не смог. Его посадили соседи, на борту подхватил юнкер Михнев.

— Оттирай ноги-то, — сказал он. — Это бывает. Вода вон совсем еще студеная.

И вот баржа опять на глубине. Сменили рулевое весло. Сушиться гребцам некогда, надо наверстывать упущенное время. Снова взлетают вверх и падают в воду, окатывая борта брызгами, тяжелые весла. Подпоручик Прещепенко опять в добром настроении, раскурил трубку, взял гитару:

Кольцо души-девицы
Я в море уронил... —

поет он. А солдаты посмеиваются: «До моря далеко. Зато Амур — вот он. В Амур-то сподручнее ронять колечко. Эх ты, служба солдатская. А еще над «Шилкой» смеялись,

братцы. Этак-то она нас и вправду догонит».

В полдень вдали, на высоком левом берегу, показались крест и стоящий у берега генеральский катер. Албазин... Здесь назначена была остановка на обед.

Пока варили похлебку, вытесывали и ставили столб с надписью «Албазин», Дьяченко пошел по прибрежному валу — бывшей стене укрепления. Поручик Венюков уже измерял его и набрасывал план старой крепости.

— Поработали служилые люди, — оживленно заговорил он, — длина каждой стены около сорока сажень, а толщина у основания четыре сажени. А вот на этом холме у них, по-видимому, стояла батарея. Отсюда хорошо было стрелять поверх стен. И, может быть, как раз с этого места посылал свои ядра прославленный пушкарь-албазинец Алешка Наседкин. И посмотрите, капитан, — Венюков раздвинул сапогом бурьян, — более чем полтора века прошло, а до сих пор виден след пожара.

Сквозь траву на самом деле проступала местами обожженная до кирпичного цвета земля.

Венюков и Дьяченко прошли до угла береговой стены. Здесь Венюков остановился и поднял палец, словно приглашая прислушаться:

— Тишина-то какая, капитан. Кузнециков слышно, а представьте, что здесь творилось в 1686 году, когда началась новая пятимесячная осада.

Глядя на пологую, почти трехверстную излучину скалистого берега, на мирное течение Амура и словно задремавшие зеленые дали, открывающиеся с земляного вала вверх и вниз по реке, действительно трудно было представить схватки, не раз вспыхивавшие на этом тихом берегу, и Венюков сказал об этом:

— А я словно вижу, как скачет к южным воротам казачий отъезжий караул, он первым столкнулся с идущими по берегу маньчжурскими войсками. Потом, разглядев плывущие с низовий Амура бусы, заполненные солдатами, забили тревогу дозорные на восточной башне. Воевода Алексей Толбузин сам, наверно, забрался по березовой лестнице к дозорным и насчитал этих судов ровно сто пятьдесят. И тогда же, вот у этой южной стены, где мы сейчас стоим, с гиком, криками, улюлюканьем появились конники. А за ними шло много тысячное войско.

— Однако вы так это рисуете, будто при сем присутствовали! Сколько же подтянул сюда войск князь Лантань? — спросил Дьяченко.

— А сколько вы думаете? Затрудняетесь сказать? — чуть склоняясь к Дьяченко, спросил Венюков. — До пяти тысяч человек и сорок пушек! Больше шести солдат на одного албазинца, а на каждую пушку Алексея Толбузина — пять маньчжурских. Богдыхан Кан-си приказал Лантаню приступом взять Албазин и сразу же наступать на Нерчинск. Для этого наступления они пригнали три тысячи лошадей! Богдыхан замахивался чуть ли не на всю Восточную Сибирь.

К офицерам подошел подпоручик Прещепенко.

— Столб с названием поставлен, — сказал он, — но почему все так взволнованы? Расскажите хоть вы, что здесь было?

— Ну, подпоручик, я удивляюсь, — нахмурился Венюков. — Как можно отправляться на Амур и не поинтересоваться его историей! Что бы вы предприняли, например, если бы сейчас к этому берегу начала приставать флотилия маньчжурских войск, угрожая вам пушками и осыпая берег тучами «огненных» стрел? Как бы вы поступили?

— Шутите, — улыбнулся подпоручик.

— Албазинцам было не до шуток. Ведь именно так случилось в июле 1686 года. Когда первые бусы ткнулись носами в берег, со стороны крепости, может быть, с этого места, где мы стоим, грянул ружейный залп и грохнули пушки, а отряд Афанасия Бейтона бросился навстречу высаживавшимся врагам. Передовой десант маньчжур был смят, поколот пиками, побит прикладами тяжелых пищалей. Солдаты, бежавшие на бусы, в панике отталкивались веслами от берега, а днища их судов подминали тех, кто оказался за бортом. Бусы налетали друг на друга. Сам командующий пятитысячной ордой Лантань метался по палубе

украшенного конскими хвостами и шелковыми полотнищами буса, размахивал сразу двумя мечами и в гневе отрубил голову какому-то подвернувшемуся сановнику. Так началась пятимесячная оборона Албазина... Извините, кажется, нас зовут.

По валу, от места стоянки, к ним бежал солдат.

— Приглашают на молебен, — запыхавшись, доложил он.

Рядом с катером Муравьева стоял катер графа Путятина. Плывший с набожным графом архимандрит Аввакум начал молебен. Офицеры сняли фуражки, чтя память русских героев.

После обеда и молебна — опять в путь.

В тот же день назначили место для станицы Бейтоновой. Дьяченко специально подошел к Венюкову, чтобы расспросить его поподробнее об Афанасии Бейтоне. Поручик на этот раз был хмур.

— Вы заметили на островах и по берегу кресты? — спросил он. И когда капитан подтвердил, Венюков сказал — Это память безвестным страдальцам прошлого года. Там могилы солдат вашего батальона, капитан. Граф Путятин, завидев кресты, поначалу останавливал свой катер и приглашал Аввакума прочесть молитву, но, как вы видели, крестов очень много, и от своей затеи граф скоро отказался. Вечная память жертвам неумелости тех, кто брался ими распоряжаться.

Дьяченко спросил все-таки о Бейтоне.

— Что ж, — без былого воодушевления ответил Венюков. — Афанасий Бейтон, безусловно, — достойный памяти человек. Я уже рассказывал, как он намеревался помешать высадке маньчжур у набережной стены. Он и позже не один раз пытался сбросить неприятеля в реку. А на пятый день боев Алексей Толбузин был тяжело ранен ядром в ногу и вскоре умер. Так что все остальное время крепостью командовал Бейтон. А ведь войско Лантана к октябрю увеличилось до десяти тысяч человек.

— Вот Бейтонова названа верно! — сказал, остановившись рядом, Шишмарев. — Однако, господа, пора и в дорогу.

И снова плывут линейцы по течению Амура. Все так же тянутся рядом покрытые лесом берега, тальниковые острова, заросшие до самых вершин горы, и нигде не видно человеческого жилья.

— Вот птиц-то! — радуется и сожалеет, что нельзя поохотиться, Игнат, провожая взглядом непрерывно снующих над самой баржей уток.

Птиц по реке действительно много. Стоят на отмелях цапли, возле них толкуются кулики, чернеют перевернутыми шапками огромные гнезда на деревьях то ли аистов, то ли цапель. Качаются на волнах белые лебеди, кружат над водой коршуны, словно это край не людей, а птиц.

Лишь однажды, за всю дорогу, встретились каравану люди. Первыми их увидели с барж 14-го батальона. Чуть ли не посередине реки поднимался из воды сооруженный из жердей треножник. На вершине его сидел человек, а к треножнику спешила длинная долбленая лодка.

— Держать левее! — скомандовали с передней баржи. — Там мель!

Проплывая мимо, линейцы разглядывали на треножнике косматого рыбака-эвенка. Он с вершины шаткого сооружения наблюдал за снастью и, когда видел, что рыба зашла в связанную из травы сетку, подавал знак другим рыбакам, и те спешили взять улов.

До устья Зеи выбрали еще места для станиц Ольгиной, Кузнецовой, Аносовой, Кумарской, Казакевичевой и Бибиковой.

И вот наконец под вечер девятого дня пути показался Усть-Зейский пост — место, назначенное для поселения 14-го Сибирского батальона.

Катер генерала причалил к небольшой дощатой пристани, приподнятой над водой на козлах. Повыше пристани на площадке высокого берега стояла шеренга зимовавших здесь казаков. Оттуда навстречу Муравьеву спешил начальник поста есаул Травин. Он только что выровнял строй, приказал казакам глаз не сводить с начальства и пообещал: «Ну, ребятушки, кончились наши мытарства. И переболели мы, и наголодались, однако службу несли честно.

Может, и награда нам какая будет. Сам его высокопревосходительство прибыл».

По такому торжественному случаю пожилой, грузный есаул надел тесную ему парадную форму, которая всю зиму пролежала без надобности. Став перед генералом, Травин поднес руку к папахе и старательно произнес рапорт, который заучивал наизусть уже несколько дней:

— Ваше высокопревосходительство, на Усть-Зейском его императорского величества посту все обстоит благополучно.

— Сколько у вас умерло за зиму людей? — резко спросил генерал-губернатор.

Травин вздохнул, оглянулся на шеренгу казаков, застывшую на яру, и так же отчетливо, как только что докладывал, сказал:

— Двадцать девять, ваше высокопревосходительство.

Он хотел добавить, что всех казаков у него было пятьдесят, что оставшиеся перенесли за зиму много лишений, но передумал. А генерал, обойдя есаула, быстрым шагом направился вверх по берегу. Травин почти бегом спешил за ним. Следом, поотстав, направилась вся его свита.

Поднявшись на бугор, Муравьев сделал вид, будто только что заметил строй казаков. Он повернулся, подбежал к Травину и, наседая на него, показал рукой на шеренгу и закричал:

— Эт-то что такое?!

Травин не был пугливым, но тут растерялся, попятился и пробормотал:

— Почетный караул, ваше высокопревосходительство.

Не слушая, генерал продолжал наступать на есаула. На Муравьева нашел тот приступ гнева, которого так боялись его подчиненные.

— Это что такое?! — продолжал кричать он, топая ногами.

Травин затрясся, оступился и покатился по яру под берег. Папаха его свалилась, обнажив лысую голову. Задержавшись на склоне, есаул принялся карабкаться вверх, продолжая отдавать честь правой рукой.

Сын усть-стрелочного сотенного командира Роман, ходивший за губернатором с записной книжкой, расхохотался. Муравьев повернулся к топтавшейся на месте свите и закричал:

— Смейтесь над этим старым дураком. Я дал ему казаков, чтобы они делали полезное, а он учит их почетному караулу!

Офицеры смущенно молчали. Шишмарев рассматривал носки сапог, Венюков отвернулся. Муравьев подошел к строю казаков и скомандовал:

— Налево кругом! На работы — марш!

Казаки повернулись и чуть ли не рысью направились продолжать оставленные работы.

В это время к пристани подошли баржи 14-го батальона, показался катер посланника. Гнев генерала постепенно проходил. Как ни в чем не бывало он подошел к стоящему все еще без папахы Травину и сказал:

— Поблагодарите казаков от моего имени за трудную службу!

Ружья с примкнутыми штыками стоят в козлах. Пылают на амурском берегу костры, выхватывая из темноты сырые полотнища палаток. Сидят и лежат вокруг костров солдаты первой роты 13-го батальона и нет-нет да поглядывают в сторону лагерной кухни — когда же прозвучит сигнал на желанный ужин. Позади трудный день. Станица Усть-Зейская начала застраиваться.

Уже третьи сутки живут здесь солдаты. Одни рубят прибрежный тальник по берегу Амура и Зеи и волоком стаскивают его к месту будущих строений. Другие вкапывают двойными рядами частокол. Третьи оплетают колья ветками. И уже можно угадать в

строительной неразберихе контуры будущих казачьих изб.

Казачи, зимовавшие с сотником Травиным, собирают дом для начальника отряда. Дом был сплавлен в разобранном виде из станицы Бянкиной на Шилке. Своего леса на устье Зеи нет.

14-й батальон возводит для себя и артиллерийского дивизиона лагерь. Строят они казармы тоже из ивняка способом, подсказанным капитаном Дьяченко. Потом двойные ряды плетней, образующих стены, будут засыпаны землей, покрыты сверху жердями и дерном — и временные жилища готовы.

А вот и ужин! Кузьма Сидоров разливает в подставленные котелки суп, а потом туда же кладет по черпаку каши. Это делается с общего согласия. Что делить ужин на два блюда? Чем гуще — тем лучше.

Сухари у каждого свои, полученные еще утром. Кто грызет их сухими, кто обмакивает в суп. Игнат Тюменцев крошит сухарь в котелок и перемешивает ложкой и суп, и кашу, и сухари.

— Здесь останемся на все лето али пойдем дальше? — спрашивает кто-то.

— Наверно, здесь, — отвечает ему другой голос. — Вон 14-й батальон плоты разбирает. А ты как, дядя, думаешь?

Кузьма Сидоров, к которому обращен уважительный вопрос, облизывает поварешку и говорит:

— 14-й-то в этом месте остается, а нам, я так смекаю, еще куда ни на есть плыть придется.

— Хлеб да соль! — выступив из темноты, говорит батальонный командир. — Ну как у вас ужин?

— Наш рот все подберет!

— Садитесь с нами, ваше высокоблагородие!

— Не откажусь, — соглашается Дьяченко и устало опускается у костра.

За день ему пришлось порядочно походить от места, где строилась казачья станица, к лагерю 14-го батальона. И здесь и там требовался его совет. Генерал-губернатор уплыл со всей свитой провожать в дальний путь посланника графа Путятина. Венюкова он оставил на посту главным распорядителем, а Михаил Иванович, узнав, что Дьяченко приходилось заниматься возведением южнороссийских военных поселений, полностью положился на него в строительных делах. Сам Венюков встречал подходившие по Амуру войска с их баржами и плотами, назначал им место стоянки, делал съемку местности между Зеей и Амуром.

— Вам как положить, ваше высокоблагородие, по-нашему? Или суп, а потом кашу?

— А как это по-вашему?

— Да мы все сразу, в один котелок. Игнат, вон, и сухари туда же.

— Дома ешь, что хочешь, а в гостях, что велят. Давай по-вашему. Гущей солдат не испугаешь!

Линейцы одобрительно рассмеялись. Кто-то пододвинул капитану сухарей.

— Один и у каши загинешь, а вместе что ж не одолеть, — сказал Дьяченко, принимаясь за еду.

На некоторое время наступила тишина, каждый занялся своим котелком. Потом сидевший рядом с командиром солдат, показывая на Игната, спросил:

— Тюменцев вон, ваше высокоблагородие, интересуется... Мы как тут — до конца лета будем али дальше подадимся?

— Я не... я не спрашивал, — стал отнекиваться Игнат.

Солдаты захохотали, но все с интересом смотрели на командира, ждали, что он ответит.

— Мы здесь временно, — заговорил Яков Васильевич. — Часть сплава уже ушла на Нижний Амур, так что мы туда не пойдем. Вот поможем 14-му батальону обосноваться, сколько успеем, сделаем для казаков, а к осени подадимся на зимние квартиры. Ну как, Тюменцев, подходит это тебе?

— Мне бы в Засопошную лучше, — ответил Игнат под общий смех.

Много ли надо времени человеку, проработавшему с утра до темноты, чтобы управиться с ужином. Уже скребут солдатские ложки по дну, а успевшие раньше других опорожнить свои котелки снимают с костра kloкочущий чай.

— Держите, ваше высокоблагородие, кружку, сейчас я вам чайку плесну, — предлагает Кузьма.

— Нет, спасибо, — отказывается Дьяченко, — чаевничать я пойду во вторую роту.

— Али у них, ваше высокоблагородие, сухари пшеничные? Такие же ржаные.

— У них они больше заплесневели, — смеется Дьяченко.

Ему нравится, что солдаты шутят, не жалуются на сухари, действительно успевшие покрыться плесенью, на трудную работу. Первую часть пути прошли они хорошо, без серьезных задержек и аварий, никто не заболел. «Ожил батальон», — радуется капитан, направляясь к кострам второй роты.

Шагая по вытопанной за эти дни траве, он вспоминает о ротах, идущих во втором эшелоне: «Как там у них дела? Пока вестей от них нет». Потом мысли капитана переносятся в Иркутск, где остался в доме у купца Захарова его сын Владимир.

«Подожди-ка, — вдруг останавливается капитан. — Ведь ровно через месяц, ну да, 6 июля Володьке исполняется четырнадцать лет». Капитан останавливается, а потом идет не к костру, а к пристани. Там он садится на бревно и смотрит на черную амурскую воду.

Когда-то, почти таким же четырнадцатилетним «парубком», как сейчас его сын, Яков Дьяченко покидал родной хутор. Отец упорно называл хутор именем, хотя на все «имение» было восемь душ взрослых крепостных — работников, остальные едоки.

Остались за пологим холмом черешневые сады, только набравшие цвет, дворовые постройки, а вот и колодезный журавель скрылся, будто наклонил его кто-то за водой, да и не поднял. Катил прочь от дома двуконная бричка. Восседал на козлах, лениво пошевеливая вожжами, дядька Осип — кучер, портной, сапожник и шорник сразу. Дорога предстояла дальняя, и коней он не торопил. Перестукивали перекованными специально в дорогу подковами лошади, «тень-брень, тень-брень» — названивал колокольчик. А отец, нахохлившись, сидел рядом с Яшей и поучал его, как служить царю-батюшке, чтобы достичь и чинов воинских, и доброе имя Дьяченко не опозорить. Вез он сына в Полтаву определять унтер-офицером в Тираспольский конноегерский полк. А Яша, хотя и готовился к этой поездке, мыслями был не в полку, а в оставленном хуторе, со своими приятелями дворовыми мальчишками. Самое время подошло гонять по полям — весна! За дорогу у мальчишки не раз наворачивались на глаза слезы, и до самого полка теплилась надежда, что, может быть, отец передумает или по какой-то причине его не возьмут на службу. Повернет тогда Осип лошадей, и уже весело зазвучит колокольчик под дугой у коренника.

Но через день, когда они прибыли в полк, опустился полосатый шлагбаум перед самыми мордами лошадей, и остался за ним дядька Осип с бричкой. А потом и отец неловко притиснул Якова к сухой груди, да и ушел. И покатила повозка уже без Яши в обратную дорогу.

Пробегали мимо солдаты, проходили офицеры, а Яков стоял в своей гражданской одежде: в сюртуке, сшитом Осипом, сапогах, которые стачал тоже он, — и чувствовал, как что-то обрывается у него в груди, хоть беги вслед за повозкой.

Вспомнил все это капитан Дьяченко, наверно, потому, что представилась ему в эту минуту угловатая фигура Володьки на крыльце чужого дома. Когда уезжал Яков Васильевич из Иркутска в Верхнеудинск, надеялся повидать сына не позже, чем через год, а вот прошло уже три года, а он никак не может выбраться из Забайкалья. Наоборот, уходит все дальше на восток. Надо что-то предпринять, а что? Перевезти его в Шилкинский завод, там они были бы вместе хотя бы зимой — от сплава до сплава. Но в Иркутске сын учится в гимназии, а в Шилкинском заводе будет этого лишен. И чем он займется летом, пока отец в походе, с кем его оставить? В Иркутске, в семье купца Захарова сын прижился, там за ним смотрит хозяйка и в письмах просит не беспокоиться. И все-таки на что-то надо решиться.

В лагере 14-го батальона заиграла труба, призывая к вечернему построению. Раздались команды и в ротах 13-го батальона, а капитан все сидел...

Вот так, со звука рожков, барабанной дробы, строя и солдатской науки, начиналась когда-то самостоятельная жизнь четырнадцатилетнего Якова Дьяченко. Через год полк конных егерей был расформирован, и Яков попал в драгуны, в Финляндский полк. Здесь, на четвертом году службы, он становится корнетом, чем и порадовал в письме отца. Да и сам был безмерно горд, потому что уже свыкся с военной службой, и решил, что навсегда связал с ней свою жизнь.

«Вот видишь, Яков, — писал ему отец, — за богом молитва, за царем служба — не пропадут».

А служба шла. Смотры, ученья, конные марши. Из драгунов, уже поручиком, Яков переводится в уланы, в недавно сформированный Новомиргородский полк. Это было совсем преотлично. Новая красивая форма, пика с флюгером да сверкающая сабля — что еще нужно двадцатилетнему офицеру. Уланы не пехота — у них своя честь.

Между тем здоровье отца потихоньку сдавало, и то он, ТО матушка писали, что хозяйство без мужского глаза скудеет. Но если отец требовал: служи, пока я жив, то матушка намекала: «Может, хватит, Яшенька, казенный хлебушко есть. Может, приедешь насовсем».

И вот на рождество, под 1841 год, пришло сразу два письма: одно от отца, другое — от матери. На этот раз оба писали, что пора ему уходить в отставку. Отец бодрился и сообщал, что подыскал ему невесту «добрую и богатую». Мать про невесту не писала, а жаловалась, что «батюшка твой совсем плох — все больше лежит, и надо тебе, Яшенька, приучаться к хозяйству».

Получив эти письма, Яков после нового года начал хлопотать об отставке. И в мае на его просьбу пришел приказ: «По прошению уволен со службы за болезнью родителей с чином штабс-ротмистра».

Снова Яков оказался в Полтаве, где ожидал его поседевший дядька Осип, с той самой подлатанной бричкой, на которой он увозил Яшу из дому девять лет назад. И лошади показались Якову теми же, но это были другие, правда, как и те — деревенские работяги, которых запрягали и в плуг, и на выезд в бричку. Их, конечно, нельзя было сравнить с ухоженными уланскими конями.

— Барин, Яков Васильевич! Ну и ладный ты стал! — воскликнул удивленно Осип. — Это сколько такое сукно стоит? — говорил он, обходя вокруг молодого офицера и осторожно касаясь пальцем его уланского мундира. — Вот обрадуются родители! Вот обрадуются!

Ехал двадцатитрехлетний штабс-ротмистр домой, будто возвращался в детство. Казалось ему, что и мальчики, с которыми он играл на косогоре в бабки и лазил по оврагам, остались до сих пор такими же, как и были, сорванцами. И мать, и отца представлял он глазами несовершеннолетнего подростка. А может, виноват колокольчик на дуге коренника, вызванивавший, как девять лет назад, свое «тень-брень».

После долгой езды, когда уже не о чем было говорить с Осипом, после остановок — то требовалось попоить лошадей, то дать им овса, после беспокойной ночевки на постоялом дворе показался наконец холм, за которым тонул в яблоневых и черешневых садах родной хутор. Весь склон холма, обращенный к дороге, был усеян золотыми одуванчиками. Лошади убавили шаг, и стало слышно, как довольно гудят над этим цветочным ковром тяжелые от обильного взятка пчелы. А по склону к повозке, раскинув в стороны руки, словно собираясь взлететь, бежала веселая, как этот солнечный день, девушка. Волосы ее, с распущенными темными косами, окружал венок одуванчиков.

Вся она, в белой расшитой узорами кофте, развевавшейся от быстрого бега длинной юбке, с ниткой голубеньких стеклянных бус на груди, готовая вот-вот оторваться от земли и взлететь над дорогой, показалась Якову сказочной хозяйкой медового золотисто-зеленого холма.

— Тату! — крикнула девушка Осипу, подбегая к повозке. — Привезли?!

Увидев затянутого в мундир молодого офицера, она смутилась и закрылась широким

белым рукавом.

— Ах, Галка, — чуть придержав бег лошадей, стараясь говорить строго, произнес Осип. — Вот я тебя вожжами!

Бричка прокатила мимо девушки, и Яков услышал позади себя ее звонкий смех. Он не удержался, обернулся и увидел стоящую на обочине дороги Галю, которая, все еще улыбаясь, смотрела вслед убегающей повозке.

— Дочка моя, — с нескрываемой гордостью в голосе объяснил Осип и дернул вожжами.

Лошади резво побежали к уже недалекому хутору, и колокольчик под дугой, под стать этой встрече, этому весеннему дню, зазвенел не свое обычное «тень-брень», а что-то веселое, мелодичное, словно в его меди было серебро, а не простое олово.

Ах, Галка, Галка! Что ж ты наделала, Галка, Галя! Приезд Якова домой словно осветился встречей с ней. Все в родном, крытом очеретом, присевшем от старости доме показалось ему радостным. И холодный квас из глиняной запотевшей крынки, которым его попотчевали с дороги, забытые плетеные стулья, и такое же плетеное кресло отца, и печь, разрисованная синими цветами, — все его радовало, вместе с разговорами матери, говорком закипавшего самовара. Даже мать показалась ему не так уж сильно постаревшей, даже болезнь отца не показалась отставному офицеру такой тяжелой, какой была на самом деле.

А Галя, тут как тут, появилась в доме в том же венке из одуванчиков. Она, не пряча улыбки, носила медовое варенье, всякие соленья из погреба и понимала мать с полуслова. И по тому, как мать ей что-нибудь говорила, Яков видел, что дочь кучера Осипа нравится и матери.

В тот день, уже к вечеру, мать повела Якова осматривать хозяйство: сначала дворовые постройки, амбар, конюшню, потом сад с пасекой и омшаником. И тут им все время попадалась Галя, или же слышался ее голос, который Яков узнавал среди всех других.

На следующий день отец попросил вынести кресло в сад и нетвердым шагом, опираясь на палку, сам добрался до него. И там, в тени под яблоней, он сообщил Якову, что нашел ему невесту — дочь соседнего помещика. «Грамотная, — сказал он, тяжело дыша, — играет на клавесине, и приданое за ней большое».

Тогда Яков отнесся к словам отца с любопытством: интересно, какая она, эта еще не виданная им невеста?.

— Обживешься, я чуток поправлюсь и поедем знакомиться, — добавил отец.

И на это Яков согласился, было даже интересно посмотреть, что за девицу готовят ему в жены.

Подошла и мать. Пряча руки за оборки фартука, послушала и, убедившись, что разговор о самом главном, о чем они немало переговорили с хозяином, и уже была договоренность с соседом помещиком, прошел хорошо, предложила:

— Ты, Яшенька, пока, до обеда прошел бы до мельницы, посмотрел. Мы там новый жернов поставили. А на пруду сейчас диво как хорошо. Помнишь наш пруд-то? Да должен помнить. Ты там мальцом раков ловил...

— Пусть скажет Осипу да проедет на бричке, — распорядился отец.

— А зачем на бричке-то, колесной дорогой по пыли, — возразила мать. — Тут через сад да по тропинке, а там через греблю — рукой подать.

— И то верно, — согласился отец, — прогуляется — дело молодое. А дорогу-то найдешь?

— Найдет, — вместо Якова, присматриваясь к сыну, ответила мать. — Я с ним уже Галю пошлю, — и закричала — Галя! Зайди-ка, девица, в сад!

Галя появилась сразу же, будто ждала, что ее окликнут.

— Вот проведешь молодого барина на мельницу. Да быстро не беги, он на службе набегался.

Говорила мать строго, но по ее глазам Яков понял, что она, как и он, любит дочь Осипа. Румяная смуглянка, с нежным овалом лица, она, наверно, еще не знала, что

привлекает и радует взгляды, и держала себя с той естественной непосредственностью, которая так нравится взрослому человеку в ребенке.

— Семнадцать годков Гале-то, — будто ее здесь не было, говорила мать. — Девушка уж. Расцвела, как та вишня. Балую я ее, на поле редко посылаю. Жалко красоту-то такую под солнышко выставить. Ну, идите, идите...

Заросшая подорожником тропинка тянулась через сад, огибая яблони, нырнула в густую духоту млевшей от цвета сирени и вышла к лазу через плетень.

Галя шагала впереди, не оборачиваясь, будто шла одна, только раз она подтянула к себе всю в цвету ветку яблони и, то ли случайно, то ли нарочно, отпустила ее так, что та осыпала белыми лепестками Якова. Вскочив на лаз через плетень, Галя наконец оглянулась и неожиданно спросила:

— Барин, а зачем вы сняли мундир?

— Что? — удивился Яков. — Жарко в нем.

— Больно он вам к лицу, — серьезно сказала девушка.

Яков засмеялся, засмеялась и она.

За плетнем начиналось гречишное поле, заполненное пчелиным гудом и жаркой истомой безоблачного дня. И опять Галя легко шла впереди, словно не обращая внимания на спутника. То она вдруг нагибалась, чтобы провести ладонью по розовым соцветиям гречихи, то что-то без слов напевала.

— Галя! — окликнул ее Яков. — У тебя, наверно, уже жених есть?

Галя прыснула, но, обернувшись, остановилась и сказала уже без улыбки:

— Нету, какие у нас в имении женихи? Это вас, барин, невеста ждет, не дождется.

— А ты видела ее?

— Как же, видела...

— Ну, какова она?

— Богатая, значит, хорошая.

— Красивая хоть? На тебя похожа?

— Для вас, бар, — красивая. А на меня что ей походить, я сама по себе.

— Ух ты, Галя, Галя, Галочка! — сказал Яков, глядя девушке в глаза.

Галя отвела взгляд, потупилась и попросила:

— Вы меня, барин, так не называйте.

— Как?

— Галочкой.

— Отчего же?

— Больно любви вы мне, — сказала она, не поднимая глаз. — И плохо мне стало, когда вы так сказали.

— Ну и ты меня барином не зови, а то зарядила: «барин» да «барин».

Галя подняла на него серьезные глаза:

— А как же мне вас звать, если вы барин?

— Зови Яковым...

Галя заулыбалась и сразу возразила:

— Нельзя так. Что ваша матушка-то скажет? Я лучше буду вас звать Яковым Васильевичем.

Ах, Галя-Галочка. Она шла, словно пританцовывая по полю, а на гребле не удержалась и побежала, расставив руки. И опять, как и при первой встрече с ней, Якову показалось, что сейчас она сделает какое-то неуловимое движение и взлетит. Он даже остановился, будто подстерегая это мгновение и любуясь ею. А Галя, добежав до конца гребли, крикнула:

— Что же вы? Скорее!

Потом они сидели на берегу пруда, недалеко от заколоченной до поры водяной мельницы, на ковре из одуванчиков. Галя, опять напевая без слов, плела венок, она примеряла его, нагибаясь к неподвижной воде, чтобы рассмотреть себя в цветочной короне. Закончив венок, она неловко надела его на голову Якову. Он стал поправлять его, сдвинул

чуть вперед. Гале это не понравилось, она пододвинула веночек по-своему. Руки их встретились и задержались на какое-то малое время, которое обоим казалось головокружительно большим, как сладкое забытие без бега времени.

— Пойдемте, Яков Васильевич, — помедлив и опустив руки, тихо, слишком тихо сказала Галя.

Яков без слов поднялся и пошел вслед за девушкой.

— Понравилась тебе наша Галя? — спросила за обедом мать.

Яков поднял на нее глаза, собираясь сказать что-нибудь шутливое, чтобы скрыть смущение от неожиданного вопроса, но мать опередила его:

— И хорошо, что понравилась, — пододвигая сыну солонку, сказала она. — Вот и не будет тебе скучно после городов-то да игр воинских. А то когда мы тебе еще невесту сосватаем да свадьбу сыграем. Это только осенью, к покрову, может.

С июнем, рано в том году, накатился зной. Поднимаясь по утрам, солнце быстро сушило росу, а с ней выгоняло из всех углов двора затаившуюся в тени прохладу. Уже к полудню дрожало над полями марево, резко пах укроп, и тоненькая еще морковь, будто боясь обжечься, прятала под узорные листья свои румяные плечики. Даже после заката душно было в доме.

— А ты ложись-ка, Яшенька, на веранде, — посоветовала мать.

Яков обрадовался. Веранда выходила своим навесом в сад, и уснуть можно будет на чистом воздухе, крепко, как спалось после походов на бивуаке, где-нибудь над рекой.

Вечером мать сказала Гале:

— Постелешь молодому барину на веранде. Да не сейчас, — остановила она девушку, когда та побежала выполнять приказание, — вот стемнеет, тогда. Что зря постели-то пылиться.

Спать на хуторе укладывались с первой темнотой, и Яков не мог после службы привыкнуть к этому издавна заведенному порядку. Он, когда все голоса и шумы уже стихали, подолгу сидел на крыльце или стоял, облокотившись на калитку, без особых дум, просто так слушая случайные ночные звуки, и ему порой казалось, что он чего-то ждет.

Иногда у крыльца неслышно появлялась Галя. Останавливалась, прислонившись к перилам, и молчала, пока он не заговаривал сам. Она привыкла звать его не барином, а Яковом Васильевичем.

В ту памятную ночь, когда дом и двор затихли, Яков сидел на ступеньке. С темнотой пришла наконец свежесть. Отраднo было чувствовать, как за расстегнутый ворот проникает прохлада, разглядывать усыпанное искрами звезд небо. Утром они собрались с матерью в луга посмотреть травы. Скоро покос. Мать обещала разбудить на рассвете.

По крылечку сбежала Галя, пронесла через двор на веранду холстяную дорожку.

— Сейчас принесу перину, — сказала она, чтобы он не подумал, что будет спать на этой холстине.

На веранде девушка задержалась, и Яков представил себе, как она, склонившись, расстилает дорожку, распрямляет складки. Но вот Галя пробежала, чуть не задев Якова, в дом и быстро вернулась оттуда, обхватив руками топорщившуюся в стороны пышную перину.

— Давай помогу, — встал Яков.

— Ну уж, я сама.

Но Яков перехватил Галину ношу, она опустила руки и молча пошла за ним.

— Вот сюда, сюда, — показывала она на веранде место, где белела расстеленная в два ряда дорожка.

Яков встал на колени, на выскобленные с вечера половицы веранды, и выпустил перину. Галя опустилась рядом, и они вдвоем принялись ее расстилать. Руки их несколько раз встречались, и от каждого такого прикосновения сердце Якова начинало биться упругими толчками. Он даже нарочно стал искать в темноте ее руку, но девушка встала и, волнуясь, глухо сказала:

— Побегу за подушкой.

Яков ждал Галю у ступенек, ведущих на веранду. Вот слышались ее шаги на крылечке дома, скрипнула калитка, вот Галя, увидев его, медленно пошла к веранде. Яков обнял девушку, когда она поравнялась с ним, и горячо стал осыпать поцелуями ее щеки, лоб, волосы, губы. Подушка свалилась им под ноги, тело девушки безвольно прикикло к груди Якова, и он чувствовал, что если разомкнет сейчас руки, то она упадет.

— Не надо, Яша... Васильевич. Не надо, Яшенька, — шепотом твердила она.

Он посадил девушку на ступеньку, поднял и положил на перила подушку. Над хутором и садом звенела тишина, только посвистывала где-то за садом, на гречишном поле птица. Галя сидела, закрыв ладонями лицо, и Яков почувствовал, что она плачет.

— Ну что ты, Галочка? — осторожно касаясь ее плеча, произнес он.

— Ой, барин, страшно мне, барин! — сказала Галя и, вскочив, прижав к щекам ладони, побежала во двор.

Он не пошел за ней, хотя вскочил и сделал шаг, а еще долго сидел на ступеньках. Мысли его перескакивали с проводов в полку, когда охмелевшие гусары пели ему тут же сочиненную «прощальную», к скату холма, на котором он увидел впервые дочь Осипа, потом остужающим холодком пришла мысль: «Я не могу на ней жениться. Она же крепостная». Но Яков опять вспомнил ее лицо с закрытыми глазами, когда он его целовал.

Яков, прикусив губы, встал, пытаясь успокоиться, и опять перед ним встало ее лицо, уже влажное от слез, и он пожалел, что не поцеловал ее, плачущую. Тогда он зашагал по тропинке через сад, выставив локтем вперед руку, чтобы не наткнуться на ветку, и так шел в темноте мимо яблонь, через заросли сирени, пока не вышел к лазу через плетень. За ржаным полем, в той стороне, где лежал пруд, белела полоска зыбкого тумана. Яков быстро дошел до гребли, постоял там, слушая еле уловимый шорох камыша на пруду, и медленно пошел обратно.

«Все, — решил он. — Галя не будет для меня забавой, надо скорее ехать знакомиться с невестой». Эта мысль успокоила его, и он, насвистывая, не торопясь, пошел домой.

У лаза через плетень в саду кто-то стоял. «Может, матушке не спится», — подумал он, не прибавляя шаг. Но пройдя еще немного, он вдруг понял, что это Галя. И все его благоразумие отлетело прочь. Он сначала ускорил шаг, потом побежал. У самого лаза Яков остановился. Галя, держась одной рукой за плетень, откинулась в сторону, уступая ему дорогу. Он перепрыгнул через плетень и покрыл ее лицо, солоноватое от высохших слез, поцелуями. Девушка обвила руками его шею и шептала:

— Любый мой, любый...

Он поднял ее на руки и закружил, а потом понес, крепко прижимая к себе, чувствуя грудью, как пойманным перепелом бьется ее сердце.

Пела труба в лагере 14-го батальона, призывая ко сну. Яков Васильевич встал, зябко повел плечами и пошел к своей палатке. Надоедливо звенели комары. Он почувствовал, как горит лицо и саднят руки, искусанные ими, и с иронией над собой подумал, что сигнальщик вовремя прервал его забытие, спас от комаров, которых капитан, задумавшись, не замечал, и остановил воспоминания на самом светлом. Да, на самом светлом. Дальше было и радостное опьянение любви, и тяжелое ее похмелье. Зачем вспоминать, зачем рассматривать зарубцевавшиеся раны.

Володя, сын Гали, его невенчанной жены, сейчас в Иркутске. Галя на хуторском погосте.

Сколько бился он, словно об утес, чтобы узаконить свой брак... Нет, пожалуй, не об утес, а о прочно сложенную стену, потому что утес — создание природы, а стена, как и законы, — дело рук человека, который часто сам перед собой воздвигает стены, а потом сам же о них бьется. «Ты помещик, — до самой смерти твердила мать. — Пусть у нас маленькое имение, но мы дворяне. И ты не надругаешься над памятью отца, не женишься на нашей крепостной». Сейчас нет уже ни матери, ни отца, ни Гали. Один Володька.

После всех потерь и разочарований, в марте 1852 года, отставной офицер Дьяченко вступил «вновь на службу поручиком с определением в Сибирский линейный номер тринадцатый батальон».

8

В Усть-Зейскую станицу, проводив графа Путятина, вернулся генерал-губернатор.

Вечером в маленькой палатке заведующего путевой канцелярией Шишмарева собрались офицеры. Интересно было послушать очевидцев проводов и узнать, что это за Айгунь.

— Из китайского трибунала внешних сношений никаких вестей, — рассказывал Шишмарев. — По-видимому, они согласились с письмом Николая Николаевича, отправленным еще в сентябре пятьдесят пятого года с китайскими уполномоченными, приезжавшими для переговоров в Мариинск.

— А что было в том письме? — спросил командир 14-го батальона майор Языков.

Спросил он не из простого любопытства. 14-й батальон отныне поселялся на устье Зеи, и уже кому-кому, а командиру батальона надо было знать, что мы предлагаем своим соседям за Амуром и что они отвечают. Шишмарев понимал это и ответил как можно подробнее:

— Николай Николаевич писал приближенному к богдыхану сановнику, князю И, что Амур представляет самую естественную и бесспорную границу между двумя государствами. И что только разграничение по рекам устранил всякий повод к недоразумениям между Россией и Китаем как в настоящее время, так и в будущем.

— Ясно, что они считают этот вопрос решенным, — заговорил полковник Моллер, ездивший в сопровождении Шишмарева в Айгунь. — Они и в этом году сразу согласились на следование в Николаевск отряда войск, каравана грузов и катера со свитой посланника. Между прочим, ни одного возражения не было и по поводу выставленных нами в минувшем году продовольственных постов. Какие-то указания у айгуньских властей, наверное, есть, но они молчат. Ведь Николай Николаевич писал не только князю И, но и трибуналу внешних сношений о том, что он для защиты восточного побережья Сахалина и Камчатки от посягательств англичан должен учредить летнее и зимнее сообщение по всему Амуру. Все это подтверждал в своем листе трибуналу и наш сенат. Если бы китайцы возражали, то за два года могли бы ответить.

— Ну, а Айгунь, что Айгунь? Как там все было? — поинтересовался Венюков.

— Что Айгунь, — улыбнулся Шишмарев, — стоят фанзы, похожие на те, что стоят напротив нас в деревушке Сахалян, только числом поболее. А как все было, вон Роман видел со стороны. Расскажи, казак, господам офицерам.

Молодой казак уже привык держаться свободно среди свиты генерала и бойко стал рассказывать...

Катера генерал-губернатора и графа Путятина стали на якорь у самого Айгуни. Плоты солдат, сплавлявшихся в низовья Амура, пристали к правому берегу выше Айгуни, баржи с грузами — к левому берегу. Муравьев в казачьем мундире мерил быстрыми шагами палубу своего катера. Он нетерпеливо ждал возвращения Моллера и Шишмарева. А к берегу, к месту стоянки катеров, сбегались китайцы.

Через Кяхту посланника Путятина китайцы не пустили, ссылаясь на то, что нет разрешения от высшего правительства. Придет ли такое разрешение в Айгунь? Если нет, то графу придется плыть по Амуру, а потом морем в Китай. Будут в этом году китайцы возражать против следования русских судов дальше по Амуру или нет? Если не будут, значит, они молчаливо согласились с предложениями о разграничении и свободном плавании. Обо всем этом думал Муравьев, вглядываясь в берег.

Но вот показался наконец полковник Моллер, за ним шел Шишмарев. Сопровождавшие их солдаты отодвинули толпу. Китайцы были настроены доброжелательно, но их одолевало

любопытство. К парадному мундиру Моллера, украшенному золотыми эполетами, аксельбантами и орденами, тянулись осторожно руки. Те, кто не мог коснуться полковника, трогали ремни и рубахи солдат.

Поднявшись по трапу, Моллер доложил, что никаких писем о поездке через Маньчжурию в Китай графа Путятина в Айгунь не приходило. Но у китайцев нет и возражений против очередного сплава русских судов. Тотчас на генеральском катере и на катере графа поднялись адмиральские флаги. Это был сигнал к отплытию. Стали сниматься с якорей баржи и плоты. Муравьев спустился в лодку и отправился на катер Путятина. Как только он взошел на борт, с носа графского катера выстрелила холостым зарядом маленькая медная пушка. Ей вторила такая же на генеральском катере.

Никто на русских судах не ожидал, что от обычного прощального салюта поднимется такой переполох. Китайцы бросились с берега на яр, в поселение. Бежали солдаты, подхватив руками длинные синие халаты, бежали торговцы. Когда дым от стрельбы рассеялся, на берегу осталось всего несколько человек.

Муравьев провожал катер посланника версты четыре. Возвращаясь, генеральский катер к вечеру вновь оказался у Айгуни. И опять на берегу собралась группа китайцев, словно это не они разбежались во время салюта. Муравьев приказал Шишмареву бросать на берег медные и серебряные монеты. Первыми за ними кинулись мальчишки, потом взрослые, не удержались и некоторые чиновники. Китайцы не отставали от катера все время, пока он двигался мимо города. За Айгунем катер повернул к нашему левому берегу.

— А ты, Роман, записал все, что было сегодня? — спросил Шишмарев.

— Записал, — ответил Богданов, — я все записываю.

— Записывай, казак, может, еще книжку напишешь, а? — снисходительно пошутил Шишмарев.

Офицеры посмеялись, и никто из них не мог, конечно, предположить, что через много лет, уже стариком, Роман Богданов все-таки напечатает свои «Воспоминания амурского казака о прошлом», где опишет событие и этого дня. Не знали они также, что в толпе китайцев, на айгунском берегу был человек, который за всем внимательно наблюдал, считал русские суда, солдат и тоже все записывал на узких полосках бумаги. Он не побежал, когда началась стрельба из пушек, а сел, зажав уши, смотрел и запоминал. Это был китайский унтер-офицер У-бо.

Через несколько дней У-бо приехал на лодке из деревушки Сахальян да так и прижился в русском лагере на устье Зеи, изредка только переправляясь к себе на правый берег. Солдаты прозвали его Убошкой, также стали окликать его и офицеры. Скоро все поняли, что У-бо — китайский соглядатай, но относились к его появлению снисходительно.

У-бо свободно ходил по лагерю, лазил в местах построек, гладил, щелкая языком, пушки на установленной батарее. Когда в лагере играли зорю, а потом одно из орудий делало холостой выстрел, У-бо в притворном ужасе зажимал уши и говорил, что при каждом выстреле жители Сахальяна разбегаются, и лучше было бы, если бы русские совсем не стреляли. «От ваших выстрелов один почтенный человек в Сахальяне даже оглох, правда, пока на одно ухо. Но если вы будете продолжать стрелять, как бы он не оглох и на второе».

Китайский унтер-офицер неплохо объяснялся на русском языке и говорил, что кроме русского и китайского он хорошо знает маньчжурский. К русским солдатам он относился пренебрежительно, зато перед офицерами заискивал, улыбка при разговоре словно прилипала к его лицу.

— Что ты записываешь, Убошка? — спрашивал кто-нибудь из офицеров, видя нередко, как китаец, присев где-нибудь, заполнял столбиками иероглифов полоски бумаги.

— Я думаю, — говорил он, показывая пальцем повыше лба, — а это мысли... — и прятал записки в широкий рукав.

Венюков как-то сказал генерал-губернатору:

— Это явный шпион! Может быть, его не стоит пускать в лагерь?

— Ни в коем случае, — возразил генерал. — Пусть ходит и смотрит. Я распорядился, чтобы Шишмарев давал ему иногда мелкие подарки.

Подарки У-бо брал с охотой, особенно ему нравились небольшие слитки серебра с клеймом. Получив очередной подарок, он проворно прятал его в глубокий карман, а после этого проводил ладонью вокруг шеи, что должно было обозначать, что за дружбу с русскими ему угрожает петля.

Как-то он сообщил Венюкову, что скоро на пост прибудет посольство от айгуньского амбана, чтобы поздравить цзянь-цзюня Муруфу, так китайцы величали генерал-губернатора Муравьева, с благополучным прибытием. Генерал велел передать, что будет рад послам.

В один из июньских дней со стороны Айгуня показались две большие джонки — плыли китайское посольство и охрана. На берегу гостей встретил полковник Моллер с почетным караулом из взвода солдат. Послов оказалось трое. Моллер повел их к генеральской палатке. Там против входа у полотняной занавески, делившей палатку на приемную и спальню, стоял коротенький, обитый ситцем, походный диванчик. На нем в ожидании гостей уже сидел генерал в парадном одеянии. Слева от него, на складных стульях расположились Шишмарев, Венюков и начальник казачьего поста есаул Травин. Свой гнев по отношению к нему генерал сменил на милость и обращался к пожилому казаку теперь только по имени и отчеству.

Но вот в палатку вошли китайские представители: угрюмый и молчаливый гусайда — полковник, офицер чином поменьше, как доложил перед этим У-бо, — звание его соответствовало майорскому, третий китайский офицер был секретарем.

При входе послов Муравьев встал, приветствовал их и усадил на стулья по правую руку от себя. Проворный Убошка стал за спиной майора, готовясь переводить. Он, конечно, был осведомлен, что гусайда прислан для придания большего веса делегации, а главный разговор поведет майор. Майор покашлял в ладонь и заявил, что они прибыли, чтобы передать чувства самой сердечной дружбы амбана к цзянь-цзюню Муруфу. Он даже прижал обе руки к сердцу, чтобы подчеркнуть, как велика эта сердечность.

Подождав, пока У-бо переведет, майор продолжал:

— Милостивый амбань, желая засвидетельствовать вещественно свое глубокое уважение к русскому цзянь-цзюню, просит оказать ему честь и принять скромные, почти ничтожные подарки. Подарки эти не богаты, но это лишь потому, что сам амбань недавно в этой высокой должности и не успел еще разжиться.

После этих слов майор хлопнул в ладони, и два солдата внесли на шесте в палатку и положили к ногам генерал-губернатора тихо повизгивающую, связанную черную свинью. Чтобы своим визгом свинья не нарушила торжественности момента, на рыло ее был надет намордник. Представители русской стороны, несмотря на необычность подарка и повизгивание свиньи, сохраняли на лицах приличествующую случаю серьезность. Только Роман, стоявший у входа, прыснул и, зажав рот, убежал в свою палатку, чтобы там вволю посмеяться. Дабы не было кривотолков, У-бо, со своей стороны, добавил, что черная свинья считается в Китае очень почетным подарком.

Подождав немного, пока русские смогли в достаточной степени оценить подарок и полюбоваться им, майор опять хлопнул в ладоши. На этот раз солдаты внесли ящики со сладостями, приготовленными из мака, и мешок рису.

— Это, — объяснил майор, — скромный, очень скромный подарок от самих послов.

На этом эффектным жесте майор закончил свое слово, в продолжение которого гусайда хранил молчание, почесывая длинной костяной палочкой широкую спину. Муравьев кивнул Шишмареву, тот подал знак казакам, стоящим у входа, и они внесли и поставили перед генералом столик, а на него — поднос с бутылкой красного вина, изюмом, миндальными орешками, конфетами, печеньем и винными ягодами. Началось угощение. Когда выпили по стопочке вина и гости попробовали европейских сластей, гусайда что-то буркнул майору. Тот встрепенулся и сказал, что амбань просит запретить майору Языкову стрелять из пушек по вечерам, когда в лагере играют зорю.

Это была уже работа У-бо, он успел сообщить в Айгунь фамилию командира 14-го

батальона.

— Лучше бы даже вовсе задвинуть ваши пушки в сарай, — продолжал майор. — Ведь в Айгуне тоже есть тридцать орудий, однако мы не показываем их вам, чтобы не пугать вас напрасно.

В Айгуне стояла всего одна мортирка, об этом русские офицеры знали, но они сохраняли на лицах серьезность, а заглядывавшему в палатку Роману Шишмарев незаметно погрозил пальцем, чтобы он не нарушил торжественный разговор.

Беседа проходила чинно. Шишмарев наполнял стопки, генерал потчевал гостей. Но вот недалекий гусайда полез в карман расшитой на груди курмы, достал кисет, набил трубочку и закурил. Муравьев тотчас же приказал подать четыре трубки и табак. Пришлось Венюкову и Травину, до этого не курившим, для поддержания русского престижа тоже закурить вместе с генералом и Шишмаревым.

Часа через полтора вино было выпито, блюдо с угощением опустело, и казаки принесли подарки для посольства. Молчаливый гусайда и оратор майор получили золотые часы, а их секретарь офицер — серебряные. Каждому вручили также по отрезу сукна. Гусайда тут же послушал, как его часы тикают, и остался доволен, на его угрюмом лице появилась почти детская улыбка. Он положил часы в карман, но через некоторое время снова вынул их и послушал. Часы шли, гусайда успокоился и вновь спрятал их.

В дар айгуньскому амбаню генерал послал кубок из позолоченного серебра. Когда наделяли подарками китайских унтер-офицеров — бошек, к ним пристроился и У-бо. Хотя он не входил в состав посольства, но и он получил вместе со всеми отрез и две плитки серебра. Все это сразу исчезло в его бездонном кармане.

Но вот наделили плитками серебра и солдат, и посольство направилось к берегу.

— Ваше высокоблагородие, — лукаво улыбаясь, шепнул Роман капитану Дьяченко. — Посмотрите внимательно на их пики.

— А что такое? — не понял капитан.

— Да они деревянные, даже железных наконечников нет.

Дьяченко пригляделся. Действительно, охрана посольства была вооружена пиками, не имевшими металлических наконечников. Но зато концы пик были окрашены в серую краску, под железо.

— А У-бо хвалится, — продолжал Роман, — говорит, что превыше Дайцынского государства на всем свете никого нет.

Когда джонки отчалили, Шишмарев сказал генералу:

— Видите, Николай Николаевич, они ни словом не обмолвились о том, что мы строим в этом году станицы по Амуру. Значит, согласны с вашими письмами.

— По-видимому, так, но и об официальном трактате, который бы разграничил обе страны, они не сказали ни слова.

— Что же вы думаете предпринять?

— Пока ничего. Китайцам нужен договор так же, как и нам. Но меня сейчас беспокоят не китайцы, а наши отставшие баржи и паромы. Нет каравана барж с грузом, нет переселенцев...

Июнь окончился проливными дождями, но строительные работы на Усть-Зейском посту продолжались. Вытянулась улица будущей Усть-Зейской станицы, построенная линейцами 13-го батальона по проекту их капитана. Стянулся к Зее весь 14-й батальон и торопливо возводил для предстоящей зимовки свой лагерь.

Приезжали курьеры из Иркутска. Курьером прибыл и молодой инженер сотник Вячеслав Кукель. Его, как специалиста, генерал-губернатор сразу же, в день приезда, послал осматривать строящиеся казармы 14-го батальона. Многое Кукелю не нравилось, но он стеснялся делать замечания. На следующий день сотник инспектировал работу 13-го батальона.

— Боже мой! — воскликнул он, обращаясь к Дьяченко. — Вы уже построили восемнадцать домов, а я привез план, и там все не так. Вдруг все придется ломать!

— Не придется, — успокоил его Яков Васильевич.
— Как же, план начерчен и утвержден в Петербурге!
— А где он, этот план? Любопытно было бы взглянуть.
— Я передал в канцелярию, господину Шишмареву. Прошу вас, капитан, пойдемте, посмотрим.

В маленькой палатке, где жили Шишмарев и Венюков, как раз рассматривали отлично исполненный прямо-таки изящный план. Венюков водил по нему карандашом и объяснял Шишмареву:

— Это — дома колонистов. Здесь церковь. Смотрите-ка, больница. Канцелярия, сотенное правление. — Увидев Дьяченко, он сказал: — Взгляните, Яков Васильевич, какой отменный план нам прислали.

— А что я вам говорил! — обрадовался Кукель.

Капитан склонился над планом, минуту-другую рассматривал его и рассмеялся. Заулыбался и Венюков.

— Что вы смеетесь, господа! — удивился Кукель.

— Извините, сотник, но этот дурацкий чертеж можно повесить как картинку, но как план он не годен, — резко сказал Дьяченко.

— Почему же, я принимал участие...

— Видите ли, — стал объяснять Венюков, — здесь не тот рельеф. План не учитывает, что местность ограничивается Амуром и Зеей. Для вашего плана нужен ровный плац, вроде Семеновского, но не наша местность.

— Да порвите вы его, — сказал Дьяченко, торопясь на работу.

— Нет, нет, я доложу все-таки Николаю Николаевичу.

— Докладывайте, — отмахнулся Яков Васильевич и вышел.

План рвать не стали, но строительство продолжалось так, как начал его 13-й батальон.

Молодой Кукель после этого случая старался не замечать Дьяченко, а Венюков сказал ему:

— Ох, Яков Васильевич, не спорьте без нужды с приближенными самого генерал-губернатора. Старший брат нашего молодого инженера один из любимчиков Николая Николаевича, ему прочат должность начальника штаба.

Утром 7 июля вестовой вызвал Дьяченко к Муравьеву. «Неужели опять по тому плану», — подумал капитан.

У генеральской палатки собрались почти все офицеры, находившиеся на посту. Не успел капитан спросить кого-нибудь, зачем их вызвали, как Шишмарев пригласил всех в палатку.

Генерал нетерпеливо переступал с ноги на ногу, ожидая, когда офицеры войдут. Как только Шишмарев доложил, что все вызванные в сборе, Муравьев возбужденно стал говорить:

— Главная задача сплава сего года — переселение казаков. Они должны положить начало будущему Амурскому казачьему войску и землепашеству в сем крае. Переселение из-за нераспорядительности разных лиц задерживается, — сказав это, генерал глазами-буравчиками прошелся по лицам офицеров и более других задержал свой взгляд на пунцовом лице войскового старшины Хильковского. — Я решил принять срочные меры... Задача по строительству новых станиц с сего дня возлагается на линейные батальоны. Сейчас господин Шишмарев прочтет вам соответствующий приказ.

Начальник путевой канцелярии, страдавший дальновзоркостью, полез было в карман за очками, но не нашел их там и, отставив в сторону руку с приказом, чересчур громко для небольшого помещения палатки, начал читать:

«Приказ по первому отделению Амурской линии... 7 июля 1857 года, номер три. Усть-Зейский пост.

Войска Амурского отряда для пособия к устройству переселяющихся казаков

распределяются следующим образом: 13-й линейный батальон, под командою капитана Дьяченко, переходит на Кумарский пост и содействует в работах всей первой сотне Амурского конного полка...»

— Это значит, — перебил Шишмарев генерал, повернувшись к Дьяченко, — что вверенный вам 13-й батальон возводит все намеченные нами станицы — от станицы Толбузиной до Зейского поста. Продолжайте, Яков Парфентьевич.

«На Усть-Зейском посту остаются: артиллерия, две роты 14-го батальона, пешие казаки, оставшиеся от сплава, и мастеровые горного ведомства, под личным начальством заведующего первым отделением линии майора Языкова», — продолжал Шишмарев.

Офицеры застыли в ожидании — приказ определял их дальнейшую работу и судьбу. Кому-то придется ехать дальше, кому-то возвращаться, а кое-кому и зимовать на Амуре.

«На Бурее и до Хингана располагаются две другие роты под начальством войскового старшины Хильковского, на которого возложено устройство поселений третьей сотни Амурского конного полка».

Услышав это, Хильковский от неожиданности крикнул и насунился. В этом году он вообще не собирался выезжать на Амур. Свою задачу он видел в том, чтобы набрать необходимое количество переселенцев-казаков и отправить их. На Усть-Стрелочном карауле генерал пригласил его ехать с собой, и Хильковский, польщенный, не стал да и не смел отказываться. А теперь вот надо добираться до самого Хингана, смотреть там за строительством станиц. Ни продовольствия с собой, ни одежды войсковой старшина из дома в Цурухайтуе не брал. Но это было не самое главное. Главное же — вокруг Цурухайтуя паслись его огромные табуны без хозяйского присмотра. Хильковский скупал и продавал пушнину, и теперь, за месяцы, проведенные на Амуре, терял большой доход. Уплывали доходы и от «подарков», которые можно было получить, набирая переселенцев на будущий год.

«Войска, оставляемые в этом порядке для пособия казакам, должны не только помогать им в постройке зимнего их помещения, но и во всех хозяйственных их работах... — звучал голос Шишмарева. — 13-й линейный батальон должен сверх того рубить и сплавливать лес на Усть-Зейскую станицу...

Генерального штаба поручик Венюков с находящимся в его ведении топографом производит подробные съемки и осмотр местности для заселения казаками от Хинганского хребта до реки Зеи».

«Хорошо, — подумал Венюков, — увезу Жилейщикова с глаз генерал-губернатора».

Унтер-офицер Жилейщиков никак не мог из-за своего скромного звания пристроиться на какую-нибудь баржу и поэтому опоздал, и прибыл только что вместе с Кукелем. Узнав об этом, генерал приказал Венюкову разжаловать топографа в рядовые и высечь. Приказания Михаил Иванович не выполнил, он сразу отправил Жилейщикова на съемки и наказал не показываться на глаза губернатору. Ну, а теперь им предстояло уходить вниз по реке.

Далее приказ определял порядок возвращения осенью 13-го батальона в Шилкинский завод, а двух рот 14-го батальона на Усть-Зейский пост. До этого было еще далеко, и офицеры зашевелились, но, когда приказ был дочитан, генерал-губернатор вдруг сказал:

— Добавьте, Яков Парфентьевич, еще один пункт... — и стал диктовать: — Во всех местах поселения казаков от Хинганского хребта до Усть-Стрелочного караула должны быть заготовлены регулярными войсками по ста сажень дров для пароходов, и количество это должно пополняться по мере расходования ононого пароходами так, чтобы при открытии навигации будущего года находились налицо сполна, а на Усть-Зейском посту триста сажень, на самом берегу Амура. Все, приступайте к выполнению.

В тот же день солдаты 13-го батальона были сняты с работы и начали собираться на новое место.

— Ну что, Игнат, поедешь поближе к дому? — спрашивал Кузьма Сидоров.

— Поближе, да не домой, — вздыхал Игнат.

Возле солдат, загружавших баржи, вертелся Убошка.

— Совсем уезжаешь? — спрашивал он.

— Совсем, — отвечали солдаты.

Низа Амура или верха?

Кому куда...

— А капитана куда?

— Наш капитан с нами, вверх.

Довольный Убошка, подхватив полы халата, потрясывая косой, спешил к следующей барже.

Быстро погрузившись, первая и вторая роты 13-го батальона потянули бечевой свои баржи против течения. Две роты 14-го батальона на веслах поплыли вниз.

— Гляди ты, какой-то месяц прожили, а уже не хочется уходить, — говорил Кузьма, придерживая руль.

— Что поделаешь, на то мы и солдаты, — отозвался капитан Дьяченко. — Поступил приказ — поднимайся и иди.

— Так-то оно так, — согласился Сидоров, — да любопытно бы посмотреть, как тут дальше пойдет. Мы здесь немало понастроили.

Игнат с другими солдатами тянул бечеву и рассказывал:

— Тренькаю я вечером на балалайке, а подпоручик Прещепенко подошел и слушает. Я вскочил, а он говорит: «Сиди, играй, я тоже люблю музыку, гитару вон с собой вожу». Послушал еще, а потом говорит: «Хорошо играешь». Я тут осмелел, прошу: «Ваше благородие, не напишете мне домой письмо?» — «А ты что, неграмотный?» — «Да где ее учить было. Деревенька у нас небольшая, школы нет». — «Ну, говорит, подойди завтра — напишем».

— Написал? — интересуются солдаты.

— Написал, все слово в слово. Во грамотный! И поклоны...

— Глашеньке-то своей передал?

— Передал, да... А потом я говорю: «Ваше благородие, научили бы меня хоть читать да писать...» А он засмеялся и отвечает: «Эх, Тюменцев, Тюменцев, глупая ты голова. Да если собрать все пятаки, что мой родитель заплатил за мою грамоту, собрать да разложить в ряд. Отсюда до самого моря-океана хватит».

— И зачем тебе, Игнат, грамота? Раз в год письмо родителям написать!

— Не, я ведь Глаше хочу письмо когда-нибудь отправить. А другому человеку разве скажешь, что ей одной написать надо. Это ж только ей. Другому неудобно.

Хлюпал мокрый песок под ногами солдат, взлетали с посвистом кулички, когда баржа приближалась, и, покругившись, садились чуть подальше, а потом опять взлетали. Вели баржу за собой, словно лоцманы.

— Здесь-то берег ровный, идти спорко, а вот начнутся скалы, там держись: ни на веслах проехать — течение шибко сильное, ни бечевой пройти, — говорил кто-то из бывалых солдат. — Там, ребята, натерпимся.

— Ужин бы скорей! — мечтательно произносил кто-то позади Игната.

— Придумал, ужин ему. Еще и солнце не село, да и смены нам не было. Знай тяни!

— Да я тяну. А кишка, вон, кишке: «бур да бур».

Шли бечевой роты 13-го батальона туда, где две другие роты уже воздвигали новые станицы. Шли, разговаривали про самое земное. И не думали, что они первопроходцы и творят они великое дело: застраивают и обживают для России и для своих потомков край немеряных расстояний, землю зверей и птиц, тайги да гор, степей и рек. А скажи им это кто-нибудь сейчас, они бы не поняли, ответили:

— Ты не болтай, знай тяни!

«Колыбель Амура: Усть-Стрелочный пост, 24 июня 1857.

Здравствуйте, мои милые сестры, милая Мери, милые птенцы!»

Михаил Александрович обмакнул перо, но задумался, и густые чернила капелькой собрались на конце аккуратно обрезанного пера. Пошел уже пятый месяц, как он покинул свой дом в Селенгинске, приняв предложение только что созданной Амурской компании сплавить в Николаевск-на-Амуре сорок две баржи со ста пятьюдесятью тысячами пудов казенного груза. Оттуда он должен отправиться в Америку, чтобы заказать пароходы для компании, и уж потом через Европу и Петербург вернуться в Забайкалье.

Когда знакомые удивлялись этому решению, он запальчиво восклицал: «Да! Я очертя голову бросаюсь в это предприятие! После двадцатилетнего страдания в душных тюрьмах и безысходных тайгах Сибири отрадно наконец выглянуть из-за гробовых досок на свет божий, подышать вольным воздухом. А каков маршрут! Ингода, Шилка, потом Амуром на край Азии, Аян, Нью-Йорк, Англия, Франция, Кронштадт, Петербург. Этот маршрут достаточен, чтобы потрясти самую апатичную натуру!»

Была и другая причина, толкнувшая на дальнейшее путешествие человека, носившего клеймо государственного преступника, участника декабрьского восстания Михаила Бестужева. Он надеялся поправить материальное положение семьи. Жить приходилось за счет собственного хозяйства да «сидеек» — двухколесных безрессорных экипажей, которые изобрел и сам изготовлял на продажу блестяще образованный выпускник морского корпуса, морской, а потом гвардейский офицер и, наконец, ссыльный поселенец, один из пяти братьев Бестужевых. А семья на его плечах была не малая: три сестры, разделившие с ним и братом Николаем изгнание, жена Мария и двое малышей.

Медленно покачивалась большая лодка, покрытая войлоком, чуть слышно шуршал о войлок мелкий дождь, а Михаил Александрович, вслушиваясь в этот успокаивающий шум, представлял лукавые глазенки трехлетней Лены, видел ее, так похожую на жену — коренную сибирячку Марию Николаевну, и словно слышал, как Леночка требует называть ее не Леной, а Лолой. Так ее назвала как-то сестра Мария, и Лена, наверно, из-за звуков этого имени, сразу полюбила его. Вот лица Коли, годовалого малыша, сколько ни пытался Михаил Александрович, представить не мог. Коле исполнилось всего полгода, когда пришлось выезжать в Читу, готовить караван. И сейчас одни письма, кои он старается отправить, откуда только возможно, хоть ненадолго приближают его к семье. А из Селенгинска уже давно нет ни одной весточки.

Михаил Александрович склонился над бумагой и старательно вывел: «Уф! Наконец добрались мы по истоки заветной реки...»

Перо его задержалось над граненым флаконом чернил, и он вспомнил, как ежегодно в Читинском остроге, только чувствовалось приближение весны, когда сам воздух заставлял думать о воле, в казематах начинали обсуждать планы побега. Самым реальным казался замысел общего бегства по Шилке и Амуру. На пустынном Амуре не достанут никакие стражники. По Амуру, а потом морем можно достичь дикого запада Америки и стать там вольными колонистами. А построить судно и пересечь на нем Восточный океан они смогут.

Боже мой! Чего только не умели делать узники Читинского острога! Загорецкий и старший брат Михаила Николай, казалось, из ничего, да и на самом деле из всякого хлама: старой кастрюли, картона, обрезков жести изготовляли собственной конструкции часы. По сооруженным Николаем и Фаленбергом солнечным часам проверял свои карманные сам комендант острога генерал Лепарский. Обнаруживались вдруг искусные плотники, механики, токари. А повести судно могли моряки — братья Бестужевы.

«...Заветной реки», — мысленно повторяет Михаил Александрович и продолжает письмо: «После 25-дневного плавания, — но сразу вычеркивает последнее слово и пишет: — не плавания, нет, а таскания барж по мелям — так что можно сказать без метафор, что мы не плавили груз, а перетаскивали его на плечах рабочих...»

Перо опять останавливается, Бестужев вспоминает, как генерал-губернатор говорил ему в Иркутске: «Спешите отправляться из Шилки полною весеннею водою; иначе каждый день промедления будет вам стоить неделю».

«Благой совет, — думает Бестужев, — но не худо было бы Николаю Николаевичу распорядиться, чтобы и казна не была причиною такого промедления». В Шилкинском заводе, где собрался его караван, со всевозможными проволочками загруженный в Чите большей частью груза, оставалось получить муку. И здесь возник спор между ним — подрядчиком Амурской компании — и интендантскими чиновниками. По контракту он должен был погрузить муку на баржи «с берега» и требовал, чтобы интендантство доставило ее на берег к баржам. Чиновник интендантства титулярный советник Журавицкий доказывал, что их хлебные магазины и так стоят на берегу, а не на воде, и он должен брать хлеб из них, и к воде, за несколько сот сажений интендантство мешки с мукой не повезет. А все дело заключалось в том, что за перевозки груза на довольно значительное расстояние до барок интендантство должно было платить, а ведь можно было эти деньги только показать уплаченными, и, наверно, чиновники интендантства давно мысленно поделили их.

Спор тянулся несколько дней. У самого Бестужева для погрузки муки не было ни рабочих, ни средств. Драгоценное время уходило, пока в Шилкинский завод не прибыл Муравьев. Осматривая суда, приготовленные к сплаву, он увидел, что некоторые из них еще не начинали грузиться.

— Отчего? — крикнул генерал. — Где подрядчик?

Михаил Александрович доложил:

— Николай Николаевич, баржи давно готовы, но интендантские чиновники делают каверзу... — и рассказал о причинах задержки.

Муравьев побагровел, но смолчал. Разнос виновных он отложил до утра. Утром генерал-губернатору представлялись чиновники Шилкинского завода. Они выстроились в отведенной генералу приемной по старшинству чинов. Муравьев обходил подобострастный строй, здоровался с каждым и что-нибудь говорил. Журавицкому и двум другим чиновникам интендантства он руки не подал, а, проходя мимо, бросил через плечо:

— Вы останетесь здесь, когда другие уйдут.

Едва закрылась дверь за последним из чиновников, генерал, со вчерашнего вечера копивший гнев, дал ему выход.

— Мошенничество! — выкрикнул он. — Воровство! В преддверии великого дела вы устраиваете проволочки! Если сегодня хлеб не будет погружен, все наденете солдатские мундиры! Господин полицмейстер! — обернулся он к полицмейстеру завода, — немедленно за счет этих... господ, за любую цену наймите рабочих и подводы. А вы, Михаил Иванович, — сказал он Венюкову, — сегодня же напишите в Иркутск обер-провиантмейстеру, напишите, что я приказал выгнать негодяев со службы!

Чиновники поеживались. Они знали, что заменить их на службе в этой глуши нечем, и за свои места не боялись, но выкладывать денежки из собственных карманов им не хотелось.

К закату солнца муку погрузили, но четыре дня было безвозвратно потеряно.

В тот вечер Бестужев записал в своем дневнике: «Тогда как внизу, на берегах, у меня происходили житейские мерзости, — наверху, на горах, на всем окружающем печать столь величественной, дико прекрасной природы, что я вечером, уловив свободную минуту, взобравшись на вершину одной высокой горы, окружающих как пояс Шилкинский завод, до такой степени был подавлен грандиозностью картины, что едва имел достаточно сил, чтобы спуститься вниз, в грязь житейской суеты...»

Опять скрипит перо, и на полулист бумаги ложатся строчки: «Старожилы не помнят, чтобы когда-либо Шилка была так мелководна, чтобы когда-либо человек мог переходить ее вброд, как это было теперь...»

Из 32 барж станет на мель одна, а все остальные должны останавливаться, чтобы ее снимать. В это время безьякорные баржи, не могши остановиться, валят на другие и взаимно ломают друг друга. Судите же, сколько потерянного времени, когда их станет пять или

более, как, например, теперь, под Стрелкою, в узком и быстром проходе их стало шесть, и надо было их совершенно разгружать. К счастью моему, я купил у орофона оморочку, т. е. берестяную лодочку, на которой мой лоцман поехал вперед, разузнал проходы, и мы... с большим трудом успели своротить в другой проход, правда, опасный, где вода с яростью бьет на подводные камни, но зато глубокий — мы миновали то, чему подверглись другие баржи передовых отрядов».

Много ли вместит письмо, да и обо всем надо ли писать? Михаил Александрович смягчает события, о многом умалчивает, чтобы не расстраивать близких. Ни словом не обмолвился он о том, как в Шилкинском заводе одна из барж, нагруженная порохом, затонула, правда, на мели. Порох, хоть и перевозился в бочонках, подмок. Это уже грозило вычетами из той оплаты, которую он должен получить, сдав грузы. Выручил старший адъютант генерал-губернатора Венюков, предложив передать порох горному ведомству для подрыва скал. Начальник Нерчинского завода согласился принять подмоченный порох, и этим неприятное дело ограничилось.

А сколько тягот случалось в пути, о которых он не сообщал ни жене, ни сестрам. Не раз декабрист спасался только чудом. Как-то добираясь на лошади до станицы Уктычи по тропинке, прилепившейся к обрыву скалистого берега, где с трудом можно было проехать одному, он повстречал казака, который вел гуськом трех коней. Казалось, разминуться здесь абсолютно невозможно. Лошадь Бестужева испугалась и начала съезжать с обрыва, а кони казака напирали на нее спереди. К счастью, казак, уже попадавший в такие ситуации, не растерялся и загнал своих коней на камни, выступавшие над тропой. В этот момент Михаил Александрович ударил нагайкой свою лошадь, и она проскочила буквально между ног казацких коней.

Однажды его компаньон, двадцатидвухлетний купец Иван Чурин, вконец отчаявшись, воскликнул:

— Ежели бы мне не было стыдно, то я непременно убежал бы. Как вы на это решились, Михаил Александрович? Я не имею ни жены, ни детей, никого, кто бы манил меня к себе. А вас ждут. Я пошел охотой на Амур, хотя меня все отговаривали и со всем этим я потерял весь запас терпения. Как же вы столь спокойны и даже шутливы, когда вас все манит назад и ничего не обещает доброго впереди?

Бестужев выслушал его, помолчал, а потом ответил:

— Если б вы, Иван Яковлевич, были, как я, двадцать пять лет в тюрьме, вы бы этот вопрос разрешили очень просто.

Чурин, торговавший до этого по Байкалу, только махнул рукой.

И вот наконец караван у Амура.

«При самом благоприятном плавании мы не можем быть на устье Амура ранее 15 августа, — пишет он, — сдача казенного груза задержит меня еще недели на три или более. Вот и сибирская зима на дворе. Будет ли мне возможно в такое позднее время добраться до Аяна... Но что будет, то будет... будет то, что бог даст.

Поговорим лучше что-нибудь о себе. Здоровы ли Вы все, мои милые? Как проводите время? Каково ведет себя моя Лола, и что теперь мой Коля? Вот вопросы, которые я часто задаю себе и разрешаю по возможности в своих интересах».

«Отчего же нет писем из дому? — думает он, хотя знает, что получить их можно только со случайным попутчиком, отправляющимся, как и он, на Амур. — Что там у них, как? Согласились ли сестры пойти для него еще на одну жертву — не уезжать из Селенгинска, пока он плавает? Все ли здоровы, особенно дети?»

На берегу послышались торопливые шаги, подошел мокрый от дождя Чурин.

— Михаил Александрович! — окликнул он. — Из станицы пришел урядник, говорит, что на одной из барж на берегу Аргуни для вас есть письма.

— Письма! — Бестужев, не скрывая радости, вскочил. — Сейчас иду.

Он накинул на плечи плащ, потом вновь сел, подписал и запечатал письмо и, спрятав его в нагрудном кармане, заспешил вместе с урядником к Усть-Стрелочной станице.

— Уезжают казаки, — сказал урядник, показывая на дома с заколоченными дверями, когда они подошли к станице. — Нынче от нас две семьи уехали, а бают, на будущий год еще кому-то переселяться придется.

— А вы бывали на Амуре?

— Бывал, — протяжно подтвердил урядник. — В лонешном году ходили. Я за тот поход и в урядники произведен. Я один за два дня, однако, сто восемьдесят верст пробежал, — не без гордости сказал он. — И нынче с вами пойду. Строю тут баржи для переселенцев, кое-что для казаков повезу. А вон и баржа, где вас ждут!

Письма, как и ожидал Михаил Александрович, оказались из дому. Самым радостным в них было то, что сестры, собравшиеся в Москву, откликнулись на его просьбу и остались. Но они и жена жаловались, что от него нет писем.

Уже в ночной темени шел Михаил Александрович к своей лодочке и думал, что он тотчас же, как придет, напишет им еще одно письмо. Объяснит, что посылал им три письма из Читы, писал из Кайдалова, из Нерчинска, из Бянкино, из Шилкинского завода и Кары. «Виновато расстояние, — думал он. — Как далеко я сейчас от семьи, а уплыву в такую даль, что и представить страшно».

У самого причала Бестужев разглядел скорчившуюся под дождем на мокрой коряжине унылую фигуру человека. Он сначала подумал, что это сук той же коряжины. Услышав шаги Бестужева, человек вскочил, завернул поднятый воротник шинели, поправил фуражку и шагнул навстречу Михаилу Александровичу.

— Михаил Александрович? — с надеждой в голосе спросил он. — Позвольте представиться: унтер-офицер Жилейщиков, топограф... — И торопясь, боясь, что его остановят, начал рассказывать, что сидит здесь в Усть-Стрелке вторую неделю с двумя ящиками топографических инструментов и тюком бумаги. В Чите, отправляя его с казаками до Усть-Стрелки, обещали, что здесь он сразу найдет транспорт, чтобы следовать далее в Усть-Зею в распоряжение поручика Венюкова.

Сначала робкий топограф просто ждал, что кто-то подойдет к нему и предложит место на проходящей курьерской лодке. Потом он понял, что здесь никому нет до него дела. Люди, спешащие на Амур, задерживались в последней перед большим путем станице только затем, чтобы подготовиться к дальнейшему плаванью. Можно было устроиться на плот к переселенцам, однако Жилейщиков уже знал, что такие плоты сплавляются крайне медленно. Он продолжал ждать попутного курьера. За это время проследовали уже две лодки с курьерами, но увидев тяжелый багаж топографа, господа курьеры ему отказывали. Тем временем проплыли последние плоты с переселенцами, и унтер-офицер вконец отчаялся.

— Возьмите меня на свой караван, господин Бестужев! — окончив свой сбивчивый рассказ, попросил Жилейщиков. — Я из солдатских детей, сам изучил топографическую науку, дослужился до чина унтер-офицера, а теперь все, добытое таким трудом, могу потерять.

— Устраивайтесь на любую баржу, — разрешил Михаил Александрович, — только мы ведь тоже передвигаемся очень медленно. Я буду ожидать здесь отставшие баржи. Снимемся, наверно, только завтра к вечеру.

— Да хоть бы завтра! Лишь бы плыть! Так я побегу в станицу за моим грузом!

— Что же сейчас-то, ночью по дождю? Успеете и утром.

— Нет, нет, я сейчас. Мало ли что может случиться утром, — и топограф, чавкая по грязи сапогами, побежал в Усть-Стрелку.

Михаил Александрович посмотрел ему вслед и, когда фигура Жилейщикова уже размылась в темноте, подумал, что унтер-офицеру придется не один раз сбегать в станицу, чтобы перетащить свои ящики и бумагу.

Приказчик Чурин еще не спал, и Бестужев попросил его направить навстречу унтер-офицеру двух рабочих, чтобы помочь ему дотащить груз.

Письмо родным он написал при свете оплывшей, догорающей свечи. Время ушло за

полночь. По-прежнему лил дождь. «Прощайте до завтрашнего утра. Завтра, когда дождусь свои баржи, оставшиеся позади нас, отправлюсь далее, т. е. поплыву по Амуру, и помощи мне бог его проплыть благополучно...» — оборвал он свое письмо.

Но и завтра баржи не пришли. Тоскливо тянулся дождливый и ветреный день. Около трех часов пополудни возле лодки раздались веселые молодые голоса:

— Господин Бестужев, мы без стука. К вам можно?

Михаил Александрович выглянул из-под навеса. У лодки стояли два казачьих офицера и уже знакомый урядник, только сегодня он пришел в погонах есаула.

— Вячеслав Казимирович Кукель, — отрекомендовался один.

— Клейменов, — представился другой.

— А я не догадался вчера доложить, — сказал есаул. — Николай Сухотин. — И заметив взгляд Бестужева, брошенный на его погоны, улыбнулся: — Только что сменил, вот господина приказ привезли.

— Забирайтесь, господа, в мою каюту, — пригласил, откидывая кошму, Бестужев.

— Пойдемте лучше к нам, — возразил Кукель. — Мы привезли вам письмо и не чаяли вас здесь застать.

— Сижу второй день, — выходя на берег, сказал Михаил Александрович. — А Усть-Стрелка оказалась для меня счастливым местом, здесь я уже получаю третье письмо. И каждый раз добрым вестником оказывается господин Сухотин.

В маленькой лодке с каютой, в которой плыли Кукель и Клейменов, Михаил Александрович распечатал пакет. Письмо оказалось от его старого друга декабриста Владимира Штейнгеля. Свободолюбивый, образованный человек, яростный борец за освобождение крестьян, сейчас, на перевале жизни, поутих и увлекся собиранием сибирских загадок.

— Господин, который передавал нам письмо, говорил, что вы с ним участвовали в декабрьском бунте? — осторожно спросил Клейменов.

— Да, — кивнул Михаил Александрович.

— Расскажите! — загорелся Кукель.

Михаилу Александровичу и самому захотелось рассказать этим любезным молодым людям о том тридцатилетней давности дне, когда утром, взволнованный до бледности, брат его Александр сообщил, что Якубович изменил общему делу и отказался вывести на Сенатскую площадь гвардейский экипаж. Услышав это, он сам, чувствуя, что от волнения на глаза навертываются слезы, вдруг решился и сказал: «Итак, надежда на артиллерию и прочие полки исчезла. Медлить нечего, пойдем в полк — я поведу его на площадь. Пойдем и уведем его до присяги...»

Рассказать бы им, как морозным утром на Гороховой улице послышался барабанный бой, крики «ура», и поднятая им колонна лейб-гвардии Московского полка с распущенным знаменем, топая подкованными сапогами, выкатилась на площадь. Как он, окрыленный и возбужденный, быстро шагал впереди, а рядом с ним Александр и Щепин-Ростовский. Тоже взволнованные, тоже готовые умереть за Российскую республику.

Но поймут ли все это милые молодые офицеры, в подогнанной иркутскими, а может быть, и петербургскими портными казачьей форме. Не покажется ли им самый яркий день его жизни просто любопытной историей, которую они будут пересказывать в беззаботной компании. Едва ли им понять, какое чувство обуревало Александра, когда, построив в каре полк напротив Сената, он начал точить саблю о гранит памятника Петру Великому, пробуя зябнувшими пальцами холодную от мороза сталь.

Нет, пожалуй, они не поймут всей ослепительной надежды и трагического исхода того дня. А он, на льду Невы, когда пытался остановить и построить бегущих от губительной картечи солдат и повести их на штурм Петропавловской крепости, может показаться этой новой молодежи даже смешным. Ведь уже начал ломаться от разрывов бомб лед и тонули люди...

И Михаил Александрович ответил им строками Пушкина:

— Дела давно минувших дней,
Преданье старины глубокой...

Офицеры поняли эти строки по-своему, они решили, что для него, с их точки зрения, раскаявшегося человека, рассказ этот будет тяжелым, и настаивать не стали.

Разговор пошел о более близких каждому делах — об иркутских новостях, о плавании по Шилке и освоении Амура.

— В Иркутске говорят, — рассказывал Кукель, — что американцы весьма интересуются богатствами нашей восточной окраины. Они уже предложили нашему правительству проект железной дороги, то ли из Аляски через Берингов пролив на Амур, то ли от устья Амура до Байкала. Предлагают якобы строить дорогу за свои капиталы, только в возмещение расходов просят отдать им стоверстную полосу земли вдоль будущей дороги с правом использования леса и прочих богатств, которые окажутся в этой полосе.

— Ах, господа, русский народ в состоянии сам проложить эти дороги, но американцы действительно очень заинтересованы. Впереди нас по Амуру плывет американский торговый агент Перри Мэк-Коллинс, — сказал Михаил Александрович. — Он уже второй год в Сибири. С ним и с натуралистом Густавом Ивановичем Радде я повстречался в деревне Атамановке, чуть пониже Читы. Американец был удручен, его уверяли, что правительство даст ему все способы к отправке на Амур. А какое правительство в Чите? Корсаков уехал, а больше никто ни ему, ни Радде помочь не мог. Коллинс жаловался, что до сих пор его чуть ли не носили на руках, чтобы он «даже не преткнул о камень ногу свою», ведь он изучал возможности американской торговли в Приамурском крае и в Восточной Сибири. А в Забайкалье он был оставлен без всякого внимания. Радде, коему тоже наобещали всяческое содействие, чуть не плакал от досады, видя, что дни убегают за днями, без надежды когда-нибудь отплыть.

— Но они все-таки уже на Амуре? — спросил Кукель.

— Я застал Коллинса и начальника Аянского порта, который тоже не ведал, как добраться до Николаевска, у Радде и разрешил все их заботы двумя словами: «Едемте вместе». Груз Радде мы уплавили на своих плотках даром, как пожертвование Амурской компании для Географического общества, и, сверх того, пришлось дать Радде несколько плотов для сплава всего его груза на Хинган. Он намеревается прожить там два года.

Они отправились, а мне пришлось задержаться. Одна из моих барж села с порохом в самой Чите, да и не хватало еще некоторых товаров. А Радде я потом, в середине мая, встретил еще раз в Бянкино. Шел дождь, волны переплескивались через его плот, а наш ученый сидел под брезентовым тентом, обдуваемый со всех сторон ветром, мокрый, но не отчаявшийся — он все-таки плыл!

Я отдал ему свой домик, со всем его устройством и с кошкой, которой он был внутри обит. И он в тот же день уже с комфортом отправился в дальнейшее плавание.

Когда пришла пора прощаться, Бестужев вспомнил про вчерашнего просителя унтер-офицера Жилейщикова. Утром Михаил Александрович посылал за ним звать на завтрак, но топограф, передав множество извинений, мягко, но решительно отказался, и Михаил Александрович понял, что поступил он так из робости. Тогда Чуринов приказал кормить Жилейщикова вместе с командой баржи.

— Он изголодался, в Стрелке-то сидючи, — посмеиваясь, рассказал Чуринов. — Навалился на кашу — смотреть было любо.

— Господа, — сказал Бестужев курьерам, — тут я приютил унтер-офицера топографа. Торопится в Усть-Зею с инструментами, нужными там для топографических съемок, а уехать из-за своего малого чина не может. — И добавил, чтобы было веселее: — Его там сам Николай Николаевич ждет. Вы же сегодня отправляетесь и доберетесь до походного штаба быстрее моего каравана на целую неделю, а то и скорее. Захватите с собой этого страдальца.

Кукель и Клейменов переглянулись. Видно было, что просьба Бестужева им в тягость.

— Ну, сказать откровенно, — лукаво прищурил глаза Клейменов, — брать нам его, да еще с инструментами, на свою лодку не очень охота. Но если просит сам адмирал Бестужев, это вас так на Амуре прозвали, то что уж тут поделаешь. Окажем любезность Михаилу Александровичу? — обернулся он к Кукелю.

— Пусть плывет, если согласен гребцом.

Велели звать Жилейщикова. Он с радостью согласился подменять дорогой гребцов и побежал на баржу перетаскивать свои ящики.

Поздно и в эту ночь уснул под шум дождя и монотонный плеск реки Михаил Александрович. Только в три часа он дописал еще одно письмо в Селенгинск. А рано утром, с первой зарей, караван его потянулся вниз по Амуру.

В тот день, рассматривая в подзорную трубу заросшие лесами берега, он увидел отесанный столб, стоявший над обрывом и попросил гребцов пристать. На столбе было написано: «Игнашина». «Будущее село», — решил Михаил Александрович, но пока на берегу не было ни построек, ни людей.

Часа через два после Игнашиной лодка Бестужева стала обгонять плоты с переселенцами. Дождь, ливший все эти дни, с утра прекратился. На плотях сушили одежду, теснились вместе люди, лошади, коровы, дымили костерки. Сидели нахохлившимися воробьями ребяташки.

— Давно из Усть-Стрелки?! — крикнул Чурин.

— Третий день, — ответил с плота кормчий, стоявший у переднего задранного над водой весла.

— Долго им придется добираться, — заметил Чурин, — если мы, выйдя утром из Усть-Стрелки, догнали их, а они это расстояние плывут третий день.

— Что поделаешь. Плоты-самоплавы, только течение их и гонит, — сказал Михаил Александрович.

К вечеру, выбирая место для стоянки, Бестужев издали заметил дым от нескольких костров. Когда подплыли ближе, увидели на берегу шалаши и переселенцев.

— Высадили нас солдатики и побегли дале, — рассказывали они. — А нам тута станицу ставить. Сгибнева будет называться.

Ночь коротали вместе с переселенцами, наслушались рассказов об их плавании сначала по Аргуни, а потом по Амуру.

— Наконец-то прибыли, — рассказывал бойкий костлявый казак, шепелявя, не выговаривая букву «с». — А то ведь шкотину жалко. Плыдем и плывем, а коровок и коней кормить надо. Где хороший лужок, там оштановки нет, а где штанем — там камень. Еле-еле нашиплем охапку травушки. Но тут хорошо будя!

— А чем хорошо? — интересовался Бестужев.

— Луга рядом, сено косить начнем. Лес есть, штроиться можно, — сказал другой, подошедший на разговор казак.

— Что это вы все шепелявите? — поинтересовался Чурин.

— Так, паря, аргуни мы. С Аргуни, значит. Нас низовые казаки и шилкинские «шватами» дразнят. Что-то им в нашем разговоре не по нутру.

День за днем продолжалось плавание каравана Амурской компании. Опять приходилось снимать баржи с мелей, сушить подмоченные грузы, укрывать их от дождей. Остался позади Албазин, где уже рубились дома. Все чаще русло реки делили острова, заросшие лесом или высокой травой. Попробуй, определи, по какому руслу вести баржи. Приходилось направлять вперед лодки, чтобы разведать путь. Горы то подходили к самой воде, то отступали, синяя вдали.

На следующий день после Албазина добрались до новой станицы. Здесь на берегу стучали топоры, сустились у воды солдаты, разламывая плоты. Не успела лодка Бестужева пристать, как к ней подбежал молодой офицер. Рукава его рубахи были засучены, лицо

успело обветрить, а светлые и так волосы — выгореть.

— Михаил Александрович! Вы ли это? — весело крикнул он.

Бестужев узнал подпоручика Козловского, с которым познакомился в пути, на стоянке в одной из станиц еще на Шилке.

— Здравствуйте, подпоручик! Какие у вас дела в этой глуши? — отозвался Бестужев.

— Здесь будет город заложен! — продекламировал Козловский. — А пока мы строим станицу Толбузину. Слышали об Алексее Толбузине, известном албазинском воеводе? Он погиб от маньчжурского ядра. Да выходите, выходите, я вас угощу шультой.

— Шульты! Что это такое? — спросил Михаил Александрович, спрыгивая на берег.

— О! Это замечательный забайкальский чай. У меня тут живет семья первых переселенцев. Среди них прелюбопытнейший старичок, некто Мандрика. Он только что, по моей просьбе, заварил шульту, Пойдемте, пойдемте, гостем будете!

У шалаша, сооруженного под березой, догорал костер. Возле него копошился Мандрика. Он отставил в сторону котелок с чаем и сейчас заваливал угли сырыми ветками и травой.

— Ну, казак, принимай гостей! — крикнул издали Козловский.

Костер, накрытый травой, густо задымил. Мандрика закашлялся и, вытирая слезы, показывая на утопанную траву у костра, пригласил:

— Заходите на мой двор, заходите! — и весело рассмеялся. — Вот он двор — весь тут!

— Зато мы тебе, Мандрика, построим самый первый дом. Живи с бабкою и молодыми, — пообещал подпоручик.

— А вот и нашинский чай, — сказал Мандрика, пододвигая котелок. — Усаживайтесь вот здесь. Сюда дымок тянет, комаров отгонять будет.

— Где-то у меня сахарок оставался, — вспомнил Козловский, — сейчас я крикну солдат, пусть принесут.

— Не беспокойтесь, — остановил его Бестужев и окликнул Чурина, оставшегося в лодке: — Иван Яковлевич! Присоединяйтесь к нам. Здесь нас собираются угостить каким-то особенным чаем. И прихватите что-нибудь из наших запасов!

Чурин не заставил себя ждать и принес на берег дорожный ларец с сахаром и другими припасами. Мандрика уже разлил шульту по кружкам и, когда гости начали, дуя на кипятки, пить, с любопытством поглядывал, что скажут господа о его заварке. Чай понравился.

— На чем вы его завариваете? — любопытствовал Бестужев.

— Он срезает какие-то наросты на березах, — объяснил Козловский. — Ну как, неплохой чаек?

— Совсем неплохой, — согласился Бестужев.

— Жалко, у вас нет времени, — сказал командир роты, — а то бы Мандрика попотчевал вас «жеребчиком».

— А это что такое?

— Тоже чай, только особенный. Да ладно, как-нибудь попьем и его.

Неподалеку от них солдаты закладывали венцы двух первых домов, а чуть поодаль расчищали площадку для третьего.

— Полурота у меня здесь, другая полурота ниже — строит станицу Ольгину, но вы ее с реки не заметите, она в стороне. Место там мне не нравится, под горою, да у гнилого озера. Но уж такое выбрали сами казаки, — объяснил Козловский. — И все равно, Михаил Александрович, вы даже представить не можете, как волнующе интересно, в совершеннейшей глуши, где и следа человеческого не встретишь, строить новые села.

Чурин, поблагодарив за чай, собрался и ушел, поднялся и Мандрика помогать солдатам, ведь первый дом обещали ему. Сын его Иван с Настей и матерью с утра ушли косить сено.

— Откуда казачок-то? — поинтересовался Бестужев.

— Из станицы Усть-Стрелочной, — рассказывал подпоручик. — Интересный дед, столько знает старинных обычаев. Он ведь сюда, представляете, почти за триста верст, вез

собственного домового. Но это что! Меня поразила душевность этих людей. У него перед отъездом умер сосед, тоже старый казак. А у казака осталась дочь. Молодая девица. У Мандрики самого забот перед отъездом много, а он решил взять ее с собой. К счастью, у Мандрики есть сын — Иван. Так вот мы по дороге, прямо на плоту сыграли им свадьбу!

Бестужеву все больше нравился веселый, энергичный подпоручик. Он даже подумал, что этот молодой офицер не остался бы в стороне во время Декабрьского восстания. А Козловский продолжал:

— А девица — молодец, певунья. На удивление много знает народных песен. Говорят, ее отец казак Пешков, совершенно неграмотный человек, сам сочинил песню о прошлогоднем походе. Жаль, она сейчас на покосе, а то бы мы попросили ее спеть. Так вот о свадьбе... Вижу я, что молодые тянутся друг к другу. Спать ложатся — она с бабкой, он — с отцом. Вот я и спросил как-то утром Мандрику: «Слушай, казак, ты что им свадьбу не сыграешь?» А он отвечает: вот на место, мол, приедем, дом построим — тогда.

Я ему на это: «Дело твое, но у меня солдаты — молодец к молодцу, как бы не остался твой Иван без невесты. Увезут...» Старик и правда забеспокоился, подходит ко мне однажды и просит: «Так дозволейте, ваше благородие, свадьбу сыграть?» Мне все это интересно, говорю: «Дозволяю». Выделил я им четверть спирту. Бабка и невеста вместе с моим кашеваром приготовили обед. Тут, к счастью, еще эвенк попался, ехал с рыбой. Мы у него рыбы выменяли. И свадьба получилась на славу. Поднесли по чарке всем солдатам. Те рады стараться — песни заиграли. Представляете, Михаил Александрович, проплывают мимо зеленые берега, угрюмые скалы, птицы над плотами носятся, вокруг ни жилья, ни человека, как в первый день творенья, а мы свадьбу гуляем. Новоселов женим! И вот солдаты, никогда не ожидал я от них такой чуткости, когда пристали мы в ту ночь, можете себе представить, ни один не остался ночевать на плоту. Я замешкался, а ко мне подходит один из дядек, этакий на вид угрюмый человек, и говорит: «Ваше благородие, пусть уж молодые на плоту ночуют, а мы на лужку шалаши соорудим».

На берегу, неподалеку от лодки Бестужева, линейцы под «Дубинушку» выкатывали бревна. Там же монотонно повизгивала пила. Медленно тянулись по течению паромы с грузами.

— Замечательный край, — сказал Бестужев, — иногда на душе грусть, а посмотришь, как улыбается природа, и все проходит. Сколько я проплыл чудесных мест, а сколько еще впереди...

— Знаете, Михаил Александрович, — встрепнулся Козловский. — Я порой пытаюсь представить, что будет на Амуре через два-три десятка лет. Встанут многолюдные села, появятся пашни, пойдут пароходы, как где-нибудь на Волге!

Подпоручику действительно не раз рисовались в грезах села и города по амурским берегам. И часто, всматриваясь вдаль, он ждал: вот сейчас за скалой, за кривуном покажутся необычные строения, белокаменные здания, но, как сказал ему однажды подпоручик Прещепенко: за горой опять показывалась гора... И Козловский воспринимал это как огромную несправедливость. Нет, не должна земля лежать пустой, нетронутой, никому не нужной. И он вновь смотрел вперед, ожидая и надеясь увидеть воочию то, что виделось его мысленному взору.

— Все это безусловно будет, — в задумчивости произнес Бестужев, — но, мне кажется, не скоро. Одними забайкальскими казаками такой огромный край не заселишь. Сколько их, казаков-то! Развитию нашей с вами Родины, и здесь на Амуре, и в других ее землях, мешает одно общее зло — крепостное состояние. Пока будет существовать позволение одному человеку иметь и называть другого своим крепостным, Россия будет тащиться, как эти неповоротливые плоты. Вдохнуть бурную жизнь в сей край могут только вольные колонисты.

Козловский испуганно смотрел на своего собеседника. Такая мысль еще ни разу не приходила ему в голову, и он не находил, что сказать. Возражать! Но что? Ведь и правда, одних забайкальских казаков не хватит, чтобы оживить эти безлюдные земли, которым нет

конца и края. Сюда бы хлебопашцев-крестьян, но все они собственность дворянского сословия, в том числе и его отца. А разве отец согласится отпустить своих мужиков на новые земли? Нет же.

Бестужев заметил смятение на лице молодого офицера и, улыбнувшись, сказал:

— Пока же давайте способствовать всем, чем можем, великому делу, начатому здесь на Амуре.

Ни шатко ни валко тянутся баржи каравана мимо буйных трав прибрежных лугов; горы то попятятся от берега, то опять, приблизятся, и тогда нависают над рекой омытые линиями скалы. Амур то соберется в одно русло, то разобьется на несколько рукавов, а потом опять окружают его горы и сожмут бурлящее течение в один поток. И этот поток начинает метаться то вправо, то влево, образуя крутые излучины.

Начался июль. Накатывались грозы с короткими, но обильными ливнями. Омывали прибрежные леса, сгоняли с обнажившихся отмелей табуны птиц, смывали с песка иероглифы их следов. Но вскоре опять проглядывало солнце, сушили крылышки зеленые мотыльки-подёнки, посыпали баржи и домик на лодке Михаила Александровича. Он откидывал кошму, закрывавшую вход, выбирался на нос лодки и подолгу сидел с подозрительной трубой или доставал потершуюся записную книжку и карандашом делал в ней короткие записи. Все о тех же баржах, севших на мель, о дождях и туманах, о буйной растительности по берегам, медленно ползущих по течению плотам переселенцев, о барже с порохом, обсохшей на мели, с командой солдат и молодым, как и Козловский, прапорщиком. Бестужев помог им сняться, потеряв на это почти день, и теперь прапорщик боится уйти вперед, боится и отстать и тянется за отрядом Бестужева, как нитка за иголкой.

Есть в этом путевом дневнике прелюбопытнейшее стихотворение, занявшее ровно четыре страницы. Его дали переписать Бестужеву, еще на Шилке, проезжавшие курьерами бывший лицеист Беклемишев и казачий офицер Буйвит.

С Федором Андреевичем Беклемишевым Михаил Александрович знаком с Селенгинска, с поры, когда Беклемишев был Верхнеудинским исправником; Буйвита встречал не раз весной, готовя караван к сплаву. Встреча на Шилке обрадовала Михаила Александровича. Он открыл для гостей бутылку шампанского. Может быть, она и вызвала на откровенность Беклемишева.

— А что, — сказал он Буйвиту, — покажем адмиралу Бестужеву «Шарманку»? Он в своей селенгинской глуши давно таких стихов не читал.

Буйвит пожал плечами и, рассмеявшись, сказал:

— Ну, ежели учесть, что Михаила Александровича ожидает крепкий нагоняй от Николая Николаевича за медленный сплав, то разве в утешение...

Беклемишев достал из сумки тетрадь и, выглянув из каюты, нет ли кого рядом, начал читать:

По дворам таскал старик
Тридцать лет шарманку,
Он вертеть ее привык:
Вертит спозаранку,
Вплоть до полночи глухой,
На потеху людям;
Той шарманки писк и вой
Мы не позабудем...

С первых же строк Михаил Александрович догадался, что шарманщиком неизвестный поэт изобразил Николая I, а Беклемишев увлеченно читал, изредка косясь на Бестужева: «Ну как, мол, потешили мы твой бунтарский дух?!»

В стихотворении описывалось, от кого Николаю досталась государственная

«шарманка» и как он ее, осипшую, с лопнувшими струнами взвалил «на плечи сына», конечно же Александра II.

С тех пор Михаил Александрович не раз перечитывал стихотворение, с улыбкой повторяя про себя крамольные строки:

Сам он видел, что она
Уж пришла в негодность,
Что в ней лопнула струна,
Певшая народность,
Что осипла в ней давно
Песня православья,
Что поправить мудрено
Хрип самодержавья...

«Не затихает Россия», — думал он и берег стихи, чтобы показать их Штейнгелю или, тоже бывшему участнику декабрьского восстания, Завалишину, жившему на поселении в Чите.

Самой любимой книгой, из тех, что вез с собой Михаил Александрович, был томик Лермонтова. Отложив записную книжку, он доставал его и, открыв наугад, читал. Иногда Михаил Александрович звал Чурина:

Иван Яковлевич, послушайте, как примечательно сказано, — и начинал читать;

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье — все готовы:
Никто не хочет грусть делить...

Молодой купец присаживался на борт или опирался плечом о каюту и старался слушать, но Михаил Александрович замечал, что стихи его не трогают, и говорил:

— Вот вы послушайте далее, это же почти про меня:

Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И нижу, как судьбе послушно
Года уходят, будто сны...

Чурин говорил:

— Да, да, я понимаю, это очень чувствительно...

Когда-то, с братом Николаем, тоже восторгавшимся безвременно погибшим поэтом, они переписывали его стихи, которым не нашлось места в этой книжке. Их он, вспоминая о своих юношеских мечтах, повторял про себя. Зачем смущать дух своего компаньона! И все-таки любопытно, что бы Чурин сказал, услышав такие строки:

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь...

Написаны эти строки через пять лет после неудавшегося бунта. А может быть, тени Кондратия Рылеева, Павла Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского, повешенных на кронверке Петропавловской крепости в черный день 13 июля, когда и с него сорвали погоны и вместе с мундиром

бросили в костер, а потом над головой сломали шпагу, может быть, их святые тени вызвали у юного поэта эти стихи...

Товарищи его осуждены как государственные преступники, но их государством была Россия, а разве против нее, нет же — за нее, пытались они поднять восстание! Все его друзья, даже закованные в кандалы, любили свою Родину, верили в предначертанное ей великое будущее, радовались всему, что ведет к ее величию. И как не радоваться вот этому ее стремлению — оживить спящие вековым сном амурские просторы.

8 июля поднялся встречный ветер, к полудню он усилился, и по Амуру разгулялись волны. Баржи уже не шли одна за другой, соблюдая хотя бы относительный порядок, а разбежались по всему широкому вздыбленному валами плесу. Через сравнительно высокий борт лодки не раз переплескивали волны. А ветер усиливался и скоро стал штормовым. Надо было остановить караван, и, чтобы догнать ушедшие вперед баржи, Михаил Александрович сел вместе с гребцами за весла.

Часа через полтора передовые баржи удалось догнать, но в каком состоянии! Три из четырех сидели на мели, и все далеко от берега. Началась трудная, а из-за ветра и опасная работа. Хорошо, что посчастливилось быстро снять с мели ближайшую к берегу баржу, поставить ее на якорь в глубоком месте, а уж на нее перевозить груз с других засевших на косе судов. Освободив очередную баржу, подводили ее к той, что стояла на якоре, опять загружали и направляли к берегу. Не разобрав, в чем дело, прямо на опасную отмель шли отставшие суда. Чурин размахивал флагом, показывая им, что надо принимать левее. Но чаще всего на баржах разбирали его сигналы слишком поздно, когда уже днища скрежетали по песку.

Михаил Александрович пришел в отчаяние. Все происходившее походило на нелепый сон, в котором вытягиваешь из трясины одну ногу, а вторая в это время вязнет. Гребцы его, помогая снимать севших на мель, промокли до нитки, и Михаил Александрович приказал пристать к берегу, чтобы обсушить свою команду. Только разожгли в затишье костер, как снизу на Амуре показался черный парус. Уставшему декабристу он показался предвестником какой-то беды. Уже вечером, когда закончился этот тяжелый день, он записал в своем дневнике:

«С самого утра у меня так было грустно на душе, что я не знал, где найти место. Все люди отправились на съемку барж, несмотря на опасность, где половина команды могла утонуть, но с Амуром шутить нельзя. Он вдруг обмелеет — тогда баржи останутся на мели. И точно, многие едва не утонули в волнах, бродя по горло в воде. Показалась вдали лодка под черным парусом, и я готов был, подобно Эгею, броситься в реку в безотчетной тоске...»

Но лодка приблизилась, и Михаил Александрович с радостью узнал на ней курьера, который еще в Усть-Стрелку привез ему два письма от родных. На этот раз курьер возвращался из Усть-Зейского поста обратно в Иркутск.

Ну, как там вода? — прежде всего спросил Бестужев.

— Падает, — услышал он в ответ.

Не успели поговорить о новостях, как раздался крик:

— Человек тонет!

Михаил Александрович выскочил из каюты и увидел среди волн то погружающуюся, то всплывающую голову человека. Течение уже отнесло его в сторону от баржи, стоявшей на якоре. На барже суетились гребцы, что-то кричали на берег.

Отвязали лодку, на которой прибыл курьер, и она устремила на помощь утопающему. Но он больше не показывался над волнами.

Скоро, после этого трагического случая, сняли с мели последнюю баржу и причалили ее, как и другие, к берегу, переждать шторм.

— Вас давно ожидают в Усть-Зее, — говорил курьер. — Но я теперь отлично представляю, как тяжело проходит плавание вашего каравана. Плавание без местных лоцманов и без карт...

— У меня есть лоцман, ходивший по Амуру два раза, — ответил Михаил Александрович. — У меня есть карта, и все-таки я плыву как слепой. Человеку, проплывшему три тысячи верст по такой капризной реке, как Амур, невозможно заметить всех мелей и отплесков, тем более, что Амур изменяет с каждой весной свое русло, а тут две сажени вправо или влево — очень много значат. А карты, данные мне от Генерального штаба, это карты, пригодные разве для приблизительной ориентировки. Сверх того, баржи, полученные от казны, — это такая гадость, для описания которой не подберешь слов. Они в себе заключают все элементы недостатков: неуклюжесть, неповоротливость, непоместительность, непрочность. И думаете, как их прозвали команды?

— Слышал, — отозвался курьер, — мне кажется, прозвали довольно остроумно: «чушками».

В конце дня штормовой ветер притих, надо было продолжать путь. Михаил Александрович протянул курьеру неоконченное письмо.

— Передадите моим, — попросил он, — и извинитесь за меня, что не успел дописать. Но я утешаюсь, что самым лучшим письмом для моей семьи будете вы сами. Надеюсь, что вы расскажете о нашей встрече.

Следующий день, словно в награду за перенесенный шторм, выдался тихим и безоблачным. Михаил Александрович, пропуская баржи, сидел в своем домике у откинутой кошмы и записывал в дневник: «...На душе грусть, а природа улыбается, так она хороша... Против нашей баржи — забoka с разнообразной растительностью. Повыше — гранитная скала, поросшая ольхою, осиною, березняком и черемухами. Сквозь яркую зелень просвечивает фон горы темно-коричневого цвета, и в середине отвесной скалы пробита природою дверь со сводом в глубокую пещеру, справа круглое отверстие, вероятно, в ту же пещеру. Чудо хорошо!»

Этот день подарил Михаилу Александровичу неожиданный сюрприз.

Плавание проходило без происшествий, и после полудня показался высокий берег с дымом многочисленных костров. Приткнулись к нему баржи. В прибрежном лесу стучали топоры, слышался треск падающих деревьев.

«Ну вот, рубится еще одна станица, — подумал Михаил Александрович, вглядываясь в движение на берегу. — Значит, не зря и мы переносим тяготы этой дороги, не зря плывут паромы с переселенцами».

Начинался второй месяц плавания каравана, люди на берегах встречались не так уж часто, и Бестужев решил пристать. Оказалось, что здесь намечено строительство станицы Кумарской, где должно было расположиться правление второй Кумарской сотни. Опередив всего на несколько часов Бестужева, сюда прибыла 1-я рота 13-го линейного Сибирского батальона.

На берегу распоряжался энергичный коренастый капитан.

— Дьяченко, — представился он и спросил: — Не попадалась ли вам вверху моя 4-я рота?

— Если ею командует подпоручик Козловский, то встречалась, — ответил Бестужев и, узнав, что именно эта рота интересуется капитана, рассказал о чае из шульты, которым его угощал Козловский.

— На днях выведу к нему, посмотрю, как там дела. Не вижу эту роту с конца мая.

— Это же даль какая! — воскликнул Бестужев. — А вы так говорите, будто собрались проехать из Петербурга в Царское Село.

— Вот уж где не приходилось бывать, так это в Петербурге, — развел руками капитан.

— Да и я оттуда давненько, — с непонятным для собеседника значением признался Бестужев. — А дорогу от Бейтоново до Кумары проделал только что и испытал ее прелести.

— Понимаю вас, но ехать надо. Роте Козловского необходимо заложить две станицы, а всего батальону надлежит построить к осени семь новых селений. Так что помотаться мне придется. Да вы присаживайтесь, — тоном радушного хозяина пригласил Дьяченко, показывая на ствол поваленного дерева. — Больше, к сожалению, принять вас негде.

Приезжайте сюда в конце лета. С десятков домов, я думаю, срубим. Сидоров! — крикнул он пробежавшему мимо солдату. — Скажи на барже, пусть шабашат. Но недолго — покурят и за дело!

Солдаты, разгружавшие баржу, уселись в кружок прямо у схода. Смолкли топоры и в лесу, начинавшемся сразу от берега. Командир батальона и Бестужев разговорились о тяготах сплава по обмелевшей реке. Такой разговор неизбежно возникал у всех встречавшихся в то лето на амурских дорогах. И тут из леса, где отдыхали солдаты, рубившие деревья, донеслась песня. Дьяченко не обратил на нее внимания. Будь это в начале плавания, он бы обрадовался. Тогда, услышав солдатскую песню, возникшую без команды, он был доволен — значит, батальон оживает. А теперь привык. Но Бестужев насторожился. Он даже не досказал начатую фразу и замер, повернув голову в сторону певцов. А из лесу доносилось:

То не ветер шумит во сыром бору —
Муравьев идет на кровавый пир...
С ним черниговцы идут грудью стать,
Сложить голову за Россию-мать.

Михаил Александрович, разобрав эти слова, невольно побледнел. «Не может быть! — чуть не воскликнул он. — Откуда они знают эту песню?» — хотел спросить он, но передумал, и, с трудом скрывая свое волнение, как можно спокойнее поинтересовался:

— Что это за песня?

Дьяченко равнодушно пожал плечами:

— Право, не знаю. По-видимому, какая-нибудь старая солдатская песня, а здесь на Амуре прилепили к ней фамилию Николая Николаевича Муравьева, нашего генерал-губернатора. На Шилке у казаков мне приходилось слышать уже известные народные песни, к которым местные певцы приспособляли фамилии своих сотенных командиров. А то есть и такие, — оживившись, вспомнил Дьяченко:

— Как по Шилке по паршивой
Пузино плывет плешивый!.

Это они так о своем сотнике.

Солдаты же в лесу протяжно пели:

...Как на поле том бранный конь стоит,
На земле пред ним витязь млад лежит.
«Конь! Мой конь, скачи в святой Киев-град,
Там товарищи, там мой милый брат...
Отнеси ты к ним мой последний вздох
И скажи: «Цепей я нести не мог,
Пережить нельзя мысли горестной,
Что не смог купить кровью вольности!»

— Видите, — сказал Дьяченко, — в песне и «святой Киев-град» и «Муравьев», — все причудливо переплелось. Песню эту однажды услышал Николай Николаевич. Он пожал плечами и заметил: «На Кавказе я воевал, но при чем здесь Киев?»... Однако, вы чем-то взволнованы?

Михаил Александрович в эту минуту повторял про себя последние строки затихшей песни:

«Пережить нельзя мысли горестной,

Он в задумчивости распрощался с капитаном, а строчки эти все звучали, будто он их слышал. И потом, до конца дня и ночью, уже далеко от станицы Кумарской, он то вспоминал песню, которая так неожиданно нашла его на Амуре, то перед ним вставали картины прошлого. Это была его песня. Он сочинил ее много лет назад в тюрьме Петровского завода.

Солдаты ничего не добавили к песне, но, по-видимому, ни они, ни командир батальона капитан Дьяченко, ни сам генерал-лейтенант Муравьев даже не догадывались, что песня эта была про другого Муравьева — Сергея Муравьева-Апостола. Человека с задумчивым мечтательным взглядом, устремленным, казалось, в будущее, участника достопамятной войны двенадцатого года и триумфальных заграничных походов после нее. Это он, подполковник Муравьев-Апостол, в январе 1826 года, узнав о поражении Северного общества в Петербурге, вместе с Михаилом Бестужевым-Рюминым возглавил восстание Черниговского полка.

Весть эта проникла к декабристам через глухие стены Петропавловской крепости. Из одной одиночной камеры в другую ее донесла изобретенная Михаилом Александровичем тюремная азбука. Тогда его друзья только еще учились пользоваться системой сдвоенных и строенных звуков и передавали друг другу, чтобы натренироваться: азъ, буки, веде, глаголь... Однажды, тягучей бессонной ночью, когда Михаил ходил из угла в угол, сначала считая шаги, а потом, на пятой сотне сбившись, мерил по диагонали свой каземат уже машинально, раздался стук в стену, как раз над его лежанкой. Михаил бросился к стене. «Брат, — стучали ему. — Восстал Черниговский полк...»

Это было все, что они узнали тогда. Очень мало и очень много для того, чтобы томительно долго страдать от неизвестности, то загораясь надеждой на успех восстания южных братьев, то впадая в отчаяние... А потом состоялась казнь вождей Северного и Южного обществ.

Через много лет, уже в тюрьме Петровского завода, куда они шли из Читинского острога сорок восемь дней, и, несмотря на усталость и оставшиеся за спиной шестьсот пятьдесят верст пути, подходя к тюремным воротам, грязные и запыленные, запели «Марсельезу», в этой, уже четвертой тюрьме, он написал песню о восстании Черниговского полка. Впервые она прозвучала под сырыми сводами Петровской тюрьмы 14 декабря 1835 года. В десятую годовщину восстания. Запевал ее своим превосходным голосом декабрист Тютчев, а подхватывал хор, составленный из членов Северного и Южного обществ.

«Да, пережить нельзя мысли горестной, что не смог купить кровью вольности! — думал Михаил Александрович. — Живет, оказывается, песня и чем-то нравится солдатам. Может быть, тем, что есть в ней слова, одних будоражащие, других пугающие — про волю и вольность...»

10

Нелегко далась дорога двум ротам 13-го батальона, пока они добрались из Усть-Зей до мест, намеченных для строительства станиц. Шли бечевой. Ободрали веревками плечи, натерли кровавые мозоли на ладонях, истомили в постоянной мокроте ноги. Но это еще полбеды. Много других препятствий наставил амурский берег на пути линейных солдат. Большие и малые речки, впадающие в Амур, и протоки пересекали путь. Иные из них переходили вброд, иные на веслах или шестах. Часто брели у самого берега по колено в воде, потому что дорогу посуху перегораживал густой кустарник или стена леса. Но хуже всего приходилось там, где к воде подступали обрывистые скалы. Всегда в таких местах крутились омуты, несло стремительное течение. Шесты не доставали дна, веслами, сколько ни бейся, не сдвинешь с места тяжело нагруженную баржу. И солдаты карабкались по скалам, закусив бечеву зубами, чтобы руки оставались свободными. А внизу клокотала вода. Не смотри,

солдат, вниз, подави в сердце страх, не спеши, береги силы, сорвешься — пропал.

Карабкался вот так Игнат Тюменцев по узкому неровному карнизу вслед за товарищами. Где можно было, тянул бечеву руками, где нельзя — держал ее в зубах. Продвигались за шагом шаг, а скалистому берегу не видно было конца. На самом выступе утеса, который как корабельный нос выдавался в реку, нащупал Игнат ногой камень, уперся в него, а камень качнулся, и полетел солдат за ним в воду.

Окунулся с головой, вынырнул, колотя руками по воде. А течение подхватило его и понесло мимо баржи, оттуда что-то кричали солдаты. Ему бросили конец веревки, протянули шест, но баржа уже осталась позади. Плавать Игнат почти не умел. Только в Усть-Зейском посту научился немного держаться на воде.

Закрутила Игната вода, в глазах — то скала, то дальний берег, то баржа.

— Держись! Держись! — слышал он крики.

Еще и еще раз окунулся Игнат, наглотался воды и решил, что пришел конец. И оттого, что ничего уже он не властен сделать, Игнат не испугался, не пришел в отчаяние, а как-то смирился с тем, что вот сейчас погибнет. И о Глаше подумал отрешенно: не дождалась... Течение еще раз повернуло Игната и понесло спиной вперед, теперь, выныривая, он видел удаляющуюся баржу и заметил, что там отвязывают лодку, чтобы плыть ему на помощь. Разглядел даже дядьку Кузьму Сидорова. Но разве они успеют...

Вдруг за его спиной раздался сильный всплеск, волна накрыла голову Игната, и тут же он почувствовал, как кто-то ухватил его за воротник. Сильная рука подняла его над водой, и солдат почти рядом увидел смоленный борт баржи, а над головой услышал голос:

— Держитесь, ваше благородие, сейчас подтянем!

А еще через несколько минут Тюменцев оказался на борту второй баржи, которой командовал подпоручик Прещепенко. Мокрый и растерянный, Игнат сидел на палубе и, виновато улыбаясь, щупал голову.

— Батюшки, — говорил он, — фуражку потерял! Братцы, посмотрите, плывет ли?

Обступившие его солдаты хохотали:

— Очумел — фуражки хватился. Ты вот говори спасибо его благородию, что совсем не утоп.

— Так ведь казенное имущество...

Тут же выжимал одежду подпоручик Прещепенко — спаситель Игната.

Надо сказать, что солдаты второй роты недолго любили своего командира. Он часто устраивал им разносы, мог сгоряча даже ударить, правда, если не видел командира батальона, тот рукоприкладства не любил, и солдаты слышали, как он однажды говорил об этом с их ротным. И вот подпоручик, не раздумывая, прыгнул в kloкочущую быстрину, когда тонущий Тюменцев поравнялся с его баржей. Не сделай он этого — пропал бы солдат.

Бывало на ночевках солдаты ругали трудную дорогу, Дьяченко тогда говорил:

— Ничего, чем больше пройдем сейчас, тем ближе Шилкинский завод. А там у нас что, Сидоров?

— Зимние квартиры, — улыбался Кузьма.

— Вот там и отдохнем.

Постепенно отряд поредел. Часть второй роты осталась строить станицу Бибикову. На знаменитом Улус-Модонском кривуне, где Амур делает петлю, длиной почти в восемьдесят верст, высадился с остальной полуротой подпоручик Прещепенко. Наконец, добралась до своего места и первая рота. Здесь строить станицу Кумарскую остался и сам Дьяченко. Отсюда он должен был руководить работой всего батальона. Выше по Амуру, в восьмидесяти семи верстах от Кумары, строила станицы Аносову и следующую за ней Кузнецову третья рота, а еще выше Толбузину и Ольгину возводила рота подпоручика Козловского.

Со строительством станиц надо было спешить. В любое время могли подъехать казаки-переселенцы. Предполагалось, что они сразу начнут копать огороды и косить на зиму

сено. А к осени, к моменту возвращения батальона в Шилкинский завод, для переселенцев должны стоять дома. Поэтому работа на местах новых станиц началась сразу. Еще половина первой роты разгружала баржи, а уже вторая половина застучала топорами. Валили деревья, распиливали их на бревна, ошкуривали.

Длинным показался солдатам этот первый день на новом месте. Зашабашили только на закате солнца, поужинали у костров и расползлись на отдых, кто в оставленные землянки бывшего Кумарского поста, кто на баржи, а кто просто устраивался на берегу, натаскав под бок веток. Но ночь эта никому покоя не принесла. Сразу тучами налетел комар. Как ни кутались солдаты в шинели, нигде нельзя было укрыться от назойливого комариного писка. Казалось, что комары слетелись сюда со всей тайги. Они пробирались в рукава, за ворот шинели, кусали через одежду. Пришлось разжигать костры и коротать ночь в полудреме. Только перед утром, когда потянул ветерок, удалось спокойно уснуть.

Днем, чуть поднялось солнце, налетели пауты, перед вечером мокрец, и теперь везде, где шла работа, разжигали дымокуры. Кузьма Сидоров на следующую ночь обложил себя тлеющими гнилушками и спокойно захрапел, обвеваемый дымком.

— Гляди-ка, что удумал Кузьма, ведь запалится! — говорили солдаты.

— Зато похрапывает как, послушать любо. Дай-ка и я сооружу себе такой дымок.

И скоро по всему лагерю стлался дым, у кого от сырого хвороста, у кого, как у Кузьмы, от гнилушек.

Потянулись дни напряженной работы: скорей, скорей, скорей!

— Поторапливайтесь, ребята! — подбадривал и плотников, и лесорубов капитан Дьяченко. — Вот-вот нагрянут новоселы.

А они уже проплывали, только в другие станицы, что возводились ниже по реке. Медленно тянулись мимо лагеря тяжелые паромы со скотом, бабами, ребятами, казаками. Замолкали в такие минуты топоры и пилы, глухие удары деревянных кувалд, и солдаты высыпали на берег. Командир батальона этому не препятствовал: пусть смотрят на тех, для кого строят.

Проводив караван, опять брались за работу. Кроме строительства станицы, пилили дрова — скоро ожидался с низовий Амура пароход. А он, говорят, этих дров сжигал прорву.

Все знали, что пароход придет, но появление его оказалось неожиданным и праздничным. Еще никто его не видел, все были заняты своим делом, а он издали извещал о себе протяжным хриплым гудком. Гудок этот покрыл все другие звуки. Услышав его, к берегу поспешили те, кто занят был в лагере, а потом стали прибегать солдаты из лесу.

— Пароход! Это, братушки, он! — возбужденно переговаривались солдаты.

— Видишь, что ли?

— А дым-то валит!

— Где?

— Да над тальником. Сейчас и сам выползет.

Шлепая огромным, во всю высоту надстройки, колесом, установленным на корме, коптя небо черным хвостом дыма, показался наконец и сам пароход.

— Во шпарит! Ему и течение нипочем.

«Лена», — читали грамотные надпись на борту и объясняли остальным: «Леной» зовут!»

Пароход причалил к берегу. Навели сходни, и солдаты весело, с видимым удовольствием, принялись загружать его дровами. Кое-кто ухитрился заглянуть в машинное отделение, и потом много было разговоров о «машине», которая пышет жаром и ухаёт, поблескивая маслом в чреве этого плавающего дома.

Через несколько часов «Лена», вновь оглушительно загудев, ушла, и все вернулись к оставленным работам.

Кузьма Сидоров с Игнатом Тюменцевым валили лес. Кузьма ходил с топором, выбирал ровные стволы.

— Как, Игнат, пойдет? — спрашивал он напарника, облюбовав дерево.

— Пойдет, — соглашался Игнат.

Тогда Кузьма прикидывал, куда может упасть лесина, и подрубал с той стороны ствол, а потом они с Игнатом брались за пилу. С трудом вгрызалась пила в сырую древесину, но пилили они без передышки, пока не повалят лесного великана. После усаживались на поваленный ствол, вытирали пот и доставали кисеты. Сидоров — кожаный, купленный много лет назад, Тюменцев — свой, подаренный Глашей. Правильно она тогда сказала: «Будешь курить. Солдаты все курят». Научился Игнат курить. Ну, а тут в лесу без курева нельзя — комары одолеют.

В один из дней свалили они также дерево и сели передохнуть.

— Ну что, покурим, — сказал Кузьма и полез в карман за кисетом. Только кисета там не оказалось.

Он хлопнул себя по другому карману — и там пусто. Для верности вывернул солдат оба кармана — нет кисета.

— Да я его, наверно, у того ствола оставил, что мы прежде свалили! — подумав, решил Кузьма. — Сходи, Игнат, посмотри, ты помоложе.

Игнат пошел к поваленному дереву, обошел его, потом пошарил возле пня и крикнул:

— Кремень твой тут валяется и кресало, а кисета нет.

— Да там он, ты посмотри получше, — откликнулся Кузьма и сам направился к Игнату.

Он вспомнил, что, свернув сигарку, положил кисет на пень, а потом, когда высек искру, на кисет положил кремень с кресалом. Но кисета ни на пне, ни возле пня не оказалось.

— Где кресало-то нашел? — спросил Кузьма.

— Да вот здесь у корня, а кремень чуть подальше.

Походили они вокруг пня, пошарили под стволом, но кисета так и не нашли.

— Чудеса, — недоумевал Сидоров. — А может, я его здесь не оставлял? Да нет, оставил... Куда же он запропастился?

Так ничего не выяснив, они закурили из Игнатовой кисета, а потом продолжили работу.

В тот же день в самой дальней от реки землянке пропал котелок, и кто-то вытряс из ранца у одного из солдат все сухари. Об этом Сидоров и Тюменцев узнали вечером за ужином.

— Сам, поди, умял! — потешались над потерпевшим его соседи по землянке. — Наши-то целы.

— А котелок?

— Котелок — не сухарь, найдется. Его не сжуешь. Может, у котлов забыл...

Чтобы не попасть на язык пересмешникам, Кузьма про свой кисет промолчал.

Через несколько дней все подходящие деревья у реки были вырублены, и солдаты в поисках хороших стволов уходили все дальше от лагеря, в сторону поднимавшейся неподалеку сопочки.

Кузьма и Игнат до обеда валили деревья, а пообедав, обрубали с них сучья и распиливали на бревна. Потом приходил солдат с парой батальонных лошадей, цеплял бревно и волок его в лагерь.

Как-то, свалив несколько хороших осин, Игнат и Кузьма сложили инструменты и пошли в лагерь. Там как раз проиграли сигнал на обед. А когда вернулись, глазам не поверили: у половины поваленных деревьев сучья были обрублены.

— Да наше ли это место? — удивился Игнат.

— Наше, — оглядываясь, сказал Кузьма.

— Слышь-ка, — расхохотался Игнат, — это кто-то из ребят ошибся и за нас тут поработал.

— Не должно, — возразил Кузьма, — на обед никто не опаздывал. И с обеда мы разом выходили.

— Тогда кто, уж не леший ли?

— Это ты брось, в лесу такое не говори.
— Не, дядька, правда. Может, это он тебе за кисет отрабатывал.
— Не болтай, балаболка, — рассердился Кузьма. — Бери-ка лучше пилу, скоро возчик придет.

Они молча распиливали очищенные кем-то от ветвей стволы и думали о неожиданном помощнике. «А вдруг и правда, сам леший! — гадал Игнат. — Вот ведь беда какая, с чего бы это он? Да нет, не должен. Мы же его лес рубим, что он нам помогать будет?» Игнат хотел высказать эту мысль Сидорову, но не решился — опять обругает.

Вскоре послышалось понукание возчика и на тропинке, пробитой за эти дни, показались лошади.

— Ну, кавалеры, я смотрю, вы тут не чесались, — удивился он. — Ишь сколько срубить успели. Торопитесь, будто попу дом строите!

— А что нам, дело привычное, — сказал Кузьма и строго посмотрел на Игната, чтобы он не сболтнул чего не стоит.

Вечером, когда они возвращались в лагерь, Кузьма твердо сказал своему напарнику:

— Ты там про это самое пока не болтай. Нечего зря трезвонить.

— Ладно, — согласился Игнат и, приняхиваясь, сказал: — Что-то мясом вареным пахнет. Ну точно, свежениной.

— Какая тебе тут свеженина! Солонину, и ту варят по норме.

— Да ты понюхай, дядька!

— И нюхать нечего, — рассердился Кузьма.

Но в лагере действительно варили свежее мясо. Прямо к венцам первых домов вышел из кустарника сохатый. Хорошо, что неподалеку стояли в козлах ружья. Капитан схватил одно из них и первым же выстрелом уложил рогача.

Ужин удался на славу. Давно линейцы не ели свежего мяса.

— Есть у нас охотники? — спросил за ужином Дьяченко.

— Да вон Тюменцев! — показали на Игната сразу несколько человек.

— А кто еще?

— Ну, охотников нет, а стрелять все можем, — сказал Кузьма.

— Вот ты, Сидоров, с ним и пойдешь. Завтра до обеда работайте, а потом сходите хотя бы к той сопочке, — распорядился капитан, показывая на единственную возвышавшуюся неподалеку, поросшую лесом сопку.

— Кто ж днем на охоту-то ходит, — заворчал себе под нос Игнат.

Ряба-Кобыла толкнул его кулаком под бок: чего, мол, командиру перечишь, и Тюменцев смирился.

Утром на работу Кузьма прихватил с собой узелок.

— Ты что это, дядя, тащишь? — любопытствовал Игнат.

— Да так, — сказал Кузьма. — Ты знай шагай.

До обеда они, как и прежде, валили деревья. А когда из лагеря донесся звук трубы, Кузьма ударом вогнал в пень топор, оставил рядом свой узелок и сказал:

— Пусть лежит. С охоты будем возвращаться, зайдем и прихватим.

— А не утащат, как кисет?

— Ничего...

Пообедав супом из сохатины, Сидоров и Тюменцев, сопровождаемые шутками линейцев, отправились на охоту.

Вокруг будущей станицы стоял сплошной лес. Кряжистые невысокие дубки, тополя, осины, березы. В низинах ольха, а потом опять тополиные и березовые рёлки и распадки, колючие деревца боярышника, на солнечных прогалинах шиповник. Охотники шли неторопливо, радуясь неожиданному досугу. Когда еще выдастся такой час, свободный от работы.

— Тут, может, до нас никто и не ходил, — сказал, осматриваясь, Игнат.

— Может, и не ходил, — согласился Кузьма. — Ты гляди, какое место зря пропадало! Я вот отслужу да и поселюсь тут с казаками. Буду в лесок ходить да ягоды собирать, а?!

— И много тебе еще служить?

— Я, считай, свое отбарабанил. Еще в поход-другой с вами схожу — и шабаш. Был Кузьма царев солдат, а станет Кузьма уволенным в бессрочный отпуск. То я братовой жизнью жил, а теперь своей начну.

Игнат уже знал, что служит Кузьма по жребию, выпавшему его брату, и считал, что поступил Кузьма правильно. Откажись тогда Кузьма — было бы два обездоленных человека: брат и его жена, а так один.

Показалась невысокая сопочка, к которой они держали путь. Решили ее обойти, посмотреть, не попадется ли какой зверь, а потом с той стороны забраться на вершину, поглядеть, что оттуда видно. Неподалеку от подножия сопки Игнат предостерегающе поднял руку и, вскинув ружье, опустился на колено. Не успел Кузьма сообразить, в чем дело, как грянул выстрел. Игнат вскочил и побежал в мелкий осинник у сопки. Кузьма остановился, а потом пошел за Игнатом, а тот уже спешил навстречу, да так, будто его кто-то преследовал.

— Ты что? — спросил Кузьма.

— Ой, дядя, там змей! Не пойду я туда.

— А коза? Сбил?

— Лежит. Козел это. Да пропади он. Я говорю: там змей полно, не подойдешь!

— Змей испугался! На тебе ж сапоги. Возьми палку и валяй.

— Не пойду! Меня чуть не выворотило, когда я их столько увидел. Прямо кишат.

— Ну, тогда я схожу.

Кузьма оставил ружье, обломал у тополя сухую ветку и осторожно пошел в осинник. Не было его несколько минут. Наконец, сгибаясь под ношей, он показался из чащи. Сбросив с плеч убитого Игнатом козла, он опустился на корточки рядом и сказал:

— Ну и ну, так и шмыгают по сопке. Там их, и правда, видимо невидимо... Покурим али обратно побредем?

— Пойдем. Лучше в другом месте закурим. А меня сюда больше не то что козами — и калачом не заманишь!

Игнат по охотничьей привычке перевязал ноги козла своим ремнем, просунул между ними палку, и, подняв шест на плечи, они не спеша пошли к лагерю.

— Рябинка! — радовался, поглядывая по сторонам Кузьма. — Ух ты, моя красавица! Все вроде по лесам лазим, а оглядеться некогда.

Не сговариваясь, они свернули к месту, где валили лес.

— Смотри-ка, парень, не зря я топор оставил, — вполголоса сказал Кузьма, останавливаясь на вырубке.

У поваленных ими с утра деревьев все сучья были аккуратно обрублены. Они опустили свою ношу и огляделись. Из пня по-прежнему торчал топор.

— Аккуратный работник, — заметил Кузьма.

— А узелка-то твоего нет. Ты что в нем приносил? — тоже вполголоса спросил Игнат.

— Еду... Пойдем посмотрим.

— Пошли.

Тряпка, в которой Кузьма принес кусок вареного мяса и сухари, аккуратно свернутая, лежала рядом с топором. Кузьма поднял ее и увидел под ней свой потерянный кисет.

— Вот и подружился с лешим, — шепнул Кузьма. — Вишь кисет вернул. Он у нас теперь на табачном и прочем довольствии. Отсыпь-ка немного табачку в бумажку. Оставим тут. А трубка и кресало у него, видно, есть. Мою-то он тогда оставил.

Они покурили, передохнули и отправились в лагерь. И хотя Кузьма подшучивал над лешим, который завел с ними дружбу, но все это объяснить себе никак не мог. Еще больше недоумевал Тюменцев, но расспрашивать дядьку не решился.

Охотничьей добыче Тюменцева и Сидорова в роте обрадовались.

— Молодцы, — похвалил Дьяченко. — Будете теперь иногда ходить на промысел. А я

тут ягоду на мари разыскал. Много ее, а не знаю, съедобна или нет.

— Так это же голубица! — воскликнул Игнат. — Самая ягода.

— Ну вот и за ней пошлем кого-нибудь.

О своем таинственном помощнике Сидоров и Тюменцев молчали. Не поверят и засмеют еще. А вреда от него пока никакого нет.

В этот день под вечер подошла к лагерю и бросила якорь в отдалении, не приставая к берегу, большая баржа.

— Братцы, да на ней бабы! — закричал на берегу совсем не по уставу часовой. Он не стоял на месте, притопывал от возбуждения сапогами, вертелся, то призывая линейцев взглянуть на такое чудо, то оборачивался к реке — не показалось ли ему.

Побросав работу, солдаты кинулись к берегу.

— И правда — бабоньки! Ах вы, милашки! — восторгались линейцы.

Женщины тоже облепили борт баржи. Они размахивали длинными широкими рукавами, кричали:

— Солдатики! Айдайте к нам! Хошь поговорим. Ох, милаи, и поговорим жа!

— Да куда же вы, любезные, плывете? — неслось в ответ.

Солдаты, давно не видя женщин, растревожились. Каждый старался что-нибудь крикнуть, да так, что бы его услышали, и от этого в общей перекличке можно было только разобрать: «бабоньки!» да «солдатики!»

От баржи отвалила лодка и направилась к лагерю. Прибывшего на ней офицера забросали вопросами: куда и зачем он везет столько женщин и почему не пристает к берегу?

Офицер — добродушный поручик, уже привыкший к интересу, который вызывали везде его необычные пассажиры, — объяснил, что женщины на барже — ссыльные каторжанки, сопровождает он их в Мариинск и Николаевск.

— Что, разве там каторга? — спрашивали линейцы.

— Отнюдь, — объяснял поручик, — женщины эти будут причислены к 15-му линейному батальону прачками и кухарками...

— А нам нельзя оставить хоть парочку кухарок?

— Да вы бы причадили баржу, ваше благородие! Охота поговорить с бабами. Не съедим же мы их.

— Не могу, никак не могу. У меня приказ, — разочаровал их поручик.

Дьяченко увел гостя в свою палатку, а солдаты, хотя уже начали сгущаться сумерки, долго не расходились.

— А что, ребята, может, пошлем им нашего козла, — предложил кто-то.

— Да он уже варится!

— Вот вареного мяска и пошлем. Они, видно, и забыли про свеженину.

Предложение понравилось, и солдаты гурьбой направились к палатке батальонного командира, спросить у него разрешение.

— Их на барже шестьдесят душ, — сказал поручик, — много потребуется мяса.

— Ничего, ваше благородие, мы им целый котел и отправим. А сами как-нибудь. Мы себе еще добудем.

Дьяченко не возражал, и на баржу отвезли котел с мясом и супом. Охотников везти его нашлось много, и, чтобы не спорить, отправили тех, кто дневалил на кухне.

Солдат на борт не пустили, но они были довольны тем, что побывали рядом с женщинами и успели переброситься с ними несколькими словами.

— Ух, братцы, голова кругом! Столько баб в одном месте!

— Да ты рассказывай, какие они из себя?

— Разве разглядишь? Сбежались к борту, чуть баржу не перевернули. А ласковые, беда! Все: «солдатики, солдатики», — говорю — голова кругом!

Постепенно лагерь уюмонился. Поужинали солдаты, разожгли дымокуры, стали укладываться на ночь, но нет-нет да и оборачивались, поглядывали в сторону реки, где

темным, неясным силуэтом покачивалась тоже затихшая баржа.

И когда все успокоилось и ярко вызвездилось небо, с реки вдруг долетел печальный, одинокий женский голос:

— Игнаша! — несло с баржи. — Игнашечка!

— Что это? — спросил Дьяченко у поручика, который остался у него ночевать.

— Каторжанка одна, — равнодушно отозвался поручик. — Все солдата какого-то ищет. Женихом он ей был, что ли... Где ни остановимся у солдатского лагеря, она его зовет. Прямо как помешанная. Ее уже и товарки ругали, ведь спать мешает. А она никак не успокоится.

А над рекой все так же плыл голос:

— Игнаша! Игнашечка!

— Вон, нашего Тюменцева кличут, — пошутил в темноте унтер.

Шутку подхватили:

— Тюменцев! Что ты дрыхнешь! Бабы тебя за козла отблагодарить желают. Где он, Тюменцев-то? Разбудите его!

Игнат и так не спал. Услышав свое имя, он вострепнулся и сел. Голос был удивительно знакомым. Так могла кричать только Глаша. Но откуда ей здесь взяться, за тысячу верст от деревни Засопошной.

Солдат сидел и слушал. Голос замолк, и только надсадно за дымом тлеющих веток пищали комары. Но вот опять взметнулся над рекой крик:

— Игнаша!

— Ша-а! Ша-а! — отозвалось эхо на другом берегу.

На барже послышались сердитые голоса, там или уговаривали, или ругали эту женщину за то, что не давала покоя другим. Но Игнат уже не мог сидеть и гадать: его ли это окликают или нет? Глаша кричит или кто другой. Он вскочил и побежал к берегу, хотя никак не мог поверить, что Глаша могла оказаться на арестантской барже.

— Ты куда, парень, — крикнул вслед ему Сидоров. — Очумел, что ли? Да откуда твоей Глашке здесь взяться? Подумал бы!

Сидоров больше других был наслышан о Глаше, сочувствовал Игнату, но, чтобы она вдруг появилась на арестантской барже на Амуре, поверить не мог. Думая так, он сердито натянул сапоги и побрел вслед за Тюменцевым. А Игнат уже метался по берегу. Первым его желанием было вскочить в лодку и плыть на зов. Но часовой, хорошо знакомый ему солдат, сердито сказал:

— Не дури, Тюменцев, ишь что выдумал!

И когда опять над мерно плескавшимся Амуром послышалось его имя, Игнат Тюменцев не выдержал и крикнул в ответ:

— Глаша! Гла-аня! Я здесь!

Игнат был готов ко всему, и к тому, что на барже в ответ на его голос рассмеются или крикнут, что там не Глаша, а кто-то другой, но то, что услышал, потрясло его до глубины души.

— Игнаша, Игнаша, милый! Нашла я тебя! — долетело с баржи, и девушка там зарыдала.

Вне себя Игнат принялся сталкивать с берега лодку, но его подхватили под руки Кузьма и часовой.

— Подожди, Игнат, спросим у командира. Он пустит, — уговаривал Кузьма.

Дьяченко вместе с поручиком уже подходил к берегу.

— Что случилось, Тюменцев? Что это ты бушуешь? — строго спросил он.

— Там Глаша! — выкрикнул Игнат. — Я же говорил про нее, вы знаете.

— Ну и ну, — покачал головой капитан. — А ты уверен, что это она?

— Да как же, ваше высокоблагородие, она это, Глаша!

И тут опять с реки раздался крик.

— Подожди, Тюменцев, — сказал капитан и вместе с поручиком отошел в сторону.

Несколько минут они вполголоса говорили, наверно, капитан уговаривал поручика

пустить на баржу солдата, а Игнат в это время кричал:

— Сейчас, Глаша, сейчас! Ты подожди...

Поручик сначала не соглашался, он не имел права даже приставать там, где были населенные места, а тем более разрешать свидание. Но наконец сдался.

Не догадавшись поблагодарить, Игнат столкнул лодку и сел за весла, поручик и солдат из конвоя поплыли вместе с ним. Греб Игнат изо всех сил, и лодка рывками шла поперек течения.

На барже заметили отчалившую от берега лодку, заговорили. Каторжанки опять сбежались к борту, и слышно было, как на них сердито кричит охранник.

Глаша вцепилась онемевшими вдруг руками в перекладину и уже не кричала, а беззвучно шептала: «Игнаша, Игнаша...»

Но вот лодка коснулась бортом баржи.

— Пустите ее в лодку, — приказал кому-то поручик.

Глаша, путаясь в полах длинного арестантского халата, перевалилась через борт. Игнат подхватил ее и бережно принял в лодку. Ноги не держали девушку, и она безвольно опустилась на колени. И вот лодка мчит к берегу. Солдат-охранник сел вместо Игната за весла. А Игнат тоже стал на колени, лицом к Глаше, и обхватил ее вздрагивающие плечи. Так они простояли до самого берега, не сказав друг другу ни слова. Им не хотелось, чтобы кто-нибудь услышал ни слова ласки, ни слова отчаяния, которые они произнесут.

Их оставили на берегу до самого, уже не далекого в эту короткую июльскую ночь, утра. Солдаты, собравшиеся к приходу лодки, сразу же понимающе разошлись. Игнат тут же, только отойдя в сторону от барж и лодок, разжег небольшой костер, принес шинель с номером «13» на погонах и усадил на нее Глашу. И когда он неловко сел рядом, Глаша уткнулась лицом в его грудь и, всхлипывая, торопливым жарким шепотом, точно опасаясь, что ее прервут и не дадут все высказать, стала рассказывать о своей беде. Она верила, что где-нибудь непременно увидит Игната, и эту исповедь уже не раз повторяла про себя, ожидая встречу, которая наконец состоялась.

Так Игнат узнал о том, что еще зимой, после того, как он ушел в солдаты, Глаше начал не давать проходу сын лавочника Илюха. Как из-за него она перестала приходить на посиделки, а Илья подстерегал ее у колодца, шатался с гармонью у ее дома. А подружки говорили: «Вот повезло тебе, Глашенька! Такого жениха, как Илюха, и в самой Чите не сыщешь». И маманя с тятьей заметили и тоже в один голос: «Ты, девка, зря от Илюхи-то бегаешь. У батюшки его лавка, и вона новый дом затеяли ставить».

— Но я тебя ждала, Игнаша, солдатик ты мой...

Игнат сидел, осторожно поглаживая прильнувшую к нему девушку, и так ясно видел все, о чем она ему рассказывала, словно сам был в то время в Засопошной. А Глаша говорила и говорила, прижимаясь к нему, словно ища защиты. Она лишь иногда поднимала голову, чтобы взглянуть ему в глаза, и опять прятала лицо.

Весной, когда отец с матерью уехали на пашню, а Глашу оставили высадить рассаду, Илюха подстерег ее в огороде. Глаша не услышала его осторожных шагов, а он подкрался и, обхватив ее, стал целовать.

— Я вырвалась, Игнаша, и во двор, а он за мной. Я забежала в сарай и захлопнула дверь. Но он же здоровый. Как я ни держала, он дверь распахнул и пошел на меня, расставив руки. Ой, Игнаша, там тятя приготовил косу. Она висела на стене, и я наткнулась на нее спиной. Я схватила ее, косу-то, и закричала: «Не подходи!», а он идет...

Спали утомленные солдаты, и умиротворенные их лица обвеивали дымки дымокуров; утомонились растревоженные неожиданным событием женщины на барже. Они вдоволь посудачили о том, повезло девке или, наоборот, не повезло. Но даже те, которые ворчливо говорили: «Какая уж это встреча! Да лучше бы ее и не было», — теперь сонно чмокали губами, будто искали других губ, и прижимали скрещенные руки к груди, обнимали во сне кого-то близкого и желанного.

А темнота уже начала редеть. Робко свистнули в стороне у берега кулички, перелетели,

пересвистнулись подальше. Плеснулась в реке рыба, за ней другая, а может быть, та же самая. С криканьем пронеслась над погасшим костром Игната одинокая утка. Засвирители, затенькали, пробуя голоса, птицы в прибрежных кустах. И вот уже налилось прозрачным, еще не розовым, но уже теплым светом небо на востоке, а звезды поблекли.

Игнат и Глаша, не заметившие, как пролетела ночь, не видели этих первых примет наступающего утра. Они то замолкали, тесно прижавшись друг к другу, то оба начинали вспоминать свою деревеньку, соседей, всех девок и парней; и как они сами шли в свой единственный и последний вечер, и жалели, почему они тогда так быстро расстались. А то вдруг шептали волновавшие обоих слова, в которые они вкладывали всю свою нежность. А слов этих было совсем немного: солдат называл имя девушки, а она его.

— Ой, ноженьки-то, сидючи, затекли. Пойдем, Игнаша, пройдемся.

Вдоль берега, куда они пошли, рос не тронутый топорами березняк. Он еще хранил ночную темноту, только стволы деревьев в нем проглядывали белыми колоннами.

— Игнаша, любимый ты мой, — прислонившись спиной к березе и распахнув свой грубый арестантский халат, сказала девушка. — Обними ты меня пропащую... Нет, не так, не так, погоди, — отстранила она его, когда Игнат неуклюже приник к ней.

Глаша высвободила руки из просторных рукавов, и халат упал к ее ногам. Она порывистыми движениями сбросила платье и стала перед солдатом, белея рядом с белой березой своим обнаженным девичьим телом.

— Вот теперь обними...

Солнце еще не взошло, но уже даже в чащу березняка проникал алый свет июльского утра.

Над лагерем прозвучала труба. Для Игната и Глаши этот звук был неожиданным и противоестественным, он был сама несправедливость, словно жестокая кара за минуту счастья. Но уже строил роту унтер-офицер Ряба-Кобыла, раздались какие-то команды на арестантской барже, а восток пылал, готовясь через какие-то мгновения встретить солнце. К берегу шагал поручик, у лодки, почесывая искусанные комарами руки, его ожидали конвойные солдаты. Пришла пора расставаться. Игнат и Глаша, держась за руки, пошли, как в ту свою единственную осеннюю ночь они шли по улице родной Засопошной, пошли к разлучнице-лодке. И Глаше казалось, что пока она держит руку Игната, с ней ничего не может случиться. А Игнат, теперь уже он обещал, что не оставит Глашу, что найдет ее на далеком Нижнем Амуре, может, придет туда со своим батальоном, может, доберется сам. Пусть она ждет.

Глаша слушала его, не отвечала, только умиротворенно, про себя улыбалась его словам, будто шла она не на арестантскую баржу, а под венец.

Дьяченко приказал не тревожить сегодня солдата, не наряжать его на работу. Пусть простится, пусть отойдет немного от своей беды.

Но отчалила от берега лодка, а потом, дождавшись ее, снялась с якоря баржа, и оттуда донесся протяжный крик:

— Прощай, Игнаша!

Это было все. Стой не стой — Глашу уже не разглядеть в толпе других каторжанок. И Тюменцев, махнув рукой, но не Глаше, а от отчаяния, оттого, что ничего изменить нельзя, подобрал шинель и побрел разыскивать Кузьму Сидорова, своего напарника по работе.

Кузьма, прихватив пилу и топоры, уже ушел в лес. Он знал, что Игнат придет, что человеку надо забыться, а лучше всего горе забывается в работе.

Рота была занята своим делом, будто ничего не произошло. Уже белели отесанными бревнами первые венцы рубленных в лапу домов. Там у плотников раздавался голос унтер-офицера Ряба-Кобылы. За этими начатыми домами солдаты корчевали кустарник под следующий дом и ходил с рулеткой, обмеряя площадку, батальонный командир. В разных концах прибрежного леса шаркали пилы или стучали топоры. Игнат все это видел и не видел, слышал и не слышал. Ему бы сейчас упасть в траву и покататься по ней, завыв от

отчаяния, или напиться так, чтобы все забыть. Но он шел по знакомой тропинке на стук топора Кузьмы Сидорова.

Вот топор Кузьмы, ударив последний раз, замолк, и потом заходила, постанывая, пила. «Наверно, кого-то послали с Кузьмой вместо меня», — равнодушно подумал Игнат, не убыстряя и не замедляя шагов. Открылась прогалина поредевшего от вырубki леса с помятым от падения деревьев кустарником, со сваленными беспорядочно ветками и повядшей на них листвой. А в конце прогалины Кузьма вместе с каким-то рослым незнакомым солдатом подпиливали первую в этот день лесину. Лицо великана солдата заросло многодневной щетиной, волосы давно были не чесаны, а одежда его вся износилась и изорвалась. Но пилили Кузьма и тот солдат хорошо, сразу приладившись друг к другу, пила весело повизгивала и, играючи, ходила, вгрызаясь в ствол. «Ишь, как ладно работают, — подумал Игнат. — Кто ж это такой с дядькой?»

Он подошел поближе, и тут только солдат, увлеченный работой, заметил его. Он выпустил из рук пилу и, перепрыгивая через валежины, побежал в чащу. Кузьма растерянно оглянулся, увидел Игната и, поняв, кого испугался его помощник, крикнул вслед солдату:

— Михайло, дурень, да куда ты? Это свой!

Но солдата уже не было видно.

Кузьма выпустил из рук пилу и сказал Игнату:

— Одичал совсем, каждого куста боится. То ж наш помощник — «леший». А если по правде, то беглый солдат Михайло по фамилии Лапоть. Михайло! — крикнул он опять. — Да не хоронись ты, как тот заяц! Вылазь, говорю!

Лапоть молчал. Или забежал так далеко, что не слышал Кузьму, или откуда-нибудь из укрытия приглядывался к Игнату.

— Пришел я, — стал рассказывать Кузьма, — выбрал лесину. Думаю, дай я ее подрублю, пока Игната нет. Только это примерился топором, слышу, кто-то меня окликает: «Кузьма, слышь-ка, Кузьма!» Оборачиваюсь — никого! Что такое, — думаю, — показалось, что ли? А из кустов опять «Кузьма! Подойди-ка сюда!» Я, парень, даже оробел. Опять про лешего вспомнил. Накликали, думаю, мы его на свою голову. А сам виду не подаю, стою, топоришком покачиваю и отвечаю: «Чего шумишь-то, тебе надо, ты и подходи». Ну, он там пошебуршал в кустах и вылезает. Мать ты моя, и правда, как леший. Грязный весь и оборванный. Я, веришь, тягу хотел задать. А он упреждает: «Ты не бойся, я тоже солдат». Вижу, верно, у него на плече один погон болтается с четырнадцатым номером. Ну, подошел он, разговорились, оказывается, бежал он из 14-го батальона. С унтером там подрался... А тебя, брат, как подвело, — сказал он вдруг Игнату. — С лица сразу сдал и под глазами вон сине... Да вон он вылез, Михайло-то.

Озираясь по сторонам, к ним нерешительно подходил Михайло Лапоть.

— Ты как узнал, что меня Кузьмой зовут? — спросил у него Сидоров.

— Я за вами давно смотрю. Ну, слышал, что вы тут балакали.

— Вот дурень, — сказал Кузьма Игнату, — он тут одной рыбой да ягодой питался. И сухари из землянки это он утянул, ну кисет мой тоже... Как же ты дальше решил? Что делать-то думаешь?

— Не знаю, — потупился Михайло. — Пока лето, буду тут возле вас, а как зима привалит, придется объявиться.

— Запорют тебя.

— Запорют, — согласился Михайло.

— Вот голова пропащая, и что с тобой делать?. А ты, Игнат, и не ел, поди?

— Да когда же... — ответил Игнат.

— Тогда ступай в лагерь. Капитан велел тебя сегодня не трогать. Ты пойди прихвати свой завтрак и сюда. Похлебаете с Михайлом.

Игнат сходил в лагерь, принес полный котелок каши, солдаты на кухне, зная о его беде, удружили, а за это время Кузьма и Михайло свалили дерево и принялись за новое.

— Он не только изголодался тут, а и по работе соскучился, — сказал Сидоров. —

Загонял уж меня. Ну, ешьте, а я покурю.

За едой Лапоть рассказал, как сманил его староверческий поп бежать на реку Бурею. Плыли они только по ночам, чтобы не попасться никому на глаза, а днем отсыпались, вытащив на берег лодку и спрятав ее в кустах. Питались рыбой, какая попадалась в прихваченную еще в Усть-Стрелочной станице мордушку. Но неуживчивым оказался в компании попишка. Все ворчал, что Михайло много ест. Соль у попа была, так он ее прятал, а потом объявил, что потерял. Михайло не поверил, осерчал и маленько потряс попа. Соль нашел, отбрал, а поп в тот день, когда они пристали здесь неподалеку и солдат уснул, столкнул лодку и удрал. Проснулся Лапоть — ни лодки с мордушей, их кормилицей, ни попа.

— Да... Что же с тобой делать? — раздумывал Кузьма. — Заметит кто, донесет капитану, схватят ведь тебя, дурня.

— Не дамся! — Михайло потряс кулачищами.

— Куда ты денешься, если с ружьями пойдут!

— А я на Змеиную горку. Туда никто не полезет. Змей там пропасть.

— Охотились мы там, знаем... Ну, Лапоть ты и есть лапоть. Однако давайте работать.

До сигнала трубы, созывавшей на обед, они, подменяя друг друга за пилой, валили лес втроем. А услышав трубу, Кузьма решил сам сходить в лагерь и принести еду.

— Скажу, Игнат, мол, кручинится, на люди идти не хочет, мы с ним в лесу поедем.

Он выпросил побольше похлебки, прихватил лишних сухарей и со всем этим вернулся к Тюменцеву и Лаптю. Когда с едой управились, Кузьма, облизав ложку и спрятав ее за голенище, сказал Михайле Лаптю:

— На-ко тебе, парень, табачку. Закури да уходи, куда подальше. А то скоро возчик за бревнами подойдет. Заметит тебя.

— И правда, пойду, — поднялся Михайло. — Я там вершу сам смастерил, может, рыба попалась.

— Во-во, иди, да на глаза никому не попадайся. И погон свой сорви, а то по номеру видно, что не наш ты. Твой 14-й батальон весь на Зее-реке.

Капитан Дьяченко вечером построил роту и похвалил Сидорова и Тюменцева. Бревен они в тот день заготовили столько, сколько за день никто еще не заготовлял. Кузьма переглянулся с Игнатом: «Спасибо, мол, лешему». На следующий день капитан собирался поехать посмотреть, как идет работа в четвертой роте. Кузьму он перевел к плотникам, Игната брал с собой. «Пусть отвлечется от своего горя в дороге», — решил он.

А «леший» — Михайло Лапоть, в эту ночь почти не спал. Вода пошла на убыль, и рыба в его вершу попадалась часто. И если до этого, поймав несколько сомов или карасей, он прекращал рыбалку — все равно рыбу долго не убережешь, жарко, — то теперь он решил обрадовать уловом своих новых приятелей.

11

«Устье Зеи, 35 верст выше Айгуни,
(по-китайски) или Сахалан-Ула
(по-маньчжурски). 15 июля 1857.

Мои милые, мои добрые сестры, моя добрая Мери!

К тому, что писал я Вам... я ничего не могу прибавить, как только то, что я прибыл сюда жив и здоров. Ежели Вы присоедините к этому мое мучение видеть каждый час мои баржи, становящиеся на мель, потому что Амур обмелел значительно, или Вы вообразите состояние моего духа, когда с каждым обмелением я принужден терять не только часы, но дни, отдаляющие наше свидание, то Вы будете иметь обстоятельное понятие о моем путевом маршруте. Ах, как бы я желал Вас увидеть в наших мирных краях Селенгинска, изъятых из

всех треволнений, в которые я теперь брошен!

Не ждите от меня описаний туриста тех красот природы, которыми я теперь окружен. У меня не достает ни времени, ни спокойствия духа для описания. У меня одно на уме: вперед и вперед! И на каждом шагу я встречал препятствия, с которыми должен бороться.

...Я воображал Вас в прекрасный селенгинский вечер расположившимися на лужку, покрытом зеленью и цветами, с дымящимся самоваром, с мальчиками, бегающими за жучками и бабочками. Я воображал... бог знает что, и просыпался, но среди забот и усилий — тщетных и отравляющих даже надежду — хотя окруженный дикою прелестью всех красот природы, девственной и величественной.

Мои добрые сестры, милая Мери. Это письмо, может быть, будет последнее из этой страны света, почем знать, может быть, последнее на этом свете. Я бодр духом, крепок телом — но все мы ходим под богом, — и тогда не поминайте меня лихом. Любите друг друга и помогайте взаимно друг другу. Только союзом крепко и общество, и семейство. Не оставляйте моих малюток. Если не для меня, то для них, Мери, будь благоразумна как мать и крепка как член общего семейства. Целую всех вас без изъятия крепко. О! Как бы я желал еще раз вас увидеть! Целую и благословляю моих малюток. Я никак не мог предполагать что так тяжело быть в разлуке с близкими сердцу. Но бог не без милости. Я надеюсь, и мне голос сердца уверяет в надежде скоро вас обнять всех, чтоб никогда не разлучаться.

Вас истинно любящий М. Бестужев».

Усть-Зейская станица, или официально — станица Усть-Зейской Амурской сотни, располагалась вдоль берега выше устья Зеи. Плетенные из ивняка и обмазанные глиной дома ее начали прорасти. И странно было видеть зелень побеги, проклюнувшиеся из стен.

— Вот так и внутрь растет и наружу, — жаловался есаул Травин, встретив Михаила Александровича на берегу. — Но ничего, двадцать пять домов уже построены, двадцать пять вполнину готовы, — с гордостью сказал он, отправляя за щеку свернутый кусочек листового табака. — И все за полтора месяца! Тут с прошлого года только землянки нашего поста были и больше ничего.

Есаул обвел рукой пространство, занятое готовыми и строящимися зданиями, и добавил:

— А к осени поставим еще двадцать пять! Часовню вон заканчиваем, станичное правление готово. Вот только медленно казаки подъезжают... А вы далеко путь держите?

Михаил Александрович сказал, что плывет с караваном на Нижний Амур и хотел бы встретиться с генерал-губернатором.

— Палатка его далековато, однако пройдемте, — пригласил есаул.

Они шли по истоптанному, покрытому щепой и опилками берегу. Навстречу попадались то солдаты, то казаки. Кругом чувствовалось оживление, и Бестужев сказал об этом своему провожатому.

— Это что, сейчас здесь народу помене. Вверх ушел 13-й батальон. Да вы их, наверно, встречали в пути. Две роты майора Языкова вниз сплавились. Господа Венюков, Кукель, Хильковский тоже там. Всех поразогнал его высокопревосходительство. Спешит. Он ведь скоро уезжает в Иркутск.

— Здравствуй, капитана! Далеко гуляй на баржах, капитана? — кланяясь, спросил у Бестужева торопливо шагавший к его баржам китаец.

— Здравствуй! — ответил Михаил Александрович. — К морю плыву.

Китаец, изобразив на лице восхищение, зацокал языком.

— Ух, далеко! Все баржи твоя?

— Мои.

— Еще у капитана есть баржа?

— Есть.

Китаец всем своим видом показывал удивление и дальней дорогой «капитана», и тем, что у него так много барж.

— Посмотри баржи можно?

— Что ж, смотри...

— С-пасибо, капитана, — китаец, торопливо закивал головой и мелкими шажками засеменил к берегу.

— Это У-бо, китайский унтер-офицер. Любопытен очень, все ходит будто по базару, присматривается, только что не приценивается, расспрашивает, — предупреждая вопросы Бестужева, объяснил Травин.

— Как они тут к вам относятся?

— Да, в общем, хорошо. Понимают, что если мы на Амуре, то сюда не полезут англичане. «Ингри» — как их называет этот самый У-бо. Уж они-то постарались бы зажать Китай в тиски — с юга и с севера. За Гонконг вон как зацепились...

Заговорили о подъезжающих переселенцах.

— Его высокопревосходительство раздражен. Под какое еще настроение вы к нему попадете. Сотни, назначенные к переселению и сюда, и на устье Буреи, прибывают медленно. Люди, что приезжают, — бедняк к бедняку. Как-то Сам прогуливался по берегу и заметал бабу, полоскавшую в реке тряпье. Подошел он к ней, видит: плачет баба. «Ты что?» — спрашивает. Казачка та его не узнала, был он в простой шинели, и по-бабьему понесла: «Как не плакать, батюшка! На старом месте хоть жили плохо, да все-таки у богатых людей зарабатывали и кормили ребятишек, а тут, чтоб им ни дна ни покрышки на том свете Муравьеву и Хильковскому, вон куда загнали! А этот Хильковский, чтоб ему подавиться, моего-то мужика угнал совсем без жребия: жребий достался богатому, тот дал ему взятку и остался, а нас скрутили и отправили...» Генерал-то наш скор на гнев, осерчал, беда... — рассказывая это, Травин вспоминал, как и самому довелось выдержать генеральский разнос. Вспомнив это, есаул поежился и продолжал:

— Хорошо, что Хильковский уже уехал на Бурею, а то бы не миновать ему беды. Так Сам ему с Кукелем вдогон письмо отправил. У генерала писарчуком был наш казачок, он нам про письмо-то сказывал. Там, мол, написано, что по окончании строительства на Бурее вернуться Хильковскому в Забайкалье и подать в отставку. А ежели покажется генералу на глаза, то будет предан суду. Лично мне, мол, известно, что ты, Хильковский, брал взятки.

...Муравьев встретил Бестужева холодно, стал упрекать за опоздание, но, слушая объяснение Михаила Александровича, быстро отошел. Знал он декабриста еще по Иркутску, принимал у себя в доме и, когда Михаил Александрович поведал о неточных картах и частых мелях, вдруг усмехнулся и сказал:

— А я ведь на вашей сидейке проехал! Где же это было? Да, в Усть-Стрелочном карауле. Отличный экипаж!. Ну, что там вверху? Как идет строительство станиц?

Михаил Александрович стал рассказывать о том, что видел. Генерал слушал сначала сидя, потом вскочил и заходил по палатке, довольно потирая руки.

— Все-таки успеем! — вдруг воскликнул он. — Правда, казачьи семейства прибывают с опозданием, но до наступления холодов они обстроятся и приготовятся надлежащим образом для первой зимовки. А следующим летом, как по мановению волшебной палочки, здесь уже будут стоять обжитые станицы.

— Николай Николаевич! — с жаром воскликнул Бестужев. — Меня всю дорогу не оставляет мысль, не покупаем ли мы столь великое предприятие на медные гроши?!

— Что вы имеете в виду? — сразу помрачнел генерал. — Скромность наших расходов на освоение края? — генерал остановился против декабриста. — Если так, то я более других ощущаю этот недостаток. — В глазах у Муравьева заплескали искры, он был доволен своим ответом.

— Там, где такой недостаток восходит на степень общего явления, — отдельно сказал Бестужев, — там нужно искать причины его гораздо глубже — в самом общественном порядке. В крепостном состоянии...

Муравьев помолчал, пристально вглядываясь в глаза собеседнику, потом устало махнул рукой и вяло сказал:

— Десять лет назад я написал «Опыт возможности приблизительного уравниения состояний и уничтожения крепостного права в Русском царстве, без потрясений в государстве». Там имелись такие строки, которые я помню до сих пор: «Крепостное состояние, постыдное, унижительное для человечества, не должно быть терпимо в государстве, ставшем наряду со всеми европейскими государствами, заслуживающем справедливый упрек всего образованного мира...»

Удивление, которое так ясно отразилось на лице Бестужева, вызвало улыбку Муравьева, и, довольный, он продолжал:

— Но теперь я на десять лет старше. Вы же, декабристы, закричали об освобождении крестьян тридцать лет назад. Значит, вы, Михаил Александрович, стали старше на тридцать лет! Думаю, что и у вас, и у меня ныне другие заботы. Однако мы с вами еще успеем поговорить. Да! — вдруг вспомнил он, — у Шишмарева для вас есть письма. Зайдите к нему, его палатка рядом. А вас я жду к себе вечером.

Михаил Александрович, может быть, слишком поспешно покинул палатку генерал-губернатора. А через несколько минут он держал в руках письма из дому. Это были первые письма после тех, что он получил в Усть-Стрелке. Два конверта, побывавшие в разных руках, пока они из Селенгинска добрались сюда, на устье Зеи, помялись и потерялись, и сам их вид говорил о дальней дороге. Скорее к себе, прочесть их спокойно на берегу! Шишмарев, обрадованный приходом нового человека, приглашал Бестужева остаться, поговорить, тем более что скоро обед и будет отменная уха. Но Михаил Александрович спешил побеседовать с родными.

Удивительно, как могут обрадовать самые простые вести из семьи. Малютка Коля уже сидит и улыбается, когда к нему подходят. Лола все носится по улице, шейка и ручки до локтей у нее загорели! А вот еще. Что такое? Селенгинский медик Петр Андреевич привил Коле оспу. Это уже тревожная новость. Дай бог, чтобы операция эта кончилась благополучно! Как все это перенес мальчик, ведь он совсем малыш, а Петр Андреевич не имеет законченного медицинского образования. Но будем надеяться на providение.

Вечером Михаил Александрович был у губернатора в палатке, освещенной мерцающим светом двух свечей. Пахло дымом. У самого полотняного входа тлел дымокур. В лагере 14-го батальона шла переключка, потом горнист проиграл зорю и ухнула пушка.

Муравьев собирался возвращаться в Иркутск, и Михаил Александрович попросил его взять с собой письма, которые он написал жене и сестрам.

— Кто ваша супруга? — поинтересовался Муравьев.

— Казачка. Коренная сибирячка...

— А у меня, как вы помните, французенка. И я вынужден был здесь, на востоке, противостоять Франции, которую люблю не только за то, что полюбил французенку.

Может быть, желая польстить генерал-губернатору, или, пытаясь вызвать его на откровенность, Шишмарев, скромно сидевший верхом на походном стуле и поправлявший до этого фитиль обгоревшей свечи, сказал:

— Да, Англия и Франция — наши противники, а вот Венюков как-то сказал, что они произвели в Азии первый толчок европейских начал.

Но фразой этой он затронул не Муравьева, а Бестужева. Михаил Александрович встрепнулся и горячо сказал:

— Очень уж грубыми были эти «толчки». Нанкинский договор с Китаем заключен после пресловутой Опиумной войны, когда флот и морская пехота Британии вторглись в почти беззащитный, слабый в военно-техническом отношении Китай. А коммодор Перри стучался в двери Японии «рукояткой меча», как писала сама американская пресса. Нет, Яков Парфентьевич, утро цивилизации Азии было хмурым утром.

Шишмарев не спорил, он совсем непоследовательно с тем, что говорил раньше, сказал:

— В Восточном океане уже рыщут на парусах и на парах флоты Англии, Америки, Франции, громят порты Китая и Японии, ищут прибылей. Пока они получили отпор только

от русского медведя в Петропавловске. Правда, с Англией и Францией сейчас мы замирились.

Муравьев, с интересом слушавший обоих, заговорил, не дав закончить Шишмареву:

— Восточносибирское побережье России становится явно угрожаемым, как угрожаемы и берега Китая и Японии. Россия обязана историей, своим будущим иметь удобные и надежные пути к Восточному океану, более удобные, чем тот путь верхом, который однажды совершил я через Якутск.

Генерал, возбужденный собственными словами, встал и, раскачиваясь на носках, закончил:

— Появление в водах Восточного океана флотов новых пароходных империй показало и Китаю, что для организации сопротивления он должен иметь друзей, одинаково заинтересованных в своей безопасности. Интересы России и Китая в этом совпадают, и китайцы, кажется, начинают это понимать...

Разговор затянулся за полночь. Ночевать Михаил Александрович остался у Шишмарева в его небольшой палатке, где они долго еще говорили о слухах, которые ходили про готовящееся освобождение крепостных.

— Ежели мы до этого часа доживем, — сказал, уже погасив оплывшую свечу, Шишмарев, — вы, декабристы, можете тогда сказать, что не зря пролилась кровь на Сенатской площади.

...В Усть-Зейской станице Бестужев прожил несколько дней, поджидая растянувшиеся на добрую сотню верст отряды своего каравана, но, так и не дождавшись самых последних, отправился в дальнейший путь.

— Ну вот, — сказал ему на прощание Шишмарев, с которым Михаил Александрович, несмотря на разницу в возрасте, успел подружиться, — впереди у вас Айгунь, потом будут три наших новых станицы, а дальше, от Хингана до самого Мариинска, кричи не кричи — голоса человеческого не услышишь. Правда, мы ждем пароход «Амур» с американскими товарами. Его вы должны встретить. Значит, собираетесь в Америку?

— Собираюсь.

— Ну, счастливого плавания!

— Да, — вспомнил Михаил Александрович, — успел ли к отъезду Венюкова унтер-офицер Жилейщиков, топограф?

— О, с этим топографом было немало неприятностей. Узнав о его позднем прибытии, Николай Николаевич вспылил, а тут еще Моллер заверил, будто транспорт для топографа имелся, да он сам не пожелал на нем плыть. Николай Николаевич приказал Венюкову разжаловать Жилейщикова из унтер-офицеров и высечь. Михаил Иванович влетел в мою палатку бледный и заявил, что приказание не исполнит, хотя бы это стоило ему потери академических аксельбантов и изгнания из Восточной Сибири. Он и правда до отъезда на Бурею прятал своего топографа, приказав ему ходить в шинели без погонных галунов и не показываться на посту. По-моему, сейчас Николай Николаевич забыл об этом случае и о топографе...

Ну, еще раз счастливого плавания!

12

Бревнышко по бревнышку поднимались срубы новых домов будущей станицы Кумарской.

— Может, зазимует здесь, а? — говорили солдаты. — Добрые хаты получаются!

— Давай, ребятушки, пошевеливайся! — подбадривал плотников унтер-офицер Ряба-Кобыла.

Прошла неделя, как уехал капитан Дьяченко вверх по реке смотреть, как идут дела в четвертой роте, и строительством в Кумаре командовал Ряба-Кобыла. В отличие от других

унтеров, которых знавали линейцы, был он добродушен, на вид будто все время сонный и не драчлив. Может, поэтому и слушались его охотно.

— Давай, ребяташки, давай! — покрикивал он и сам подставлял плечо под бревно, помогал тащить его к срубу.

А если кто говорил: «Да мы и так не сидим, стараемся...» — унтер досадливо морщился, словно стягивал тесный сапог, и рассказывал всегда одну и ту же прибаутку:

— Жучка, значит, Трезора в гости звала: «Приходи, Трезор!» А Трезор ей: «Не могу, кума, недосуг». — «А что так, Трезор?» — «Да, — говорит, — завтра хозяин за сеном едет, так надо впереди бежать да лаять».

Солдаты уже не раз слышали эту прибаутку, но все равно весело похохатывали.

Кузьма Сидоров работал на срубе, ладили последний венец. До вечера, пожалуй, этот сруб будет готов. Оставалось подогнать два бревна и уложить балки, а там можно крыть потолок. Сидел Кузьма на стене верхом, как на лошади, и вырубал выемку для плахи, а сам изредка поглядывал в кустарник, ждал, когда оттуда засвистит по-птичьи Михайло Лапоть. С тех пор как уехал командир, Кузьма прятал в этом кустарнике еду для беглого солдата. Лапоть прокрадывался туда, забирал котелок и оставлял пойманную за ночь рыбу. А чтобы Кузьма знал, что он был в кустарнике и у него все в порядке, подавал сигнал.

Иногда Кузьме удавалось оставить работу и, якобы по нужде, сбегать в чащу, провести Лаптя. Михайлу тянуло к людям, а показаться он не мог, и, как дитя малое, радовался приходу Сидорова.

— Объявиться мне, что ли? — уже не раз говорил он. — Что я, как волк, в лесу прячусь.

— Ой, дурень! — возражал Кузьма. — Батогов захотел?

— Да стерплю...

— Во Леший, а! — ворчал Кузьма. — И чего ему не живется. Рыбку удит, спит сколь хочет, как тот барин.

— Да я робить хочу... — признавался Лапоть, — и спать в лесу одному-то знаешь как!

— Что тебе в штрафном батальоне бабу под бок положат? Лапоть ты и есть лапоть.

За рыбой, пойманной Лаптем, Кузьма приходил ночью. Тащил ее сначала к реке, а оттуда нес на кухню и объяснял, что проверил снасти и вишь сколько попало. Линейцы радовались: хороший приварок!

Но сегодня условного посвиста из кустов не раздавалось, видно, Лапоть где-то бродил.

На соседний сруб поднимали бревно. Ряба-Кобыла помог подать комель его на стену и полез по приставленным чурбакам, чтобы помочь затянуть его наверх. Нижний конец бревна поддерживали на весу два солдата. Унтер уже уцепился руками за верх сруба, но тут чурбаки под его ногами расползлись, унтер-офицер покатился вниз, схватился руками за бревно, и оно поехало по стене. Один из солдат, бросив нижний конец, подбежал к унтеру, чтобы задержать падение бревна, но не успел и, сбитый ногами унтера, оказался вместе с ним под бревном.

Солдаты на срубе бестолково суетились. Тот, что один держал теперь нижний конец бревна, кричал:

Ой, помогите! Ой, не удержу!

От дома, где работал Кузьма, на помощь кинулись плотники, но их опередил выскочивший из кустарника Михайло Лапоть. Он в несколько прыжков оказался возле щуплого солдата, из последних сил державшего тяжелое бревно. К счастью, конец бревна, скользивший по стене, у самой земли уперся в чурбак. Ряба-Кобыла упал на спину и кряхтел, подпирая бревно снизу руками. Второй солдат оказался под ним и во весь голос орал.

Михайло подхватил комель бревна, легко поднял его и оттащил в сторону. Подоспевшие солдаты помогли подняться унтер-офицеру, высвободили солдата и стали ощупывать у них руки и ноги — целы ли.

Кузьма, прибежавший вслед за другими, локтем подтолкнул Михайлу: «Давай, мол, уходи!» Тот, пользуясь суматохой, отступил за сруб и незаметно скрылся в кустарнике.

Ряба-Кобыла и солдат отделались синяками и ссадинами. Уже через несколько минут все потешались сначала над солдатом, который кричал: «Ой, не удержу!» — потом над тем, что оказался под унтер-офицером. Скоро бы дело дошло и до унтера, но он вдруг вспомнил:

— А кто это нас из-под бревна вызволил?

Солдаты, спохватились, начали оглядываться:

— Братцы, и правда, кто это?

— Здоровый черт, не наш, видать!

— Как так не наш, когда, кроме нас, тут никого нет?!

Кто стал говорить, что тот солдат соскочил со сруба, кто утверждал, что неизвестный прибежал с пристани. Гадали, куда он делся. Один Кузьма знал правду, но он помалкивал, а про себя думал: «Вот Леший! Ну, Леший!»

От разговоров о неизвестном человеке роту отвлек уже знакомый гудок парохода. «Лена», сходя в Шилкинский завод, с большим опозданием возвращалась в Усть-Зейскую станицу за генерал-губернатором. Опять сбежались на берег линейцы, опять удивлялись и величине колеса, и надстройке в виде домика с башенкой. Уважительно посматривали на капитана, который, высунувшись из башенки, зычным голосом подавал команды.

— Вот ведь придумает человек такое: ни весел, ни шестов, ни бечевы, а идет!

С удовольствием таскали дрова на палубу, заглядывали в трюм, где пыхтела машина. А проводив пароход, долго не расходились с берега.

На следующий день Кузьма сам воспользовался помощью Михайлы. Сруб первого дома он с другими плотниками закончил еще вчера и теперь работал на другом конце станицы. Там начинали закладывать новый дом. Он был самым крайним от пристани и углом, как баржа носом, упирался в осинник.

Плотничал Кузьма вдвоем с тем самым солдатом, которого вчера придавило бревном. К полудню они уложили два венца, и работа стала — кончились бревна. Штабель их лежал, но далеко, вдвоем не дотащить, а больше солдат Ряба-Кобыла не дал. Сегодня он много людей увел на заготовку леса. Покурил Кузьма со своим напарником и решил пойти отесать несколько бревен прямо у штабеля, а там, может, подойдут солдаты, помогут дотащить их к срубу.

Только начали они ошкуривать бревна, как из кустарника донесся свист Михайлы.

— Что-то живот у меня сегодня, будь ему неладно, бурчит, — сказал Кузьма солдату. — Ты тут теши, а я сейчас.

Он ухватился за штаны и побежал в кустарник. Солдат, занятый работой, даже не обернулся. Лапот сидел в кустарнике и выскребал из котелка деревянной ложкой кашу.

— Ну, брат, — присел возле него Кузьма, — удивил ты всех. Как очухался унтер, давай пытаться: кто такой был?

— И что?

— Да ничего. Ты вовремя скрылся. Поговорили, поговорили, и все. Рыба-то есть?

— Нет сегодня. Видно, вода на прибыль пошла.

— Ну ладно. Тогда бывай, я пойду.

— А я посижу, погляжу, как вы робите.

— Сади, пока народу в лагере мало, — согласился Кузьма и ушел к срубу.

Отесал он со своим товарищем два бревна и подумал: а не позвать ли Лаптя. Людей близко нет, а Михайло силен, как медведь. «А, была не была, — решил Кузьма, — позову». И сказал солдату:

— Слушай, не позвать ли нам подмогу?

— Где же ее возьмешь?

— А если лешего кликнуть?

— Какого-такого лешего? — насторожился солдат.

— Того самого, что тебя вчера из-под бревна вызволил.

— Ну, ты брось, — испугался солдат. — То был кто-то из наших, а он — «лешего». Ишь, что придумал! — солдат даже сплюнул.

— Я все же позову, — сказал Кузьма, повернулся и закричал: — Слышь-ка, Леший, иди помоги!

Солдат осуждающе посмотрел на него, потом на кустарник и сердито сказал:

— Ты с этим брось-ка шутить!

В это время кустарник зашевелился, и над ним поднялась нечесаная и давненько не бритая физиономия Лаптя. Солдат ухнул и, пригнувшись, кинулся за штабель. Кузьма и не рад был, что так над ним пошутил.

— Эй, куда ты?! — крикнул он. — Это свой...

Но солдат затаился где-то за бревнами. А Михайло уже подошел к Сидорову.

— Бревна вот надо подтащить, а товарищ мой убежал. Живот у него, что ли, схватило, не знаю, — сказал Кузьма.

— Эти, что ли? — спросил Михайло, ткнув носком перетянутого лыком сапога в отесанное бревно.

— Эти самые. Ты подожди, сейчас я дружка своего посмотрю.

— Не шуми, — заявил Михайло. — Ты мне только помоги лесину на спину взвалить.

— Ой, пуп надорвешь!

— Давай, берись-ка...

Вдвоем они подняли бревно на спину Лаптя, тот обхватил его сверху, пошевелил плечами, крикнул и поволок.

— Ай, Леший! — суетился рядом, пытаясь тоже помочь, Сидоров.

Но Михайло сердито буркнул ему:

— Не лезь-ка!

Оттащив бревно к самому срубу, они вернулись за вторым. Тут, рассмотрев «лешего» и осмелев, вылез из-за штабеля и солдат.

— Ну сила у тебя, как у бугая, — сказал он.

— Это что, — довольно сказал Михайло, — наваливайте второе.

Кузьма и солдат запротестовали:

— Надорвешься.

Они втроем отнесли отесанное бревно, потом еще несколько, чтобы был запас, и Кузьма отправил беглеца:

— Давай-ка, Михайло, иди с богом. Скоро из лесу народ вернется.

С того дня Михайло не раз помогал Кузьме, когда надо было приложить его силушку: притащить что-нибудь тяжелое или подать бревно на верх сруба. Лаптя уже знали солдаты, работавшие вместе с Кузьмой, и, когда не было близко унтер-офицера, просили Кузьму:

— Дядька, ты бы кликнул своо Лешего.

Михайло целые дни проводил в осиннике рядом с домом, где плотничал Кузьма. Солдаты делились с ним махоркой, оставляли для него еду.

Станица постепенно росла. Уже два дома были под крышами. Линейцы настилали в них полы, мастерили двери. Поднимались срубы остальных десяти домов. Ждали возвращения капитана. Ожидали переселенцев-казаков. Паромы их проходили, но все в другие станицы.

Часто, тюкая топором, Кузьма вспоминал своего тезку — Кузьму Пешкова. И надеясь, что бывалый казак одолел болезнь, мечтал: «Переселился бы Кузьма сюда, в Кумару. Я бы упросил капитана выделить ему лучший дом». И виделось Сидорову, как ведет он Пешкова по новой станице Кумарской, подводит к добротному срубленному дому, открывает дверь и приглашает: «Милости просим! Заходи, Кузьма, любезный друг, занимай избу. Сам рубил для тебя и дочки твоей Насти». А к вечеру притащит Михайло свежей рыбки. Нажарят они ее, наварят, и будут пировать в новом доме на самом берегу Амура и вспоминать то прошлогодний поход, то как рубили эту станицу. А Пешков, как всегда, расскажет какую-нибудь бывальщину, слышанную от дедов, про давние походы казаков, про Албазинское воеводство.

Шел к концу июль. Перепадали короткие дожди. Накатывались они чаще всего под

вечер. Ночью чертили небо молнии, а утром как ни в чем не бывало сияло солнце. По пояс поднялись неподалеку от станицы луговые травы.

— Эх, косить бы, да некому, — горевали пожилые солдаты. — Что это казаки не едут. Без сена останутся...

В один из жарких дней, когда, набравшись знойного тепла, обжигали даже отесанные бревна, Кузьма с другими плотниками уселся на перекур в тени подведенного под крышу дома. К солдатам выбрался из лесу и Михайло.

— Сейчас покурим и будем балки поднимать. Поможешь, Михайло, — сказал Сидоров.

— Знамо дело, — охотно согласился Михайло.

Покурили, поговорили о том, что хорошо бы окунуться в Амуре, обмыть пот, и принялись за работу. Затянули наверх одну балку, Михайло подлез под вторую, и тут неожиданно появился унтер-офицер Ряба-Кобыла.

— А это что за человек? — спросил он, увидев Лаптя.

Лапоть от неожиданности чуть не уронил балку. Однако, как будто ничего не произошло, поднес ее к дому, прислонил к стене, а после этого отряс от мусора ладони, вытянулся, как в строю, и доложил:

— Солдат Михайло Лапоть.

— Он нам помогает, — заговорили линейцы. — Ох и здоровый! Силы у него, что у троих.

Кузьма Сидоров, чтобы выручить приятеля и не дать ему сказать что-нибудь лишнее, проворно спустился со сруба и тоже вступил в разговор:

— Хороший солдат. Это он ведь бревно подхватил, когда вы упали.

— Откуда ты здесь взялся?

Лапоть поскреб затылок и хотел выложить все, что с ним произошло, но Кузьма его опередил:

— Отстал он. Еще в том году отстал, как со сплава возвращались.

— Ты что, всю зиму здесь прожил?

— Как есть всю зиму в лесу, — опять вместо Лаптя, цепляясь за мысль, подсказанную самим унтером, ответил Сидоров. — Гляди, как зарос и оборвался.

Тут пришла очередь чесать затылок унтеру.

— Тебя, поди, и в живых не считают! — сказал он.

Как ни туго соображал Михайло, но он догадался, куда клонит Кузьма, и охотно подтвердил:

— Так точно, не считают...

— Вот задача, — сказал унтер. — И не знаю, как тебя теперь считать, или героем, или дезертиром.

— Герой он! — загалдели солдаты. — Это ж надо, один в лесу столько. Не гоните его, господин унтер-офицер.

— Куда его гнать. Я думаю, оденем его, на довольствие поставим, на работу определим.

— Он у нас и так давно работает.

— Чего ж молчали?

— Опасались мы, — сказал Кузьма, — как вы посмотрите.

— А чего смотреть. Приедет командир, разберется!

В тот день выдал Ряба-Кобыла Лаптю сапоги, шинельку, шаровары, рубаху стираную и погоны с цифрой «13» на них. Окорнали ему вечером длинные волосы, побрили, и стал он утром в строй роты, как будто тут и был.

находился он в дороге. Побывал в третьей и четвертой ротах, строивших станицы Аносову, Кузнецову, Ольгину и Толбузину. До осени в них намечалось поставить по пять домов. Было видно, что солдаты с работой справятся, тем более что во все эти станицы уже прибыли переселенцы и тоже помогают. А у подпоручика Козловского в Толбузиной даже вскопали огороды. Косят сено и в Толбузиной, и в Ольгиной, и в Кузнецовой.

Козловский закончит свои две станицы первый и просится, неугомонный человек, дальше на Амур. Пришлось пообещать ему на будущий год самую дальнюю дорогу.

Сплавлялись наконец вслед за лодкой капитана казаки и в станицу Кумарскую. Плыли вместе со своим казачьим начальством. Многолюдно станет в Кумаре.

Теперь надо выбрать время и съездить к Прещепенко на Улус-Модонский кривун и в Бибикову. Хорошо, что едут казаки, для такой поездки можно воспользоваться их конями.

За веслами в лодке капитана сидит Игнат Тюменцев. Он тоже просится дальше на Амур, вслед за своей несчастной невестой. Уже несколько раз спрашивал, не пойдет ли батальон дальше. Но ему-то, пожалуй, ничем помочь нельзя.

— Ты ж, Тюменцев, боялся Амура, — напомнил ему капитан.

— Так то было раньше, — вздыхал Игнат.

Нет пока никакого решения по делу Михнева. Все понимают, что нельзя ему оставаться до старости юнкером. Но многое, оказывается, решают бумажки с двуглавым орлом на круглой печати. И какой-то из них в деле Михнева нет. И никто ничего не может сделать, даже всеильный генерал-губернатор. Так и командует пока третьей ротой юнкер.

Но о Михневе он еще поговорит с генералом, а вот о своем деле напоминать просто неудобно. Все считают капитана командиром батальона. Но, хотя он и командует им, растянувшимся сейчас на четыреста верст по левому берегу Амура от реки Буренды, где строится Толбузина, до урочища Нарасун, где заложена станица Бибикова, все-таки он исполняющий обязанности командира. То ли, как у юнкера Михнева, мешает какая-то неподписанная бумага, то ли кто-то противится этому назначению. А Николай Николаевич в приказах пишет: «13-й батальон, под командованием капитана Дьяченко».

Станица Кумарская встретила капитана оживленным рабочим шумом, а главное, чему особенно обрадовался Яков Васильевич: ровным строем протянулись вдоль невысокого берега срубы новых домов. Солдаты, завидев лодку, а за ней плоты, направлявшиеся к их пристани, кинулись к берегу. Но Ряба-Кобыла догадался, что это плывет капитан, и, употребив несколько крепких словечек, навел порядок и построил роту. А сам, одернув рубаху, побежал докладывать батальонному командиру, что в первой роте все в порядке.

Яков Васильевич, не скрывая радости от возвращения, улыбался в ожидании рапорта. Потом он направился к строю и поздоровался с солдатами. Выслушав бодрый ответ, зашагал вдоль шеренги, выровненной по ранжиру, с удовольствием разглядывая знакомые лица. Рядом шел Ряба-Кобыла и рассказывал, что несколько домов уже готовы, но в батальоне нет печников, и он не знает, как быть. Может, кто из приехавших казаков умеет класть печи.

— Что?! — капитан остановился и громко, так, что бы слышал весь строй, сказал: — Как это нет печников? Линейцы должны делать все. Даже дьячком в церкви петь, если понадобится. Не может быть, чтобы среди стольких молодцов не оказалось печника! Кто берется сложить печи, три шага вперед!

Строй замер, казалось, что на призыв никто не откликнется, но тут правофланговый, самый рослый, рябоватый солдат отпечатал три шага.

— Ну вот, — довольно сказал капитан. — Я же говорил, что линейцы сумеют. Так ты сможешь сделать печь?

— Так точно! — отрапортовал солдат.

— Подожди, — спохватился капитан, — а ты кто такой? Что-то я тебя не помню.

— Михайло Лапоть! — доложил солдат.

Унтер-офицер Ряба-Кобыла, топтавшийся рядом с капитаном, вполголоса объяснил:

— Тут такое дело, ваше высокоблагородие. Отстал он в прошлом году зимой от отряда. Вот, говорит, и жил один тут в лесу. Как он к нам вышел, мы прямо обмерли. На человека не

похож. Одежка на нем обносилась, сам зарос будто леший. Солдаты его за то до сих пор Лешим кличут.

— Как, говоришь, твоя фамилия? — переспросил капитан, пораженный этим случаем.

— Так что, Михайло Лапоть...

Фамилия эта показалась знакомой капитану. Где-то он ее слышал, но где, припомнить не мог. «Наверно, встречалась в списке погибших солдат батальона», — подумал Яков Васильевич.

— Ну, Михайло Лапоть, — сказал капитан, — да ты понимаешь, что ты герой! Вот будет проезжать его высокопревосходительство, я о тебе доложу. Надеюсь, он будет рад.

— Может, не надо, ваше высокоблагородие! — вырвалось у Лаптя.

— Ничего, ничего. Раз ты отличился, значит, надо. А пока я благодарю тебя за службу!

— Рад стараться! — как положено отозвался Лапоть, а сам подумал: «Пропал, ой, пропал! Теперь не избежать мне розог».

Кузьма с тревогой слушал этот разговор, опасаясь, как бы Михайло не выдал себя. Но все обошлось. Батальонный командир приказал продолжать работу, сам он вернулся на берег к разгружавшим плоты переселенцам.

Линейцы тоже с удовольствием потолкались бы среди новоселов, поговорили с казаками, поглазели на казачек, но пришлось разойтись по своим местам.

Кузьма спросил одного, другого казака о Пешкове, но те его не знали. Были они из других станиц. И Кузьма отправился к своему срубу.

С берега доносилось мычание коров, ржание лошадей, лаяла собака. Скот, истомившийся за дальнюю дорогу, рвался на твердую землю. Пока разгружался первый плот, подошел второй. Коровы на нем, не дождавшись, пока плот пристанет и казаки уберут загородку, проломали ее и одна за другой бросились в воду. Выбирались они на берег мокрые и, задрав хвосты, не слушая хозяйских окриков, бежали к зеленой траве.

Зазвенели в станице и детские голоса. Мальчики сразу сгрудились вместе и, потолкавшись немножко, бегом припустили к домам. Девчонки жались к подолам матерей. Звякнули ведра, послышались причитания — кто-то уронил узел в воду.

Не прошло и часа, как все мешки с зерном и картофелем, ведра и котлы, узлы, сундуки с самым ценным, что было у хозяев, казачьи ружья, конская сбруя, телеги и сани — все оказалось на берегу. Даже кто-то прихватил две оконные рамы и резные наличники. И мужчины казаки, вслед за командиром второй Кумарской сотни, молодым еще зауряд-есаулом и капитаном Дьяченко гурьбой направились осматривать свое будущее жилье.

Казачата уже обегали все дома, облазили землянки, познакомились с линейцами и, нисколько не дичась их, забирались на срубы. Перебивая друг друга, они рассказывали плотникам, как плыли, когда кого захватил в дороге дождь, где сидели на мели и чьего тятю приказал выпороть зауряд-есаул.

— Дай, дяденька, топор, — попросил у Сидорова босой мальчишка, лет семи-восьми, наверно, еще в станице перед отъездом стриженный под скобку; сейчас черные волосы его лохматились, закрывали лоб, а под ними посверкивали веселые озорные глаза.

— Зачем тебе топор? Казаку нужен конь да сабля.

— Шаблей дерево не рубят. А ты вона как ладно щепки делаешь. Дай, и я так-то попробую!

— Ты, я вижу, шустрый, — сказал Кузьма. — Только я не щепки делаю, а бревно обтесываю.

— Вот и я потешу.

Казачонок схватил протянутый ему топор и с размаху всадил в бревно так, что без Кузьмы не смог его высвободить.

— Не так, брат, не так, — учил его солдат. — Надо сначала зарубку сделать. Вот. А теперь с краю к зарубке и стесывай.

— Дай, дай. Так-то и я смогу.

Казачонок действительно быстро приспособился и скоро сам снял довольно ровную щепу.

— Богдашка! Вот он ты где! — увидела казачонка мать. — Не мешай тут. Побежали-ка, по домам разводить будут.

— Я скоро приду, дяденька, — убегая за матерью, пообещал мальчишка.

— Казачка-то ничо, — сказал Михайло, провожая молодую, ладную женщину взглядом. — Телесная баба. Ишь-ишь как идет.

С этого дня жизнь в станице стала совсем не похожа на ту, что была раньше, когда солдаты жили одни. Зауряд-есаул распределил новоселов по домам. Во многих селились по две семьи.

— Ничо, — говорили казаки, — перезимуем.

— А што? Проживем...

Мужчины с утра отправлялись косить сено, корчевать участки под огороды. Казачки обмазывали избы, варили и стирали солдатам.

Неожиданно Михайло оказался у женщин в большом почете. Окликали они его ласково: «Ле-е-шай!» — решив, что у великана-солдата такая фамилия. Мастеров-плотников среди линейцев было немало, а печник всего один. Вот и бегали бабы за Лаптем, ожидая, когда он примется за печь в их доме.

Подручным Михайло взял себе Игната Тюменцева. Когда они вырыли яму и стали месить в ней глину, сразу сбежались казачата. Как было не посмотреть на такое интересное дело. Скоро мальчишки сами, засучив портки, позлазили в яму. А там подошли бабы и решили, что негоже мастеру самому месить, пусть он займется печами.

Печи Михайло бил из глины. На бревенчатый подпечник они с Игнатом устанавливали один в другой два сруба, а в промежутки между ними деревянными молотами набивали глину. Казачки подносили ее и бойко напевали:

Глина бела, плотно бейся,
Гори ясно ты, аргал;
Высоко, дым белый, взвейся,
Чтобы милый увидал.

Но до того как взвивался дым над трубами, проходило немало времени. Хозяйки досаждали солдату просьбами. Одной подпечка казалась малой, другая просила задвижку сделать пониже. Третья очень любила печурки.

— Да зачем тебе их столько, одна есть и ладно, — сердился Лапоть.

— И-и, Лешай, сухарики сушить, грибы. Мужичу рукавицы зимой подсушить. Сделай еще одну.

Лапоть, соорудив печь, оставлял ее на неделю сохнуть и заглядывал через день-другой только затем, чтобы подмазать трещины. Когда печь, на его взгляд, просыхала, он, не доверяя это никому, затапливал ее сам. Бабам Михайло говорил, что они могут сразу развести большой огонь и печь развалится. На самом же деле он любил наблюдать, как печь оживает.

Вот занялась от искры береста, затрещала, стала сворачиваться в кольца и осветила печной свод, еще сырой, отдающий землей. Михайло по палочке подкладывает на бересту сухой хворост. Не зная огня глиняная утроба печи обволакивается дымом. Он нехотя, будто ища выход, ползет в тягу, а больше в избу. Но дымоход быстро подсыхает, и дым уже уверенно тянет в одну сторону. Заработала печь, пошла. Теперь можно подкинуть мелких дровишек. Сейчас они затрещат, запыхают, разгорятся и начнут постреливать угольками.

Хозяйка снаружи щупает печь: холодна, не греет. А Лапоть поучает:

— Сейчас эту вязанку сожжешь, и хватит. Завтра две вязаночки. А там топи вовсю. Будет твоя печь и гореть, и греть. Бывай здорова! Если что, позовешь...

Однажды ночью спящую после трудового дня станицу разбудил гудок «Лены». Ночь

выдалась лунной, и посмотреть на ставший у лагеря пароход сбежались и солдаты, и казаки.

Дьяченко, предполагая, что на пароходе находится генерал-губернатор, построил на пристани роту, зауряд-есаул своих казаков, и оба они направились к лодке. Но тут капитан вспомнил о Лапте и решил представить его Муравьеву. Случай-то был исключительный!

— Лаптя ко мне! — крикнул он.

К удивлению Ряба-Кобылы, Михайло в строю не оказалось.

— Дрыхнет где-нибудь, — доложил, obeжав строй, унтер-офицер.

— Ладно, утром разберемся, — сказал капитан, увидев, что на пароходе размахивают фонарем, приглашая его на борт.

Генерал-лейтенант Муравьев не спал. Он встретил капитана и зауряд-есаула на палубе и, не перебивая, выслушал рапорт того и другого.

— Завершайте намеченные работы, — сказал он капитану. — О возвращении батальона на зимние квартиры получите приказ.

Зауряд-есаул просил позволить казакам его сотни съездить осенью на Шилку, убрать хлеб.

— Под вашу ответственность, — разрешил генерал, — и только самому необходимому количеству людей. Мы спешим, — тут же сказал он. — Сейчас будем сниматься с якоря. Желаю успеха, господа.

Яков Васильевич собирался доложить губернатору о подвиге Михайлы Лаптя, но Муравьев торопился, да и Лаптя не оказалось в строю, и он промолчал.

А Михайло, услышав гудок парохода, спрятался в кустарнике и просидел там до тех пор, пока «Лена» не отошла. Все это время он со страхом прислушивался, не станут ли вновь выкликать его фамилию. «Уж генерал-то, — думал он, — знает, что я бежал из-под стражи». Михайло не ошибался, генерал-губернатор сам подписывал приказ о розыске беглого солдата Михайлы Лаптя.

Затаившись в кустах, Лапоть слышал, как пристала к берегу лодка батальонного командира, затих вдали шум паровой машины «Лены» и шлепки о воду плиц ее колес. Ряба-Кобыла распустил строй, солдаты разошлись, и Лапоть, отмахиваясь от комаров, направился в землянку.

— Кажется, обошлось, — сказал ему Кузьма. — Капитан тебя, дурня, больше не спрашивал.

Лапоть довольно засопел и забрался на нары.

С первого дня, поделив дома, казаки заняли их — и почти готовые, и те, что были возведены под крыши, и даже те срубы, которые еще рубились.

— Мешают, — жаловался Ряба-Кобыла Дьяченко. — Приходят солдаты утром, а там молодки еще спят, пеленки сушатся.

— Ничего, — успокаивал его капитан, — зато солдаты видят, что надо быстрее заканчивать станицу, люди-то ждут.

А тут сотник потребовал, чтобы строили ему дом, который еще не был начат, и станичное правление. Казачки, встречая Ряба-Кобылу, просили срубить им баньку.

— Хоть одну на всех, господин унтер-офицер. Мы уже вас попарим. Наши молодки веничком вас постегают. Уважьте, господин унтер-офицер!

Постепенно станица приобретала обжитой вид. Задымили трубы, как где-нибудь в Усть-Стрелке или Цурухайтуе. Гудело в печах пламя, выпаривались они, обсыхали. И трогая их надежные бока, чувствовали казачки под ладонями живое тепло. Протопталась как-то сама собой дорога вдоль ряда домов. И если бы не пни повсюду, да не щепы и опилки, никто бы не сказал, что стоит Кумара всего-навсего первое лето.

А в первый дождливый день задымила и банька. Ряба-Кобыла и Кузьма Сидоров, желая угодить бабам, срубили баньку за день. А вот чтобы сложить в ней курную печь — каменку, потребовался камень. Камень был только на Змеиной сопке.

— Как хошь, — заявил унтеру Кузьма, — а на сопку я не ходок. Один раз побывал и хватит.

Тогда Ряба-Кобыла объявил казачкам:

— Ну, бабы, банька готова, а за камнем пусть съездят ваши мужики. А нам недосуг.

Казачки ночью прожужжали уши казакам про камень и баньку, и утром две подводы отправились к Змеиной сопке. Через час оттуда прибежал взволнованный казак и доложил зауряд-есаулу, что камень на сопке есть, но взять его никак нельзя.

— Однако правильно прозвали сопку Змеиной. Змей там видимо-невидимо. Подступиться не можем.

Зауряд-есаул накричал на казака и пошел к сопке сам, но и он вернулся, отплевываясь.

— Бесово место, лихоманка его дерит. Змей там столько, что и не подступишься! — пожаловался он Дьяченко.

Капитан приказал унтеру вызвать охотников. Ряба-Кобыла привел к Дьяченко Михайлу. Лапоть попросил у капитана пороха и запал.

— Рвануть надо, и камень поколется, и гады разбегутся.

Через некоторое время на змеиной сопке гроыхнул глухой взрыв, согнав скворцов с черемухи и перепугав ворон, а потом вернулись подводы с камнем.

И вот в самый дождь, когда приостановились все работы, истопили баню.

Первой отправилась мыться семья зауряд-есаула. Сам он важно шагал впереди со свежим березовым веником под мышкой. За ним, подоткнув юбку и накрыв голову от дождя деревянной шайкой, поспешала жена, а рядом, ухватив ее за подол слева и справа, мальчишки-погодки.

— Ну, слава те, господи, — умилялись казачки. — Вот и сотник париться пошел. Все как дома!

А мелкий дождь, несмотря на август, моросил по-осеннему. И когда через час зауряд-есаул босиком, засучив штанины с лампасами, с сапогами, переброшенными через плечо для сохранности — на дороге ведь грязь, а сапоги-то новые, — распаренный плелся из бани, один из казаков, не разобрав, что это сам сотник, пробежал мимо, не отдав честь, зауряд-есаул остановил его и, накричав, вlepил оплеуху.

— И впрямь, все как в станице! — решили видевшие это казаки.

После дождей капитан Дьяченко, оставив главным печником поднаторевшего в этом деле Игната Тюменцева, взял с собой Михайлу Лаптя с казаком-коноводом и верхом отправился во вторую роту, к подпоручику Прещепенко. До Улус-Модонского кривуна считалось верст семьдесят. Добралась туда на следующий день перед вечером.

Подпоручика в лагере не оказалось. Встретившие батальонного командира линейцы и казаки рассказали, что на кривуне в лесу много волков. Они загрызли у переселенцев несколько овец и телят.

— А сегодня растерзали какого-то человека. Вот ротный наш туда и ускакал вершим.

Капитан вместе с Лаптем и двумя местными казаками отправился на место происшествия. Прещепенко он встретил на полпути до второй части станицы. Станица на Улус-Модонском кривуне строилась двумя поселками по четыре дома каждый, отдаленными друг от друга версты на три.

Оказалось, что часа два назад солдаты, направлявшиеся во второй поселок, слышали отчаянный крик, вызывавший о помощи. Они бросились на зов и увидели трех волков на дороге. Выстрелами солдаты разогнали стаю и нашли растерзанного человека.

— Хотите взглянуть? — предложил подпоручик. — На солдата не похож. Думали мы, что манегр, но одежда не та.

Возле могилы, которую в стороне от дороги торопливо рыли солдаты, лежало тело растерзанного. Михайло Лапоть вместе со всеми подошел к трупу и, приглядевшись, хотя уже начало темнеть, по лаптишкам да обрывкам рясы узнал в погибшем своего спутника старообрядческого попа. Так и не добравшись он до реки Буреи. Из всех, кто был здесь, Михайло один что-то знал об этом человеке. Знал, но сказать не мог.

Так и зарыли в темноте под надсадный комариный писк бунтаря-попа, искавшего

вольных мужиков; зарыли, как неопознанного безымянного бродягу.

Вечером в лагере второй роты казаки говорили про Бурею, совсем не зная, что туда стремился растерзанный волками человек. По рассказам их выходило, что и луга там хорошие, не в пример здешним, а главное — земля плодородная.

— А здесь разве плохое место? — спросил Дьяченко.

Казаки оживились, переглянулись.

— Ничего, место просторное, — сказал один.

— Да как сказать, чтобы вам дать понятие, — вздохнул другой, — просторное-то оно, просторное, худо, что луга далеко. Сено-то косим верст за пять. А скот туда через гору и лес не погонишь. Да вот и волки...

— Зверя тут много, ваше высокоблагородие.

— Так это хорошо, что зверя много. Будете охотиться.

— Однако, верно. Да когда охотиться? Нынче устраиваемся, а там служба пойдет. Вот и курьеров то в Усть-Зею, то обратно возим. А на Бурею рассказывают — благодать.

Наутро капитан отправился с Прещепенко во второй поселок, что стоял на противоположном конце Улус-Модонского кривуна.

Ночью, рассказав о делах в роте, о том, что много времени отнимает сплав леса в Усть-Зейский пост, о других ротных заботах, подпоручик оставил капитана в своей палатке, а сам вышел с гитарой и долго сидел на пне, перебирая струны. Яков Васильевич засыпал, просыпался, а Прещепенко все наигрывал что-то печальное.

— Что это вам не спалось? — спросил капитан по дороге.

— Ох, не поверите, как надоела тайга! В город хочется, хоть плачь. Я второй год на Амуре без выезда. Чуть задумаюсь — и вижу Иркутск. Белые стены, зеленые крыши церковей, извозчики, вывески на французском. Толпа народа. Папирос иркутских хочу! Отличные папиросы тамошние купцы делают из турецкого табака. Только смотреть за ними, шельмами, надо, чтобы из маньчжурского не подсунули. С визитами бы походить... А вас разве не тянет в Иркутск?

Яков Васильевич ответил не сразу. Он тоже рвался в далекий сибирский город, но не из-за городских соблазнов, а из-за сына.

В полуроту добрались без приключений. Прещепенко словно подменили. Он с гордостью показывал построенные дома, плоты бревен, готовые к отправке в безлесную Усть-Зею, поленицы дров.

— И здесь тоже ничего не было, — говорил он, — а теперь хоть маленькая, да станица. Спросят когда-нибудь: «Кто построил станицу Бибикову?» А казаки скажут: «Линейные солдаты».

Линейцы, слушая ротного, улыбались.

— Забудут, — сказал кто-то.

— Может, и забудут, — согласился Дьяченко, — да мы-то будем знать, что наш 13-й линейный Сибирский батальон срубил летом 1857 года ни много ни мало, а семь станиц. — И он, загибая пальцы, стал перечислять: Бибикову, Корсакову, Кумару, Аносову, Кузнецову, Ольгину, Толбузину.

Солдаты довольно пересмеивались, переговаривались.

— Бибикова-то, вот она, — осмелел один из них, — и где остальные? Мы их не видели.

— Увидите, — пообещал капитан. — Поплывем на зимние квартиры, во всех побываем.

— А скоро на зимние-то?

— На то они и «зимние», чтобы зимой в них бока отлеживать, — отшутился капитан.

...Собственноручный приказ генерал-губернатора о порядке возвращения на зимние квартиры Дьяченко получил, вернувшись в станицу Кумарскую. Доставил его курьер, приехавший на казачьих лошадях из станицы Бейтоновой.

— Его высокопревосходительство вне себя, — рассказывал курьер. — Представляете, не доходя до Албазина, «Лена» села на мель, и генерал вынужден был продолжать путь на

простой лодке с навесом из досок и коры. И это первое лицо во всей Восточной Сибири.

Пока курьер говорил, капитан читал приказ. 13-й батальон должен был окончить работы и следовать в Шилкинский завод в конце сентября. День за днем отсчитывал свое время август, а дел оставалось еще много. Во всех станицах были недостроенные дома, требовалось успеть заготовить дрова для навигации будущего года, помочь казакам накосить сено, отправить с Улус-Модонского кривуна еще несколько плотов леса.

Вместе с приказом о возвращении батальона, в том же пакете, пришло распоряжение о розыске беглого солдата 14-го линейного батальона Михайлы Лаптя. «По опознании такового, — прочел капитан, — следует немедленно взять преступника под стражу».

Распоряжение это расстроило Якова Васильевича. Добродушный исполнительный солдат, к тому же мастер на все руки понравился капитану. Яков Васильевич собирался послать Михайлу во вторую роту, чтобы известить Прещепенко о сроке возвращения, а тут оказывается, что Лапоть — преступник.

Слушая рассказ курьера, разбитного казачьего урядника, о мытарстве в дороге, о том, как он менял лошадей в Толбузиной и Ольгиной и чуть не утонул, переправляясь через речку Ульмин, капитан думал, как же теперь ему поступить с Лаптем? Если следовать распоряжению, то солдата надо сейчас же взять под стражу. Но тогда рота лишится печника — вон как обрадовались казачки его возвращению! Им кажется, что печи, которые сделал Игнат Тюменцев, горят совсем не так, как те, что бил Леший. Да и в дальней дороге силач-солдат пригодится. А из-под стражи он может опять бежать. Охранять Лаптя придется знакомым ему солдатам. И капитан решил ничего не говорить Лаптю до возвращения в Шилкинский завод.

С этой мыслью, приказав накормить разговорчивого курьера, он отправился к новому дому, который строили для командира кумарской сотни.

Совсем по-деревенски мычала в конце станицы корова и перекликались казачата, тащившие в подолах задранных рубашонок собранные на вырубках грибы. И дым из труб пах домашним уютом совсем не так, как пахнет дым походных костров.

— Ле-ша-ай! — слышался певучий женский голос из дома с еще не вставленными оконцами. — Ты уж постарайся, дяденька. Зима-то здесь лютая. Чтоб печка-то грела...

— А казак твой что, али не согреет? Я б тебя и на холодной печке пригрел.

— Ну ты, что баишь-то! — притворно сердилась казачка.

— Лапоть! Ко мне! — неожиданно для себя позвал капитан.

Разговор в доме оборвался, и в дверях, с руками до локтей измазанными глиной, показался Михайло. Следом за ним тревожно выглянула казачка.

— Пошли, поговорим! — направляясь к своей землянке, сказал капитан.

Об этом разговоре, длившемся почти час, узнали только Кузьма Сидоров да Игнат Тюменцев. Им о нем сообщил сам Михайло. Капитан прямо сказал солдату, что есть распоряжение об его аресте. И пришлось Михайле рассказать командиру все, как было, с того дня, когда он ударил унтера, до того, когда прибил к батальону.

— Ну, а капитан что? — поинтересовался Кузьма.

— А что! Дурень ты, сказал, вот что. Пропадешь ты за зря, сказал.

— И я говорил тебе, что дурень ты и есть, — вздохнул Кузьма.

Что ж потом? Как он решил? — не терпелось узнать Игнату.

Лапоть заулыбался, хлопнул себя по коленкам, сказал:

— Ой, ребята, я это сужу, жду — сейчас кричать начнет, а то вызовет Ряба-Кобылу и отправит меня под арест. А он походил по землянке, встал против меня и говорит: «Вот что, Михайло. С этого часа и с этого дня забудь, что у тебя была фамилия Лапоть. Будешь ты теперь солдат 13-го линейного батальона по фамилии Леший. Так я тебя и в список роты включу, так прикажу унтер-офицеру на поверке выкликать. Понял?» А я ему говорю: «Как не понял! Да меня Лешим тут все кличут. Спаси вас бог, ваше высокоблагородие!» Он тогда: «Иди, Михайло Леший, да постарайся той чернявой казачке получше печь сделать!» Я от него бегом. Заскочил в дом, где печь робил, обхватил на радостях хозяйку и закружил. А она

мне: «Ты что, солдатик, здесь-то! Неровен час кто заглянет. Ужо потерпи. Я тебя опосля за печку отблагодарю...»

— Ну, ты не дури, — предостерег Кузьма. — Узнает ее мужик и тебе, и ей шею намылит.

— Не, он целый день на покосе. А хозяйка-то мяконькая. Дуней кличут, — но тут же посерьезнев, Михайло сказал: — Командир мне теперь как отец родной. А что я буду не Лаптем, а Лешим, так это — тьфу! Перетерплю.

Кончался август, прохладнее становились ночи, зато днем меньше досаждали комары. Солдаты все чаще поговаривали о теплых зимних квартирах в Шилкинском заводе.

Игнат с Кузьмой нередко отправлялись на охоту и как-то в дубняке подстрелили отъевшегося на желудях дикого кабана. Ходили солдаты и собирать грибы. За Кузьмой в такие выходы каждый раз увязывался казачонок Богдашка. Чем-то ему понравился старый солдат. Мальчишка прибегал к нему во время работы, опять просил топор, а то помогал пилить. А как только узнавал, что солдат собрался по грибы, стерег его на улице. Михайло успевал класть печи и рыбачить, да и казаки, выросшие на реке, понаплели ивовых мордуш и по утрам, проверив их, несли связки свежей рыбы.

Однажды Кузьма, плотничавший на крыше нового дома, построенного для сотника, увидел, как из кустарника, где когда-то прятался Михайло, ожидая прихода Кузьмы, торопливо вышмыгнула, одергивая кофточку, казачка. Кузьма бы и не подумал ничего, мало ли зачем бегала баба в чащу. Но уж очень она торопилась пройти поскорей до своего дома, да и платок натянула чуть ли не на самые глаза, будто не хотела, чтоб ее узнали. Кузьма насторожился и стал наблюдать за кустарником. Прошло немного времени и из него, потягиваясь и жмурясь от солнца, вышел тот, кого Кузьма и ожидал.

— Леший! — окликнул его Кузьма. — Подойди-ка, парень, сюда!

Михайло вразвалочку подошел к дому, потоптался немного у стены, а потом ловко вскарабкался к своему приятелю.

— Я тебя упреждал, — ворчливо сказал Кузьма, — а ты, дурень, что делаешь!

— Ништо, — сказал Михайло, — обойдется.

— Обойдется! — в сердцах Кузьма вогнал топор в балку. — А как казак ее проведает! Ты соображаешь это, дурья твоя башка? От одной беды ушел, во вторую сам лезешь.

— Ладно, — примирительно сказал Михайло. — Еще разок завтра с ней встретимся, и все. Уж больно она мяконькая, Дуня-то.

Но весь следующий день Михайло ходил угрюмый.

— Ты что это? — несколько раз спрашивал у него Сидоров, но солдат отмалчивался. Только ночью, когда закончены были все дела и линейцы сумерничали, пригревшись у костров, Михайло доверился Кузьме.

Утром, когда казаки, как обычно, ушли на работы, Михайло опять заглянул к своей знакомой. «А что, Дуняша, может, прогуляемся в тот кустарничек, где вчера были?» — предложил он через окно. Казачка в это время ручной мельницей молола муку. Ворочать деревянной ручкой тяжелый каменный круг было нелегко, и она обрадовалась приходу солдата. «Лешай, — ласково сказала она, — иди, милай, покрути туто-ка, а я притомилась». Михайло, лаская взглядом аккуратную, будто сбитую казачку, стал отговариваться, что ему надо класть печь самому сотнику, что там его жена глину месит с ребятишками. «Ништо, погодит, а ты иди-ка пособи», — сказали казачка, вытирая капельки пота с раскрасневшегося лица. «И правда, подождет, а самого сотника нет, ругаться некому», — подумал солдат.

Целый час он ожесточенно вращал окаянный жернов, из-под которого еле сыпалась жиденькая струйка муки, а казачка в это время стирала что-то на улице.

«Все!» — сказал ей в окно Михайло, окончив работу и предвкушая награду. Дуня вошла, пересыпала муку из руки в руку и похвалила: «Добро смолот, а теперя иди-ка, солдатик, делай печку сотнику». «А в кусточки?» — спросил с надеждой Михайло. Она

засмеялась и, отмахиваясь обеими руками, сказала: «А немного ли будет, солдатик, за одну печку-то? Вчера сходили, и ладно».

Так и ушел Михайло ни с чем.

В первый день сентября к станичной пристани причалила лодка с четырьмя гребцами. На ней прибыли поручик Венюков с топографом Жилейшиковым, едва избежавшим разжалования. Уже больше месяца Михаил Иванович Венюков держал путь в Иркутск из самой последней заложенной этим летом у Хинганского ущелья станицы Пашковой.

Этой станицей, построенной на возвышенном амурском берегу, заканчивалась цепочка русских поселений, протянувшихся теперь от Усть-Стрелки до хинганских «щек», где Амур, привольно разлившийся после того, как принял в себя воды Зеи, вновь теснился в узком русле горного ущелья.

Возвращаясь, поручик должен был снять планы всех вновь построенных селений и наметить дорогу от Буреи до Зеи, чтобы она была короче извилистого в этих местах русла Амура. Поэтому на обратном пути, миновав станицу Иннокентьевскую, Венюков с солдатом и топографом почти весь путь до Усть-Зейской станицы проделали пешком. Шли через лесную чащу, делая зарубки на деревьях, перебирались по высокой, почти в человеческий рост, траве Буреинской равнины.

— Не зря казаки просят на Бурею, — рассказывал Венюков. — Таких великолепных угодий, как между Буреей и Зеей, мало в России, а в Сибири и совсем нет.

В Усть-Зейской станице поручик и его топограф надеялись застать пароход. Но «Лена» уже ушла с генерал-губернатором, а приплавивший три баржи с грузом из Николаевска пароход «Амур» вернулся в низовья реки. Пришлось Венюкову и дальше продолжать путь на тесной лодке, покрытой берестяным навесом.

— Николай Николаевич в гневе на моряков. Мне рассказывали в Усть-Зейской станице, какую грубую гонку он устроил капитан-лейтенанту Сухомилу, когда тот с большим опозданием привел «Лену» из Шилкинского завода, — говорил Венюков. — Никаких оправданий капитана генерал и слушать не хотел, он отрешил Сухомилу от командования и довел его до истерики, у него даже пошла горлом кровь. Я застал Сухомилу в Усть-Зее больным, брошенным в неопределенном положении. Он не знает: в ссылке он там или просто забыт, и говорит о Муравьеве только с чувством глубокой ненависти.

— Я догадываюсь, что у генерал-губернатора накипели на сердце против моряков, — сказал Дьяченко, достав приказ о возвращении батальона и показывая его Михаилу Ивановичу. — Видите, вместо станицы или указания другого места, где состоялся приказ, он написал: «Пароход «Лена» — и не удержался, чтобы не прибавить слов: «на мели». И я думаю, что если бы это не была официальная бумага, то Николай Николаевич написал бы: «разумеется, на мели».

— Да, надпись примечательная, — согласился Венюков. — А у вас постройки идут живо, и число домов значительнее, чем где-нибудь. Значит, будете возвращаться в конце сентября?

Дьяченко кивнул.

— А успеете пройти по Шилке до ледостава?

— Рассчитываю успеть. Пойдем налегке. На баржах будут только солдаты да провиант. Четвертую роту, сплавившуюся на плотах, возьмем к себе на баржи.

Венюков со своей командой заночевал в Кумаре, снял ее план и на следующий день отправился дальше вверх по Амуру.

Проходил сентябрь. Все чаще вплавь на лодках или на лошадях «вершими», как говорили казаки, стали заезжать в станицу офицеры, возвращавшиеся на Шилку, а потом державшие путь в Иркутск.

Линейцы поговаривали о Шилкинском заводе, как о своем доме. Как-то со временем забывалось, что там начнется строевая муштра, а потом, глядишь, придется делать биржи для

новою сплава. Снова готовиться в путь, а куда — неизвестно. Но все это было далеко. Главное, скоро на зимние квартиры!

Михайло Леший угодил сотнику, сложил ему отменную печь, и тот пожаловал его стаканом спирта. Хватив стакан, Михайло лишь чуть-чуть захмелел и решил в этот день пошабашить. А чтобы Ряба-Кобыла не дал ему какой новой работы, отправился в лес, по дороге, проторенной казаками на сенокос.

Уже золотились, пока только с вершин, осины. Издали похожий на усыпанный цветами куст пламенел клен. Краснели зонтиками ягоды рябины. Цветом янтарного меда желтели листья берез. И воздух в лесу, казалось, впитал в себя запах сотового меда, приятную горьковатость рябиновых ягод и опавших листьев.

В стороне от дороги Михайло увидел пожухлую листву невысоких кустов лещины, решил набрать орехов и забрался в чащу. С края зарослей орехи кто-то уже обобрал, или ребяташки из станицы, или казаки, ходившие на покос. Зато дальше орехов оказалось много. Набивая карманы очищенными орехами, Михайло вдруг увидел, что со стороны покоса идет женщина. Он пригляделся и узнал Дуню.

С того дня, когда Михайло так старательно крутил ей жернов, он обходил казачку, чем очень обрадовал Кузьму. Старый солдат был доволен — нечего лезть к мужним женам. Как-то Леший пытался с ней заговорить, но казачка, сверкнув белозубой улыбкой, не задерживаясь, пробежала мимо. Солдат вздыхал, глядя ей вслед. Он не мог забыть тот единственный счастливый денек, когда ласкал ее, такую отзывчивую. Но, видно, Дуня больше его не приветит. И сейчас, увидев женщину, он отвернулся, будто занятый орехами. «Окликнет — заговорю, а нет — пусть себе бежит».

Обрывая орехи, Михайло прислушивался к шагам на дороге. Вот Дуныша приближается, вот поравнялась, сейчас окликнет: «Здравствуй, солдатик!» Нет, пробежала мимо. Леший обернулся. Казачка уходила торопливым шагом, не оборачиваясь. В руке у нее покачивался узелок, наверно, носила мужику своему обед. Солдат пожалел, что сам не окликнул Дуню, а потом подумал, что так лучше, и принялся рвать орехи в фуражку. «Нарву, — подумал он, — полный картуз и понесу Кузьме с Игнатом».

Занятый орехами, он даже вздрогнул, когда совсем рядом услышал тихий голос:

— Михайло!

Солдат поднял глаза и увидел Дуню. Она подошла неслышно и стояла у самого орешника. Встретившись взглядом с Михайлом, Дуня опустила глаза и почти зашептала:

— Ой, стыдобушка какая. Увидела тебя и обмерла. Думаю: пробегу мимо, а ноженьки-то сами завернули, и вот я тут...

Она отступила на шаг, словно стараясь перебороть себя и убежать от этой встречи. Михайло, выронив из рук фуражку, шагнул к ней и прижал казачку к себе.

— Ой, солдатик ты мой, — говорила потом Дуня, пряча от Михайлы блестящие от слез глаза. — Казак-то мой уже побивать меня начал. Пятый год живем, а дитя у нас нету. Может, будет теперя, ты же вон какой крепкий...

25 сентября, в пасмурный неуютный день, прибыла в Кумару рота подпоручика Прещепенко. А на следующее утро, такое же по-осеннему хмурое и сырое, первая рота расставалась с построенной ею станицей.

На берегу собралось все, от мала до велика, население станицы. Давно перезнакомившиеся солдаты и казаки тянули друг другу кисеты, услужливо подносили тлевший трут, говорили:

— Кланяйтесь там Аргуни-матушке.

— Бывал и я в Шилкинском заводе, вот где народу-то, и как там люди живут.

Богдашка шагу не отходил от Кузьмы, тянул к нему свою робкую младшую сестренку. Кузьма давно познакомился с отцом и матерью мальчишки. Даже как-то помог им ставить стог сена. И сейчас говорил степенно:

— Живите тут, не робейте.

— Так куда денешься, придется, — отвечал казак.

— Заезжайте. Как будете в другой раз проплывать, милости просим, — приглашала его жена.

— Спасибо, — поблагодарил Кузьма.

Прозвучала команда на посадку, потом — «убрать сходни» и наконец — «отваливай!» Обернувшись к берегу, сложив руки рупором, капитан Дьяченко крикнул:

— Счастливо оставаться, казаки!

С берега несло: «Бог в помощь!» Казачки утирали уголками платков глаза. Улыбалась сквозь слезы и махала платком, увидев на корме баржи Михайлу, Дуня.

13-й линейный Сибирский батальон отправлялся на зимние квартиры.

14

«О-сень, о-сень», — холодно плескались мутные амурские волны, накатываясь на песчаные отмели, заывая следы солдат-линейцев. «Осень», — шелестел ветер сухой и ломкой листвой тальника над кострищами солдатских бивуаков. Ушли солдаты с Буреи и Хингана в Усть-Зейский пост, с Верхнего Амура — в Шилкинский завод и оставили по левобережью реденькую цепочку из пятнадцати станиц.

Тянули над новым жильем с севера на полдень вереницы гусей и журавлей. Быстрыми стаями проносились утки. Пусть и не в родные для казаков места торопилась птица, а все равно днем и ночью тревожила она новоселов своими криками.

— Крылышки бы нам, — кручинились казачки, провожая глазами говорливый клин. — Слетать бы в родные места, взглянуть бы хоть одним глазом, как оно там.

В конце октября, когда отгомонили последние косяки, в станицу Толбузину прибыли запоздалые путники. Две вконец измученные лошади, еле переступая сбитыми ногами, тащили вьюки. С двух других спешили тучные, бросившие давно бриться и смотреть за собой, полковник и подполковник. Офицеров сопровождал младший урядник и два казака из новоселов станицы Ольгиной.

Остановились приезжие у дома урядника. Офицеры, косолапя после долгой езды верхом, сразу ушли в дом, а младший урядник и казаки принялись развьючивать лошадей.

Дед Мандрика ладил стайку, однако не удержался и поковылял посмотреть на свежих людей.

— Да никак это Роман! — воскликнул он, признав в младшем уряднике сына сотника Кирика Богданова из родной Усть-Стрелки.

Роман, исхудавший и измотавшийся за дорогу, тоже узнал станичника. Прежде, у себя в Усть-Стрелке, бедняка да еще и малолетка Мандрику он почти не замечал, а тут обрадовался:

— Здорово, дед! — пошел он навстречу, протягивая руку. — Ай живешь тут?

— Тута мы, — сказал Мандрика. — Всем гнездом. Я с Марфой да Иван с молодой женой.

— Иван! Да когда же он женился?

— На Амуре, — щуря глаза в улыбке, объяснял Мандрика. — Рассказать, паря, не поверишь! Прямо на плоту свадьбу играли.

— Кого он взял-то? — интересовался Роман, сам оставивший в Усть-Стрелке невесту.

— Так соседа моего покойного Кузьмы Пешкова дочку Настю.

— И Настя здесь?

— И где ей быть, ежели она законная жена, — засмеялся Мандрика.

— А как наши там в Усть-Стрелочной? Может, слышал?

— Где слышать, давно мы оттудова. А ты сам откель бежишь, Роман Кирикович?

— Ой, дед, издадека, с самого Хингана. Да рассказывать о том долго.

— Ну ты заходи, заходи до нас. Чайку попьем да побалакаем. Вон он мой дом.

— Спасибо, непременно зайду. Вот только кладь во двор снесем да господ своих

устроим.

Еще в начале июля приказом по войскам Роман был произведен в младшие урядники и назначен писарем путевой канцелярии подполковника Хильковского. Подполковник направлялся наблюдать за постройкой станиц Иннокентьевской и Пашковой.

Поехал Хильковский с неохотой, но рьяно взялся за дело, часто из станицы Иннокентьевской, где он жил, выезжал в Пашкову, придирчиво осматривал новые дома, вникал во все дела. Но в середине августа в Иннокентьевскую прибыл сотник Кукель и передал подполковнику пакет от генерала.

«Может, отпускает меня Николай Николаевич, — обрадовался Хильковский, давно пора домой», — и аккуратно вскрыл пакет. Но по мере того как читал он строку за строкой полученное письмо, лицо его все больше наливалось краснотой. А добравшись до генеральской подписи с росчерком, сердито брошенным вниз, подполковник несколько минут не мог произнести ни слова. Да и было от чего растеряться и выйти из себя командиру второй конной бригады, владельцу множества табунов, одному из первых богатеев Забайкалья, замеченному и, как ему казалось, оцененному генерал-губернатором.

После сухого обращения генерал писал: «По окончании постройки домов в Иннокентьевской и Пашковой, предписываю Вашему высокоблагородию возвратиться в Забайкалье, к месту своего жительства, и подать в отставку, не показываясь мне и наказному атаману Забайкальского казачьего войска, иначе будете преданы суду за неточное исполнение моих распоряжений о назначении казаков к переселению на Амур. Лично мне известно, что Вы брали взятки; вместо богатых, коим доставался жребий, посылали бедняков, которых придется с первых же дней одевать за счет казны.

Для возвращения на Усть-Зейский пост можете занять солдат, которые строят дома, а для дальнейшего следования будет своевременно сделано особое распоряжение...»

Еле придя в себя, подполковник сердито спросил у Кукеля:

— Эт-то что такое? — но, несмотря на сердитый тон вопроса, губы Хильковского тряслись.

Молодой сотник полюбовался, сколько позволило приличие, растерянностью важного и недоступного еще несколько минут назад подполковника и рассказал, как генералу, не узнав его, пожаловалась на Хильковского казачка.

Никогда не ожидавший такого поворота в своей судьбе Хильковский забросил дела. В Пашкову он теперь посылал писаря. Знал подполковник, что генерал относится к Роману благосклонно, и, подозревая молодого казака, не раз выпытывал, не он ли доносит на него его высокопревосходительству. А заметив, как Роман что-то записывает в книжку, стал требовать, чтобы он показал свои записи.

— Ты, шельмец, наверно, за мной следишь, а потом все доносишь!

Записи свои Роман показать отказался, и отношения его с начальником окончательно испортились.

— Он меня, дед, загонял, — жаловался Роман, хлебая щи за столом у Мандрики. — Не успею вернуться из Пашковой и занести в журнал постройки, что там сделано, как он кричит, чтоб я ему постирал. Я у него был и поваром, и лакеем, и прачкой. Все пришлось делать, пока не приплыли в Иннокентьевскую казачки. А теперя опять гоняет. И уж как отделаться от него, не знаю.

Марфа и Настя сочувственно слушали казака, потчевали его всем, что было в доме. Как же, свой человек, усть-стрелочный казак. Иван только раз заскочил в дом за уздечкой, поздоровался с Романом, но слушать ему было недосуг: надо было бежать за станицу, привести коня. Урядник отрядил его и еще одного казака сопровождать господ до Албазина.

— Как у вас тут кони, справные? — поинтересовался Роман.

— У нас, слава богу, ничего. У нас теперя два коня — у Ивана с Настей свой да у меня Васьки Эпова — с гордостью рассказывал до этого безлошадный Мандрика. — Иван то на одном, то на другом ездит. А у других, у кого по одной, беда как загнаны. Вроде тех, на каких вы до нас добирались.

Плохие лошади у казаков, — подтвердил и Роман, принимаясь за жареных карасей. — До Усть-Зейской станицы плыли мы на лодках. А дальше плетемся ни пешими, ни на конях. У Хильковского одного имущества на две лошади. На одной с самой Зеи ящики какие-то везет, на другой вьюки. До Бибиковой ехали хорошо, на семи лошадях. На трех — вьюки, а еще на четырех подполковник, я и казаки-коневоды. А в Бибиковой оказалось всего пять лошадей, да и те так изнурены, что жалко на них смотреть. Выбрали там четыре лошади: три под вьюки да одну Хильковскому. Я с казаками до Корсаковой шел пешком. А там догнали полковника Ушакова, что нынче с нами приехал. Увидел я его и обмер. Он на меня еще с лета сердает.

— Господи, полковник! А чего бы это он на тебя сердце держал? — спросила Марфа.

— Ой, долго про то баить... Как еще в Усть-Зейской были, генерал приказал мне докладывать о всех прибывавших: кто на чем и с чем приплыл, сколько у него сплавных и каких именно судов. От начальников отрядов я брал записки, что сплавлялось и куда.

Когда пришла лодка Ушакова, я тоже спросил: кто приплыл? А он увидел, что спрашивает простой казак да и закричал: «Тебе-то какое дело? Убирайся к черту!» Я ему тогда докладываю, что имею личное приказание генерал-губернатора спрашивать всех, и каждый обязан говорить. Он мне на это: «Убирайся отсюда, болван, пока я не приказал тебя высечь. Я начальник гражданского сплава полковник Ушаков». А я спрашиваю: «С чем плывете и куда?» Полковник совсем рассвирепел: «Ты еще здесь, наглец ты этакий! Марш с моих глаз. Сейчас я сам приду к его высокопревосходительству и лично доложу. Не твоего это ума дело!»

Я явился к генералу и все доложил. «Тут ли баржи?» — спросил он. Я ответил, что Ушаков прибыл на лодке, а плывущих по Амуру барж не видно.

Скоро подошел Ушаков и начал докладывать. Но генерал перебил его: «Где баржи?» — «Остались на мели...» — пробормотал полковник и хотел что-то объяснить. Но генерал не дал ему больше сказать ни слова. Отчитывал он его, отчитывал, а потом схватил меня за руку, подтянул к Ушакову и спросил, как он смел ругать посланного им казака. Полковник стал отпираться, а генерал опять перебил его и заявил: «Этому мальчику я больше верю, чем вам. Не смейте марать его! Он все мои приказания выполняет в точности! А вы, господин полковник, немедленно возвращайтесь обратно и не показывайтесь в Усть-Зее без барж!»

Вот с ним-то, с полковником этим, я и встретился опять в Корсаковой. Ушаков меня сразу узнал и тут же сказал Хильковскому, что я доносчик, испортил его отношения с генералом и навредил ему в дальнейшей службе. А когда они решили ехать вместе, я совсем перепугался. И с Хильковским мне было худо, а с двоими будет еще хуже.

Марфа и Настя вздыхали, Мандрика сосал свою пустую трубочку, а Роман, допивая молоко, продолжал свою историю.

Когда Хильковский и Ушаков сговорились ехать вместе, Роман хотел бросить их и бежать обратно в Усть-Зею. Но его очень тянуло домой. Там еще с весны ему была сосватана невеста, свадьбу отложили до зимы, и он решил терпеть.

В станице Корсаковой оказалось шесть загнанных лошадеенок. Четыре из них заняли под вьюки господ, а на двух поехали Ушаков и Хильковский. Роман и корсаковские казаки шли пешком. Не раз в пути еле живые лошади ложились, и тогда хозяева их получали оплеухи, а то и розги, за то, что совсем обленились и плохо содержат коней!

Кое-как добрались до станицы Кумарской, потом до Аносовой. В Аносовой нашли только четыре истощавшие лошади. Хильковский и Ушаков решили здесь отдохнуть. Романа с вьюками отправили в следующую станицу Кузнецову, приказав ему, оставив там вьюки, спешить обратно. «Особенно смотри за ящиками. Там у меня подарки для его высокопревосходительства», — наказывал Хильковский.

Вернулся Роман по первому мокрому снегу, только на седьмой день.

— Угодил, думаю, — рассказывал молодой казак, — вошел в избу, а они оба напустились с руганью: где, мол, меня так долго черти носили. Ушаков стал кричать, что меня надо высечь. И высекли бы, да Хильковский вспомнил, что я сын офицера и от

наказания розгами избавлен. Пока они ругались, я, веришь ли, дед, без разрешения выскочил на улицу, проплакался там, а потом вернулся и заявил, что далее идти не могу, сапоги совсем изорвались, и ноги я стер и сбил.

«Ну-ка, разуйся!» — не поверил Хильковский. Я снял сапоги — на ногах раны, думал: начальники мои сжалются, а они давай меня же ругать. Я, мол, до того обленился, что даже за собой не хочу присмотреть.

Спал я на печке в соседнем доме. Утром казак заходит, говорит: «Иди, твои начальники ехать собираются». А я отвечаю: «Заболел». Думаю, останусь тут и буду ждать лета... В другой раз казак пришел, передает: «Иди, зовут». Я же решил: не поеду, и все, пусть лучше суду предадут. Тогда сам Хильковский в дом ввалился, стал грозить: «Не пойдешь — к лошади привяжем, а поведем. А если и так не пойдешь и не будешь исполнять, что я приказываю, суду предадим». На это я ему ответил: «Суда-то вы лучше сами бойтесь. Он над вами над обоими висит, а мне бояться нечего, у меня обязанность не конюха и не прислуги, чем вы меня сделали. Оставьте меня лучше тут. Не пойду же я босиком по снегу».

Он побегал по избе, пострадал еще. «Все равно пойдешь, — сказал, — а обо всех твоих проделках, как о любимце генерал-губернатора, будет доложено ему же». А я ему: «Я и без вас могу написать всю правду генерал-губернатору».

Хильковский выскочил из дому, вернулся со своими старыми сапогами. «На, — говорит, — надевай!» И стал меня уже по-хорошему уговаривать. Вот так мы и идем...

На улице, у дома урядника, послышался шум, ругань. Роман вскочил.

— Ну, я побежал. Это Хильковский разоряется. Спасибо, хозяева, за хлеб и соль!

Лошади в Толбузиной были справнее, чем в других станицах. Одна из них, на которую навьючили ящики Хильковского, вырвалась из рук пожилого казака, ящики грохнулись оземь, раздался звон стекла. Лошади попятились прямо на ящики и поломали доски. Из проломов полилась красная жидкость.

Хильковский рассвирепел. Надавал затрещин казаку и приказал тут же его высечь. Оказалось, что в одном из ящиков он вез бутылки с наливкой «Шери-Кордиаль», в другом глиняные банки с японским вареньем, доставленным вместе с другими грузами в Усть-Зею пароходом «Амур» из Николаевска. Роман, хотя и ему досталось от подполковника, радовался, что теперь не придется на каждой остановке снимать эти почти трехпудовые ящики, а потом опять их навьючивать. Радовался и Иван Мандрика. Сначала ящики собирались выючить на его лошадь, но потом Ушаков выбрал ее для себя, а то не миновать бы Ивану розог.

В Албазине Романа ожидала свежая лошадь, прислал ее отец. Но лошадь забрал себе Хильковский, а молодому казаку дал другую, похуже.

Запомнилось Роману это возвращение домой: немало упреков, окриков, а то и прямой ругани пришлось выслушать ему. Но вот миновали наконец станицу Игнашину. До Усть-Стрелки оставался всего один переход. В Игнашиной Хильковский вернул Роману его лошадь. Половину пути проехали без приключений, здесь уже была проторена хорошая выючная тропа. Но верст за тридцать до Усть-Стрелки встретился путникам крутой подъем. Пришлось снимать с лошадей половину выюков и каждую отдельно, понукая и подталкивая, заводить на гору.

Хильковский поднялся пешком, а Ушаков приказал, чтобы один из казаков и Роман помогли ему заехать на гору на лошади. Казак тянул ее за уздцы, Роман подталкивал, а сам Ушаков, восседая на лошади, хлестал ее плеткой. Но лошадь с тяжелым седоком не смогла взять даже первого, самого пологого подъема. А впереди было еще два.

Тогда полковник, обругав своих помощников безмозглыми дураками, отправил казака с лошадью вперед, а Роману приказал тянуть его за веревку.

Сначала все получалось так, как задумал полковник. Роман с одним концом веревки карабкался вверх и, найдя там подходящую опору, останавливался. Ушаков, обвязав себя другим концом, по сигналу Романа начинал и сам взбираться.

— Тяни! — покрикивал он — Ох ты, господи, ну и дорога! Да тяни ты! Стой! Дай дух перевести!. Пошел! — кричал он, передохнув.

Так преодолели треть подъема. Началось самое крутое место. Роман поднялся на несколько сажений вверх, сел за пень и, окликнув полковника, начал его вытягивать. Полковник ухватился руками за веревку и стал взбираться. На самой крутизне сапоги его заскользили по щебню, и он поехал вниз. Роман не смог удержать свой конец и выпустил его из рук. Ушаков шлепнулся на зад, перекувыркнулся через голову и покатился по тропе. В одном месте он ухватился за кустарник, но удержаться не смог и на животе, ногами вперед, продолжал съезжать, пока не уперся в большой замшелый валун.

Там он вскочил на ноги и, размахивая кулаками, закричал:

— Разбойник! Мошенник! Каторжник! Три шкуры спущу!

Роман, увидев, что полковник живой, не стал ожидать, когда он кончит ругаться, перепуганный не меньше, чем полковник, он полез дальше на гору. «Теперь уж непременно высечет», — думал он.

Добравшись до вершины перевала, где стояли казаки с вьюками, Роман доложил Хильковскому о беде, случившейся с полковником.

Хильковский приказал казакам бежать вниз, выручать полковника. И сам тоже направился под гору.

Роман же, вскочив на свою лошадь, помчался один в Усть-Стрелку.

По Шилке шел ледоход, однако казаку повезло. На левом берегу, напротив Усть-Стрелки, он застал баты с казаками, перевозившими в станицу сено и дрова. На одном бате он переправился сам. Знакомых казаков двух других батов попросил подождать Хильковского и Ушакова.

Уже с правого берега он увидел, как к переправе подъехали его начальники.

Но младший урядник Роман Богданов не стал ожидать их, а, прищипорив лошадь, поскакал к родному дому.

15

«Николаевск. 26 сентября 1857 г.

Наконец, после трудного, позднего, мучительного плавания, или, лучше сказать, сухохождения по дну Амура, я прибыл на самый край нашей обширной родины и пишу Вам, мои милые, добрые сестры, моя милая Мери, пишу к Вам это письмо под влиянием самых грустных ощущений и не хочу притворствоваться, как это случалось в прежних письмах, и обмакивать перо в смеющиеся краски радуги, чтобы не причинить Вам грусти. Вы поймете мое положение из трех следующих слов: я зазимовал в Николаевске! Три дня как глубокий снег выше колена выпал, после грозы с громом, дождем и молнией, а у меня еще и половины груза не сдано в казну. Рабочих рук у казны нет; всю выгрузку мы производим своими рабочими, приемка самая строгая: все, что немного подмочено, а особенно мука и крупа, пересыпается и просушивается, а дождь и снег льется и валится сверху, и, к довершению затруднений, Амур до такой степени высох, что в гавани, где прежде приставали большие военные пароходы и корабли, теперь не может пройти маленькая шлюпка; баржи стоят на мели в полуверсте от пристани и магазинов, и мы должны перевозить почти каждый куль, почти каждый тюк или бочонок особо. Тщетно добрейший, благороднейший начальник здешнего края Петр Васильевич Казакевич из участия ко мне употребляет все зависящие от него средства, чтобы ускорить сдачу, но она тянется и протянется в бесконечность. Тщетно, не менее добрый Иван Васильевич Фуренгельм, начальник Аянского порта, замедляет погрузку парохода, долженствующего отправиться в Аян — время уходит, и он не может долее трех дней оставаться, когда ему льды грозят загородить путь. Я уже решил дать доверенность другому и ехать, не кончив дела, но, порассудив, увидел безрассудство своего намерения, особенно когда увидел даже невозможность исполнения его. Во-первых,

относительно моих доверителей я поступил бы предательски, бросив такое важное, такое запутанное дело, не приведя его к концу и не поспешив им выслать квитанции, без коих они не получают от казны остальных денег за казенный груз. Во-вторых, для того, чтобы с новою навигациею они могли заблаговременно приготовить и отправить груз для пополнения прежних и теперешних недостатков, долженствующих поступить в казну грузов, я принужден отправить лучших из моих помощников... т. е. я есмь единственное лицо, на которое ляжет вся тяжесть сдачи и торговых операций Амурской компании — моих доверителей. Все прочие приказчики разосланы или будут посланы для торговли в разных местах вверх и вниз по Амуру, в Камчатку и прочие места. И, наконец, в-третьих, и это самая важная, самая затруднительная статья, требующая моего присутствия здесь. Это разнородная ватага моих рабочих, которую угрюмая ко мне судьба как бы для того, чтоб довершить окончательно свое преследование, бросила мне на руки в этом отдаленном крае, лишенном всех средств не только пропитания, но даже крова. Нет сомнения, что некоторые из них, т. е. лучшие, найдут и заработают и кусок хлеба и теплый угол, но зато остальное... нагое и голодное, потребует помощи. Надо теперь думать о построении им казармы для помещения, а еще более того надо будет подумать, как прокормить эту ватагу, как и чем лечить, когда разовьется цинга, неизбежная в здешнем крае, даже для тех, кто имеет все средства к комфорту и довольству? — Кто будет посредником между их нуждою, страданием и средством помочь им? Кто их удержит от своеволия или защитит их от притеснения?

Обстоятельств, бывших причиною замедления вообще всех рейсов и нашего в особенности, в этом году было так много, что не перечесать... Чтобы дать Вам хотя бы слабое понятие о трудности нашего плавания, я приведу один пример. Расстояние в 80 верст, выше деревни Черной, с прибывшей на мгновение Шилкою, я со своими баржами пробежал в 8 часов, тогда как это же самое расстояние передовой мой отряд, отправленный задолго вперед, — отряд, назначенный для торговли и снабженный как нельзя лучше и людьми и всем, облегчающим плавание, — этот отряд шел 16 дней. Восемь часов и 16 дней!!

Спускаясь с таким затруднением вниз, мы выплыли наконец на такие широкие плесы, где Амур часто разливался на 8- и 10-верстном расстоянии берегов при глубине от 8 сажен до 6 четвертей, так что часто случалось плыть, имея только полвершка воды подо дном баржи. Эти широкие плесы наполнены все мелями и поперечными переборами, островами и откосами, и мы шли, как слепые, с палкою.

Прибыв в Мариинский пост 1-го сентября (передовой отряд прибыл 15 августа), я оставался тут 12 дней для сдачи назначенных тяжестей. Как была поспешна, а следовательно, по необходимости снисходительна приемка вещей нами в Шилкинском заводе — так медленно и строго она производилась здесь казною. Всяко лыко — в строку. Всякую вещь, даже не подходящую цветом к образцам, браковали, а то, что было выше образцов, принимали точно так же, как бы их не было. Бракуй, как душе угодно, потому что казна доставляла им прежде дрянь и гниль, которую они должны были поневоле принимать, а потом кушать ее на здоровье или на хворость — теперь обрадовались поездить на купеческой шее и таким образом приобрести превосходные вещи. Теперь я сдаю груз в Николаевске, где принимают также строго, но как главный состав приемщиков и власти — моряки, — следовательно, прямые, благородные люди, — то придинок менее, зато приемка до крайности медленная. Рабочих рук здесь большой недостаток, и мы работали там, где по контракту следовало бы делать казенными людьми... Но полно об этих скучных и для меня, и для Вас предметах. Поговорим о другом.

Ежели бы тот, кто был в Николаевске три года назад, приехал сюда, он не узнал бы его. Так переменялся он и наружно, и во внутреннем составе общества... Там, где стояли жалкие лачужки для помещения части офицеров и служащих, тогда как другая гнездилась по ямам, землянкам и палаткам в 39 градусов холода и при пургах, заваливающих здесь дома на 3 и 4 сажени снегом, там, где стояли вытасенные баржи вместо магазинов, где в скромном домике помещалась церковь, где улицы состояли из болот, усеянных пнями столетних деревьев, потому что все место, занимаемое городом, было непроходимая тайга, где яйцо продавалось по

полтиннику серебра и только счастливы ели солонину, — тут теперь вы видите стройные, по возможности, сухие улицы с канавами, окаймленные красивенькими домами, где живет все морское народонаселение. Внутренность домов очень мило убрана американскими шпалерами и мебелью. Вы увидите тут покойные кушетки, вертящиеся стулья, качающиеся кресла, японские кровати-кресла с утонченным комфортом, японские столы и столики с их инкрустациею и блестящим лаком. Лампы, подсвечники, ковры, мебель, хрусталь, сервизы из всех стран, вина, варенья, ликеры, джин... Свечей сальных не увидите, их заменяет стеарин. Клуб очень мило отделан, и туда собирается небольшое, но связанное дружбою, старанием и отеческим попечением Петра Васильевича общество. — Тут танцуют на семейных вечерах (так он назвал эти собрания) под звуки пьянино, в ожидании оркестра, который приплывет сюда летом на фрегатах, и потом ужинают дамы и кавалеры за общим столом...

Новый и такой отдаленный край, как ребенок, начинающий ходить: ему еще необходимы помочи...

Я, было, устроился своим хозяйством, наняв особый домик, но Петр Васильевич никак на это не согласился и непременно хотел, чтоб я жил вместе с ним. Теперь мы живем с ним на его ферме, отстоящей от города верстах в двух с половиною. Прекрасный летний домик, весь в стеклах, построенный на высоком берегу, с которого видно большое пространство вод Амура. Домик окружен огородами и службами, а сзади — дремучим, непроходимым лесом. Дорога просечена в этом лесу до самого города, и, судя по пням и гатям, можно догадаться, каких трудов стоило ее устройство. Приближаясь по ней к городу, вы входите на конец главной улицы, влево мрачный лес, а перед ним — во всю длину улицы — магазины американцев и других наций, где вы найдете все, чего хотите, хотя не так дешево, как бы должно было предполагать... Вы увидите эти магазины перемешанными с отстроенными и строящимися домиками, между пней срубленных только вековых деревьев, вы пройдете мимо церкви, приходящей уже к окончанию, мимо большого здания присутственных мест и штаба, потом... спуститесь в адмиралтейство, где склепывают, устраивают и починяют новые и старые железные и деревянные пароходы и парусные суда, строения незатейливые, наскоро построенные, но где вы увидите, например, прекрасно устроенное механическое заведение, где строят такие шлюпки, каких нет в самом Кронштадте, где пилят прекрасный дуб, рубленный за несколько верст по реке и проч. и проч. Далее, на кошке — батарея с маяком; далее в реку еще две батареи... на рейде два железных парохода и три парусных судна... Везде деятельность и жизнь, ни одна душа не сидит сложа руки...

Ну, кажется, я никогда не кончу, а спешить надо.

Прощайте, мои милые, с любовью брата и мужа обнимаю Вас. Благославляю детей и прошу бога сподобить меня единственным счастьем — скорым свиданием с Вами...

М. Бестужев».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 1858 год

*«...Где солнца восход и где Амур
В зеленых берегах крутится,
Желая паки возвратиться
В твою державу от Маньчжур».
М. Ломоносов*

1

Зима тянулась бесконечно долго. Давным-давно ушла полурота солдат подпоручика Козловского, оставив после себя пять домов, наскоро покрытых соломой. Потом стал Амур,

а там и снег засыпал новую станицу Толбузину. И остались на берегу Амура в пяти домах десять казачьих семейств. На север от них тайга да мари до самого края земли. На закат солнца, в той стороне, откуда приплыли казаки, в семидесяти восьми верстах от Толбузиной, тоже пять домов новой станицы Бейтоновой. Добраться до соседей можно за два дня. А вниз по Амуру ближайшее жилье — станица Ольгина, тоже не близко — в пятидесяти трех верстах.

Как ушли помощники — солдаты, старый Мандрика сам достроил стайку для коровы и коней. А потом простудился, занемогилось ему, и слег до самой весны. Так всю зиму прокашлял он, прокряхтел на полатах, не выходя на улицу, грея бока у горячей печки. И поясицу у него ломило, и ноги, и руки. Потому и показалась старому зима длиннее, чем вся прошлая жизнь. В замерзшее оконце ничего не видать, стены и углы нового дома сначала радовали, а теперь тошно было на них смотреть. Одно оставалось — переворачиваться с боку на бок, перебирать в памяти прожитое да посасывать пустую трубочку.

В самый разгар холодов навалилась на станичников нежданная беда. Оттого ли, что зима выдалась на редкость снежной или, почуяв жилье и поживу, полезли в станицу полевые мыши. Лежал, по обыкновению, Мандрика один в доме, слышит: под полом кто-то возится и попискивает. Подумал сначала старик, что это дедка-домовой чем-то недоволен. Ай, нет, смотрит: одна мышь из угла в угол метнулась, вторая из-под печки выглядывает, а еще одна, шустрая, по лавке бежит.

— Ах ты, лихоманка вас задери! — заругался Мандрика.

Услышав человеческую речь, мыши ненадолго затаились, а потом, несмотря на то, что день на дворе, забегали пуще прежнего. Швырнул в них казак костыль, который ему сын вырезал, когда он захворал. Разбежались мыши. Обрадовался Мандрика: победу одержал. Зато ночью, когда, затрещав, упал в ведро уголек лучины, и она, мигнув, погасла, мыши принялись бегать что твои лошади. Что-то грызли, пищали. Иван несколько раз вставал, вздувал угольки, разжигал новую лучину и гонял окаянное племя кочергой.

«Ай, нет, — думал Мандрика. — Неспроста это. Осерчал дедка-домовой и напустил в дом нечисть».

Утром оказалось, что не одной семье Мандрики мешали спать мыши, а всей станице.

С того дня мыши обнаглели. Лезли в станичный амбар с зерном, грызли конскую сбрую, забирались ночами на полаты и нары, бегали прямо по спящим людям. Приходилось станичникам все съестное подвешивать или тщательно укрывать.

Припасу съестного у казаков было только-только на зиму. Берегли его пуще глаза, да от мышей разве удержишь! Приспосабливали казаки против них охотничьи капканы и ловушки, отраву заваривали — не помогло.

— Эх, кошек бы! — вздыхали новоселы. — Да где их возьмешь?

Никто, переселяясь, не догадался взять с собой кошку, о другом тогда думали.

— Ты, дед, все равно лежишь, — говорила, зайдя поточить ляды, соседка рябая Кузнечиха, — вот и мяукал бы, пугал мышей-то...

Ванюшка, как и другие молодые казаки, почти всю зиму мотался то в Бейтонову, то в Ольгину. Совсем загонял коней! То вез курьеров, спешащих в Усть-Зею, то почту, а там, глядишь, обратно тех же курьеров. Парню не то что хозяйством заняться, с Настей помиловаться некогда было. «Этак-то и внучонка не дождемся», — вздыхала Марфа.

Обещало, правда, начальство, что за перегоны платить будут, но пока даже полушки не заплатили. А от курьеров какая польза, разве новости узнать. Вот и любопытствовали станичники, пока курьеры отогревались и наливались чаем:

— Как там зимуют казаки на Шилке да на Аргуни? Какой урожай собрали по осени?

Услышав, что урожай был подходящий, вздыхали, вспоминая оставленные поля. А погодив, выпытывали: не раздумало ли иркутское начальство ставить новые села по Амуру?

— А то, однако, больно уж просторно живем. За околицей редко встретишь прохожего, зато зверя много. И вот мыши...

— Ждите нового сплава, — обещали курьеры. — И к вам подселяться будут казаки, и

новые станицы этим летом ставить будем. А что мыши, то не у вас одних — по всему Амуру.

С тех пор, как занедужил Мандрика, всем в доме заправляли Марфа да Настя. Сами по сено да по дрова ездили, за скотом ходили, по дому управлялись.

В новой семье, в замужестве, Настя расцвела. И в девках хороша была, а в молодках и вовсе налилась соком. Марфа тоже еще крепость сохранила. День-деньской гоношилась, находила себе работу, ни на что не жаловалась. А Мандрика за зиму сдал. Усох совсем, ослаб.

Но вот продул метельный март и притих, а потом ударил светом, враз выпарил сугробы, растаял лохматый лед на оконце, и осветилась горница. Давай бабы ее скрести, обметать. Настя притащила из лесу пихтовых веток, навтыкала по углам, и запахло в доме весной. Недаром говорится: прилетел кулик из заморья, вывел весну из затворья.

И мышей к весне поубавилось, ушли, как видно, в луга. Но память о себе оставили крепкую. Там попортили зерно и сбрую, тут яловые сапоги у казаков, ичиги и олочи.

— Эх-ха, скорей бы сплав, а то заголодаем, — вздыхали казаки.

Теперь и Мандрика начал выбираться на воздух. Совал он непослушные ноги, тонкие, как жердочки, в разношенные латаные валенки, надевал шубейку, натягивал облезлую папаху и усаживался в затишок на завалинку, на самый солнцепек. Отсюда и ворочать головою не надо — всю станицу видно. Сиди, смотри, как соседи навоз в огороды носят, коней чистят, дрова рубят. Вот на ребятишек станице Толбузиной не повезло. Подростки есть, а малышей нет. Сразу видно, что селение необжитое. Хоть бы Настя затяжелела.

Эх, дожил бы до этой весны годок Кузьма Пешков. Посидели бы вместе на завалинке, потолковали о молодых годах, о прожитом в Усть-Стрелке. Порадовался бы Кузьма на Настю глядя, какая у него ладная дочка стала. Да и жили бы в одной избе — сват со сватом. Глядишь, и зима не такой долгой да муторной показалась бы... Рано, рано преставился Кузьма, а хотелось ему на Амур, ох как хотелось.

Сидел старик, опершись на палку, неподвижно, как обомшелый пенек на опушке. Даже воробьи, что еще с осени завелись в станице, наверно, прилетели вслед за сплавом, не признавали деда, суетились рядом, клевали ему валенки, вытягивали шерстинки для гнезд. И разлетались нахальные пичужки только тогда, когда, надышавшись свежим воздухом, старик начинал чихать.

Но и чихнуть по-молодецки из-за слабости уже не мог Мандрика. Когда подходило время, он сначала затягивал:

— И-и-а... А-а-а-а... А-а-а-а...

Заслышав голос батьки, Ванька и Настя бросали все и бежали к завалинке, подхватывали казака под мышки. Мандрика, чувствуя поддержку, еще некоторое время тянул свое «а-а-а-а», потом, набравшись силенки, довольно бодро заканчивал звонким «а-пчхи!» и опять надолго затихал. Ванюшка и Настя отпускали его и расходились по своим прерванным делам. К ногам деда опять слетались воробьи и, для приличия немного попрыгав рядом, принимались выдергивать из валенок шерстинки.

Казак сердился на себя за слабость, обижался на воробьев и думал: «Ежели бы в доме кошка была, рази бы они посмели! Не... Может, приплывут новые казаки да привезут кошку...» Эта мысль радовала Мандрику, и он улыбался.

Однажды, в теплый апрельский день, дед, как всегда, сидел на прогретой завалинке и про себя привычно ругал хворобу. Ванюшка, радуясь, что с распутицей перестали ездить курьеры и никто не отрывает его от дому, снял солому с крыши и покрывал ее щепой. Он сидел на стропилах, что-то насвистывал и тюкал топором. Марфа варила еду в избе, а Настя выколачивала во дворе зимнюю одежду. В это время и приспичило Мандрике чихнуть.

— А-а-а... — завел старый казак. Ванюшка на крыше насвистывает и не слышит. Да и Настя из-за стука топора не сразу разобрала, что надо спешить к отцу на помощь. А догадалась, заголосила:

— Ванька! Ты что, не слышишь! Тятя-то чихнуть собирается!

Иван вогнал в балку топор и враз по приставленной лесине съехал с крыши. Однако не успел. Мандрика чихнул и от натуги, никем не поддерживаемый, свалился с завалинки. Воробьи от такой неожиданности улетели аж на китайский берег. Выскочила Марфа, отругала молодых. Но зато с этого дня старый Мандрика пошел на поправку.

Все в тех же валенках, папахе и шубе он стал готовить ивняк для изгороди. В Усть-Стрелке его изба не была огорожена, зато на новом месте все будет как у людей. А появится изгородь, значит, не просто стоит дом — а усадьба! Рубил казак на берегу тальник, небольшими вязанками волок его к дому, а уставши, поглядывал на Амур, по которому валил ледоход. Значит, скоро и новый сплав, надо поспешать. Может, приплывет кто из усть-стрелочных казаков, то-то будет разговоров. «Видали, — скажут, — у Мандрики-то нашего какой двор! Живет же человек!»

Ванюшка с бабами подкорчевывал к выжженному и вспаханному еще по осени куску земли под огород новый участок. Да и остальные станичники спешили. Хоть и обещана была им двухгодичная льгота по службе, но какая тут льгота; начнется сплав, все про нее забудут.

Еще тянулись по Амуру запоздалые, изъеденные солнцем льдины, когда у правого китайского берега показалась лодка. Шла она вверх. Собрались казаки у самой воды, стали гадать: свои из Усть-Зей тянутся, китайцы, а может, манегры. Но вот лодка поравнялась со станицей, начала пересекать реку. «Китайцы», — определили наиболее зоркие. И верно, причалил к станице китайский купец с двумя работниками. Мандрика сразу узнал купца, он раньше приплывал на ярмарку, что собиралась неподалеку от Стрелки.

— Чай привез? Соль есть? Ханшин? — засыпали вопросами гостя казаки.

— Все еся! — успокоил казаков поднаторевший в русском языке по прошлым торгам купец.

— Однако, паря, глянь-ка! — удивленно воскликнул Иван. — Да у него в плетенке-то кошки!

— Правда! Бес его бери, кошки! Знает, что везти!

— Киска, киска, — с удовольствием подтвердил купец.

— Ин и ладно, ин и добро, — Мандрика даже перекрестился. — Сколь, паря, просишь за кошку?

— Рубли и дыва пятак, — улыбался китаец.

— Однако, ты что? — не поверили казаки. Где это видано, чтобы за кошку рубль с гривной брали. Да это сколько надо белок добыть, чтобы одну кошку купить. Сбавляй, сбавляй, паря!

Купец долго торговался, клялся, что придет ему неизбежный конец и раззор, если он сбавит цену, но все-таки гривенник скостил и уперся. Даже собираться стал: не хотите, мол, и ладно, дальше отправлюсь.

— Все одно дорого, — мялись мужики. — Ежели белка за гривенник с пятаком идет.

Но купец, видно, проведаль о нашествии мышей и знал, что переселенцам деваться некуда. Для вида, сочувственно цокая языком, он пошел к лодке.

Всегда покорные бабы тут заголосили:

— А мыши! — кричали они мужьям. — Запамятавали, поди, как они все погрызли. Кузнечиху вон рябую искусали. Ну, а как зимой в другой раз придут!..

— Ты, паря, повремени, — задержал торговца Мандрика, — мы счас промеж себя потолкуем.

Отошли казаки в сторону, посудили-порядили и сговорились взять на станицу двух кошек, а там, глядишь, свои разведутся. Четыре семьи из тех, кто жили в двух домах, собрали по полтиннику меди, пересчитали и высыпали купцу.

Бабы кинулись к сплетенной из талы корзине, выхватили двух кошек и домой!

— Гля-кошь, как рады! — смеялись им вслед мужики. — Будто ситцев на платье набрали.

— Стой! — вдруг стукнул оземь костылем Мандрика. — Стой, бабы!

Казаки удивленно посмотрели на старика, чего это он расшумелся?

— Посмотреть надоть, будет ли приплод, — разъяснил Мандрика. — А может, там оба коты али кошки! Так и будем китайцу и дальше платить!

По такому серьезному делу баб вернули.

— Ай, дед! Ай, голова! — смеялись станичники. — А мы не догадались. Ну теперя ты, паря, сам и определяй, которая из них кошка, а который кот!

Но рябая Кузнечиха уже успела на весь берег объявить:

— Кошки обе, и смотреть неча!

Заглянули в корзину купца: там оставались одни кошки. Да и сам китаец разводил виновато руками, приговаривая:

— Кыска-мамка еси, кыска-казак нету.

— Что ж ты так вез, приплода-то теперь не будет, — досадовали казаки.

— Была кыска-казак, — сокрушался китаец, — была, все продал.

Говоря это, купец кривил душой. Прослышав от кочевых эвенков о нашествии на русские селения грызунов и почуяв прибыльное дело, он специально набрал одних кошек, чтобы у новоселов не завелось своих котят и они в будущем не сбили цену на такой неожиданный товар. Казакам ничего не оставалось делать, пришлось брать одних кошек.

Расходились казаки с покупками, несли по домам банки со спиртом, плиточный чай, куски соли, листовой маньчжурский табак. Женщины подвешивали покупки повыше — все еще боялись мышей — и расходились продолжать оставленные дела.

Шла весна. Надо было корчевать и пахать огороды, высаживать рассаду, достраивать стайки и амбары, городить огороды, ставить поскотину. Сам не построишь, не сделаешь, теперь уж никто не поможет. Работали, а сами нет-нет да и поглядывали на реку, не идет ли сплав. А то уж месяц, как началась распутица, ни одного свежего человека в станице не было. Главное же, провиант должны привезти. Может, и поделят еще кого — обещали. Да и новости будут из родимых краев.

2

Эх, зимние квартиры, зимние квартиры! Грезятся они солдатам в тяжелых походах, ну если уж не как рай, то почти как дом родной. Вспоминаются теплые казармы, где у каждого свое место на просторных нарах. И дух в них жилой, не то что в сырой землянке или в шалаше, где сколько ни живи, несет сырой глиной. На зимних квартирах и еда не всухомятку, как бывает в пути, а горячая, и хлебушко мягкий, а не сухари. И баня вовремя — отмывайся за все лето, отпаривай сухие мозоли. И ни комара, ни гнуса, одни тараканы, как в родном доме.

Только и длинная забайкальская зима пролетела. Кажется, совсем недавно, в октябре, вернувшись в Шилкинский завод, вырезал Игнат Тюменцев первую зарубку на рукоятке прихваченного еще из дома охотничьего ножа, отметив этой зарубкой, что исполнился год, как забрали его в солдаты. Сделал Игнат заметочку и загадал: если доведется поставить вторую зарубку здесь же в Шилкинском заводе, то встретится он еще раз с Глашей, и будет у них все хорошо. А не придется, значит, прощай суженая-любая, не стать тебе законной женой Игната, не обнимать ему тебя, Глашенька.

И вот уже на дворе конец апреля, и опять плывет 13-й линейный батальон вниз по Шилке. И произведенный в поручики командир второй роты Прещепенко сидит на палубе своей баржи с гитарой и поет:

Прощай, Чита, в начале мая,
А в сентябре прощай, Амур...

Песню эту привезли офицеры, прибывшие с генерал-губернатором из Читы. А рядом с

Читой деревня Засопошная, а там... «Да уж лучше об этом не вспоминать, не думать...» — останавливает себя Игнат.

Да, зима пролетела, ее даже не заметили. Не успели солдаты устроиться в казармах, не сошли еще ссадины и царапины на руках и ногах от летнего похода, как начали латать повывавшие Амур баржи, закладывая новые. А как минуло рождество и стал понемногу прибывать день, прошел слух, что батальон будет переселяться на новое место и покинет навсегда Шилкинский завод, как ушел из него в Мариинск 15-й батальон, как обосновался на устье Зеи прошлым летом 14-й линейный.

Разговоры пошли, когда батальонный командир капитан Дьяченко был еще в Иркутске. А вернулся он, поняли линейцы, что это уже не слух, а правда. Приказано было ремонтировать и готовить к сплаву батальонное имущество, а к вновь строящимся баржам заложили еще три. «Будем переезжать», — теперь уже твердо говорили офицеры. Вот только куда, никто не знал.

Подсылали солдаты к самому капитану унтера Ряба-Кобылу и дядьку Кузьму, как бы между прочим, в разговоре выпытать, что это за новое место, где оседет батальон. Но капитан или таил до поры, или сам не знал. И унтеру, и Сидорову он сказал одно и то же: «Пока до Усть-Зеи, а там, может, и дальше...»

И вот снялись линейцы с обжитых зимних квартир, забрав с собой, как было приказано, все батальонное имущество до последнего гвоздя. Да сверх того погрузили на свои баржи дивизион легкой артиллерии, два горных орудия и снаряды к ним.

Трудно оказалось навсегда покидать Шилкинский завод. Здесь у солдат уже завелись знакомые, встретишься на улице, поздороваешься, поговоришь. Даже сударки сердечные появились у линейцев, было к кому забежать на часок, попить в тепле кирпичного чайку, отвести душу... Все теперь осталось за Шилкинской пристанью. Как отрезано тем острым охотничьим ножом, на котором сделал зарубку Игнат Тюменцев, солдат второго года службы.

«Вот так-то, паря, — думал Игнат, покидая Шилкинский завод, — где придется тебе делать вторую зарубку, никто, даже командир, не знает. А может, еще вернемся», — тешил он себя призрачной надеждой.

Шли на этот раз ходко, не в пример прошлому году, по большой воде, вслед за ледоходом. Помогало и то, что помнили кормщики мели, на которых приходилось сидеть, смотрели в оба. И потому пролетели в один день Усть-Кару, Часовую, а на следующий день подходили уже к Усть-Стрелке, к Амуру-реке.

Не отпрашивался, как прошлый раз, Кузьма Сидоров в станицу, знал, что не стало старого казака Кузьмы Пешкова. Еще в прошлом году, когда возвращались из похода, рассказал ему об этом дед Мандрика в новой станице Толбузиной, где никак не ожидал увидеть его Кузьма. Да и не задерживался батальон в Усть-Стрелке. Назначен он был идти передовым отрядом, открывать пятый амурский сплав. Только час стояли батальонные баржи перед тем, как выйти в Амур. А потом прозвучали привычные уже команды: «Убрать сходни!», «Отваливай!» И вынесла Шилка, под крики «Ура!», линейных солдат на амурский простор. А за ними пошли плоты с новыми переселенцами.

«Здравствуй, Амур!» — про себя, стесняясь сказать эти слова вслух, подумал командир четвертой роты Козловский. Одним приказом с Прещепенко он «за распорядительность в строительстве новых станиц и отличие по службе», как раз перед новой экспедицией, был произведен в поручики. Прещепенко заметно обиделся. В подпоручиках он ходил несколько лет, а Козловский какой-то год. «Связи, — сказал тогда Прещепенко, — вон Михнев работал вместе с нами, ротой командовал, а как был юнкером, так и остался».

Этот разговор огорчил тогда Козловского, испортил ему праздник. Все ведь знали, что у Михнева недостает каких-то бумаг. Знал и Прещепенко, и зачем он только так заявил. Но, оглядывая открывшийся речной простор, поручик быстро забыл неприятный разговор и стоял, радуясь новой дороге. «Пройти бы весь Амур, — мечтал он. — И уж если доведется

опять закладывать селения, то пусть это будет в таком месте, где никто не бывал, или, по крайней мере, никогда не жил». Он даже как-то поспорил с Прещепенко, когда тот сказал, что те казаки, которые едут на Амур не по жребию, а своей охотой — ищут только собственной выгоды и всяких льгот. «А стремление увидеть новое, а желание осваивать дикие земли! — воскликнул Козловский. — Разве это не двигало всегда русским человеком?» — «Вы еще станете сравнивать нынешних забайкальцев с Ермаком Тимофеевичем», — усмехнулся Прещепенко. «А что же! Чем они хуже?» — «Ну, знаете, — махнул рукой Прещепенко, — предметы сии несопоставимы».

Так ничем окончился их спор. Но Козловский считал себя правым. Вслед за 13-м батальоном сплавлялись плоты новых переселенцев. На стоянках поручик, стараясь подделаться под простонародный говор, по многу раз задавал казакам один и тот же вопрос: «Отчего вы, казаки, в Амур-то решили плыть?» Переселенцы по-разному отвечали. Одни говорили: «Жребий такой выпал», другие: «Больно уж неохота оборотнем стать. Мы испокон века конные казаки». Оборотнями казаки называли пешее войско, а тех конных казаков, что не соглашались переселяться, начальство угрожало перевести в пешие. Но находились и такие, которые, вроде бы стесняясь, заявляли: «Побывать хочется, где прадеды жили. Новые места посмотреть тянет».

И все-таки заронил искру сомнения в душу офицера Михаил Александрович Бестужев, когда ненароком заметил: «Одними забайкальскими казаками такой огромный край не заселить. Сколько их казаков-то!» Козловский, вспоминая эти слова, спешил успокоить себя: «Нет, нет, государь должен на сей счет распорядиться... Он-то знает, что нельзя заселить Амур только казаками. Уже и так немало заколоченных домов стоит по Аргуни, Ингоде и Шилке». Подумав так, поручик успокаивался и опять мечтательно вглядывался в омытые майским дождем, готовые вот-вот окраситься первой зеленью речные берега. Вглядывался и гадал: «А что откроется вон за той горой?..»

Поручика радовало, когда его роте приказывали послать на берег лодку и поставить там столб, чтобы обозначить место для новой станицы, в добавление к тем, что были заложены в прошлом году. Так, в первый же день плавания по Амуру, Козловский сам ездил за столбить на просторном луговом берегу место для станицы Покровской. Это было недалеко от устья Шилки. Потом поставили столб с надписью: «Станица Амазар». А за новой станицей Игнашиной, где с прошлой осени стояли семь домов, выбрано было поздно вечером место для станицы Сверебеевой, и оставлены там два плота с новоселами.

Между тем первые роты батальона, не задерживаясь, шли вперед и так оторвались от остальных, что уже огни костров на их баржах во время ночного плавания не были видны. Генерал-губернатор спешил. Он намеревался побывать этим летом в Мариинске и Николаевске, затем посетить Сахалин.

И опять, как и в прошлогодний сплав, четвертая рота Козловского оказалась последней. Ей приказано было сопровождать караван переселенческих плотов, наблюдать за высадкой казаков в уже основанных в прошлом году станицах и в местах новых поселений.

Еще на Шилке поручик познакомился с казачьим есаулом Сухотиным. Это он, возвращаясь в 1856 году из тяжелого похода, прошел за два дня сто восемьдесят верст, за что и был произведен в урядники. За отличие в прошлом году Сухотин произведен генерал-губернатором сразу в есаулы, а в этот сплав он отвечал за постройку плотов и барж для казаков, а также за приобретение для переселенцев всех необходимых на новом месте товаров.

Все шло хорошо: и плавание по большой воде, и высадка проходили успешно, но есаул был чем-то постоянно удручен. Даже казаки, провожая его высокую фигуру, своей сухощавостью словно оправдывавшую фамилию, удивленно говорили, что есаула будто кто подменил. И в пути на барже с грузами, на берегу во время высадки очередных переселенцев, когда по его приказу выдавали им казенный провиант, ткани, нитки и мыло — он, казалось, думал о чем-то постороннем. По рассказам казаков, раньше общительный есаул теперь сторонился людей. Чаще всего его видели перебиравшим какие-то казенные бумаги и

что-то считающим то на пальцах, то на четвертушке бумаги изгрызанным карандашом.

На одной из остановок, когда уже недалеко оставалось до построенной четвертой ротой станицы Толбузиной, есаул Сухотин вывел на берег своего коня. Приказав выдать казакам все, что им было положено, он вскочил в седло и рысцой поехал в сторону возвышавшегося у самой воды утеса. Казаки, запятые выгрузкой своего имущества, солдаты, помогавшие им, не сразу заметили на вершине утеса всадника. Не успели они удивиться, зачем туда поднялся есаул, как щелкнул пистолетный выстрел, и тело Сухотина, свалившись с лошади, ударяясь о выступы обрыва, покатилося в Амур.

— Лодку! — крикнул Козловский и сам побежал к солдатам, отцеплявшим лодку от кормы баржи.

Линейцы, не мешкая, уселись за весла, и лодка понеслась к месту неожиданной трагедии. Следом поспешила долбленая ветка казаков, но тела есаула, сколько ни искали, обнаружить не удалось. У подножия утеса, в большую воду, течение было особенно стремительным, и оно подхватило и унесло труп.

Лодки, покрутившись возле утеса, прошли еще с четверть версты дальше по течению, но поиски оказались безрезультатными.

Случай этот потряс поручика. Он не мог найти никакого объяснения поступку есаула и упрекал себя за то, что не поговорил раньше с казачьим офицером, хотя и видел, что тот чем-то обеспокоен. «Как же это я! — казнил себя поручик. — Может быть, все можно было устроить и решить ...»

Когда вернулись к месту остановки, туда прибежала оседланная лошадь Сухотина. Казаки поймали испуганного жеребца, успокоили и, когда расседывали, нашли под седлом перчатку, а в ней записку. Козловский развернул сложенный аккуратно клочок бумаги и, с трудом разбирая наспех написанные неопытной рукой слова, прочитал: «Я не смог снести позора. Из отпущенных мне казенных сумм я не досчитал трех тысяч рублей. Одно знаю: их я на себя не тратил. Ни единого рубля. Передайте...» Два последних слова в записке были старательно зачеркнуты.

Как ни расстроило, ни ошеломило всех это происшествие, время не ждало. Проплывали мимо на плотах, построенных Сухотиным, казачьи семьи. Плоты походили один на другой: весло впереди, весло позади. Посредине одна или две телеги то с сеном, то с кладью. Мордами к телегам привязаны лошади и коровы. Рядом с телегой наваленный в кучу разный домашний скarb. Казачки, закутанные в теплые, овечьей шерсти шали, мальчишки в старых отцовских шапках. Казаки по-домашнему в стеганых халатах, а у длинных рулевых весел линейные солдаты. Пора было отправляться и ротным баржам, обгонять плоты до новой остановки.

Козловский спрятал записку Сухотина, забрал оставленную на виду кожаную сумку есаула с бумагами, которую тот всегда носил с собой, и приказал отваливать.

Перед вечером солдаты оживились, заговорили, стали показывать на берег. Козловский, удрученный гибелью есаула, не сразу понял, в чем дело, но потом пригляделся к местности и узнал ее. Сейчас за кривуном должна была открыться станица Толбузина, построенная его ротой прошлым летом.

Солдаты знали, что здесь будет остановка. Еще перед отправлением в поход батальонный командир объявил, что три первые роты будут идти передовым отрядом, избегая остановок. Но всем ротам разрешено причаливать на короткий отдых в тех станицах, которые они построили в прошлом году.

И вот показались еще не потемневшие от времени, словно срубленные только вчера, постройки станицы Толбузиной. К домам, поставленным линейцами, прибавились надворные строения: амбары, стойки, какие-то клетушки. В стороне тянулся дым от приземистой бани.

Козловский ожидал, что встречать роту сбегутся все жители, но на берег вышли только два старика да страдавшая в тот день зубами рябая Кузнечиха. Один из стариков, переставляя плохо слушавшиеся ноги, подпираясь палкой, поспешил навстречу офицеру.

— Ах ты, господи, да это никак гости дорогие! — выкрикивал он.
— Здравствуй, Мандрика! — узнав старика, сказал Козловский.
— Здравия желаю! Да вы никак уже поручик! — стараясь вытянуться попрямее и казаться бравым казаком, отвечал Мандрика.

— А где народ?
— Так что на работе, ваше благородие, — сказал второй старик.
— И пашут, и сеют, и огороды сажают, — заговорила Кузнечиха.
— Ну, мы у вас заночуем, дождемся казаков. Тут к вам плот должен пристать. Две новых семьи останутся.

— Ну, ин и ладно, ну, ин и добро, — приговаривал Мандрика. — А нет ли кого к нам из Стрелки?

— Право, не помню... Да, плыл с нами есаул из вашей станицы, Сухотин...

— Николай-то, а иде ж он? — оживился Мандрика.

— Беда с ним случилась. Погиб...

— Как так?:— сняв шапку, спросил Мандрика. — Утоп или что?

Рябая Кузнечиха заохала, хотя и не знала есаула. Поручик рассказал о самоубийстве Сухотина и о записке, которую он оставил.

— Ай, нет. Не мог Николай казенные деньги потратить, — говорил Мандрика. — Не такой он казак был. Видать, злые люди подвели. — Погоревав, Мандрика стал звать офицера в гости.

— А ты меня чайком из шульты своей угостишь?

— Рад бы, — старик развел руками, — вот как бы рад! Только какой я теперь ходок, а за шультой в леса надо идти. Ванюшке-то сколь раз баил: срезал бы с березы шульту, принес. А он все обещается. Вот «жеребчика» могу заварить. Вы, ить, «жеребчик» уважали.

— Да это же превосходно! — согласился Козловский.

Старик повел офицера к себе, а солдаты разбрелись по станице. Заходили во дворы, вспоминали, кто рубил какой сруб, что с кем здесь произошло. С полей и огородов начали возвращаться жители, зазывали знакомых линейцев к себе, показывали, что сделали за зиму, расспрашивали о дороге, а потом доставали из заветных уголков припасенный еще с приезда китайского купца спирт и наливали гостям по чарке.

— Обживаемся, — рассказывал Мандрика, усадив командира роты на свою завалинку. — Я вот стайку каку отгрохал, сто годов стоять будет. Плетень потихоньку горожу. А Ванюшка с Настей да с Марфой моей, как потеплело, день-деньской в поле... Зато сеять začínал я. У нас это, — посмотрел Мандрика на поручика, — все одно как праздник. Бабы с утра баню истопили, помылись мы с Ванюхой. Позавтракали, коней запрягли, все уложили и всей семьей на пашню. Там я сам лукошко ярицей насыпал доверху, чтоб уродило полно, и пошел — горсть зерна влево сыпану, ровненько так, как по дужке, горсть вправо. Исстари ведется, чтобы первый конец старики засевали. Хлебушко от этого гуще родится.

Мандрика улыбнулся беззубым ртом, потом засмеялся, даже прихлопнул себя по коленке.

— А назавтра, соседи чуть не поссорились! Стариков-то нас всего два на станицу, и всем хочется, чтобы мы сеять начинали. Вот, значит, один меня тянет к себе, а другой — к себе...

Рассказывая, старик не забывал про чай. Разложил костер, налил в глиняный горшок воды. Когда костер разгорелся, сунул в него кусок жести с обкатанным речным галечником. Настрогал кирпичного чаю.

— Сейчас и «жеребчик» поспеет, — приговаривал он, высыпая в горшок с водой заварку.

Когда камни в костре, по мнению старика, достаточно раскалились, он стал выбирать их деревянной рогулькой и один за другим бросать в горшок. Вода зашипела, над горшком поднялся пар, а старик все подбрасывал в него горячие камни. И вот вода запузырилась, а потом и закипела.

— Заиграл «жеребчик», — обрадовался Мандрика и поспешил в избу за кружками.

Только начали пить, как прикатили на телеге Настя, Иван и Марфа.

— Что же ты, казак, такого гостя потчует «жеребчиком». Его на пахоте да на покосе пьют, а не дома! Мы с Настей враз сготовим, — напустилась на Мандрику Марфа. — И черемши на елани нарвали. Вон целу котомку привезли.

— Спасибо, спасибо! — отказывался Козловский. — Вон мои молодцы готовят ужин. А мне с дороги чайку захотелось, вот мы тут и чаюем. Да, кажется, и плот сюда заворачивает. Ну да, это к вам новоселы! Надо идти встречать.

Весть о приезде новоселов моментально облетела станицу. К берегу потянулись почти все жители. Казаки с плота всматривались в станицу, стараясь угадать, хорошее или плохое место им досталось. Не топит ли здесь берег наводнение, нет ли в станице земляков?

— Да ведь это Мандрика! — донеслось с плота. — Здорово, паря! Ванюха, ты ли, друг ситный! — прокричал тот же голос.

— Дедка, дедка! А вот он и я! Говорил, приплыву, и вот приплыл!

Еще не разглядев никого на плоту, Мандрика узнал голос Семки, своего малолетнего приятеля.

— Семушка, голубь, аль это ты!

— Я, дедка, я! Счас я к тебе прибегу!

— А это ты, кум, что ли? — узнав Семкиного отца, кричал Иван.

Мандрика, Иван, Марфа и Настя обрадовались приезду своих прежних соседей по Усть-Стрелке, словно это были самые близкие родственники.

— Давай, кум, — кричал Иван, — давай прямо на наш двор! Пока обстроишься, у нас поживешь.

Первым на берег соскочил Семка и кинулся к деду Мандрике.

— А чо, дедка, — восклицал он, — рыбачить пойдем? Мордушку-то сплел?

— Сплетем, Семушка, сплетем. Все недосуг было. А теперя ты приехал, вместе сплетем.

— А твоя, дедка, мордушка пропала. Как ты уплыл, так и пропала. Шарил я ее, шарил — нет.

— Ах ты, Семушка, ах ты, голубь, теперя и у нас в станице парнишки будут, а то не было, — говорил Мандрика.

— Ну ладно, дедка, я побег!

— Да куда ж ты, Семушка?

— Ново место погляжу, а то все баили, баили: Амур, Толбузина, а какая она, Толбузина! — и Семка вприпрыжку умчался.

Отец Семки и казак с Аргуни, тоже приехавший на поселение в Толбузиной, расспрашивали Мандрику и Ивана, как здесь покосы, какова земля, есть ли звери. Расспросам не было бы конца, если бы Козловский не приказал сгружаться.

Разгрузку закончили уже в темноте. А ночью солдаты разложили большой костер, и к нему пришли сначала молодые казаки с женами, а потом, услышав веселые голоса, смех и песни, потянулись остальные толбузинцы.

— Вот это по-нашему, по-устьстрелочному, — приговаривал Мандрика, глядя, как подвыпившие казаки и солдаты пустились в пляс.

И когда уставшие плясуны уселись передохнуть прямо на землю, Мандрика попросил:

— А что, Настенька, запела бы батьки твою песню. Теперя и подтянуть есть кому. Нас, казаков усть-стрелочных, добавилось.

У Насти сегодня особенное настроение. Еще в поле она стала вдруг прислушиваться к себе. И веря и не веря почувствовала, что в ней произошла желанная перемена. Когда в полдень они сели отдыхать, Настя, смущаясь, шепнула об этом своей свекрови. Марфа придиричиво порасспрашивала Настю о том, что она чувствует, и, перекрестившись, сказала: «Слава тебе, господи, вот и дождались мы с дедом внука». И сейчас, храня пока с Марфой эту радостную тайну, Настя не стала отнекиваться и, вглядываясь в пламя костра, запела:

Как от Шилки по Амуру
Великие версты:
Ох, достались эти версты —
Стерли у рук персты...

Оказалось, что песню знали не только казаки Усть-Стрелочной сотни, пели ее и на Аргуни, слышали и некоторые солдаты. Пригорюнились старики, вспоминая поход пятьдесят шестого года. Видел Мандрика в эту минуту, в изменчивых бликах костра, видел как живого обмороженного и закопченного дымом дружка своего, Настиного родителя Кузьму Пешкова. Были и среди линейных солдат четвертой роты участники той бедственной экспедиции. И подхватили они бесхитростные слова:

Мы со Стрелки отправлялись
С полными возами,
Ну, а в Кизи приплывали
С горькими слезами.
На прекрутом бережку
Вырастало древо,
Вырастало древо —
Березынька бела...

Козловский еще в прошлом году слышал эту песню, но тогда она не произвела на него такого впечатления, как сейчас. А в эти минуты, то ли оттого, что пламя костра своими бликами освещало лица певцов, то ли потому, что песню пели очевидцы и участники похода, простые слова зазвучали по-особенному, а может быть, все вместе разволновало и растрогало молодого ротного командира. И он, вынув из кармана книжку, торопливо записывал слова. Настя же, будто забывшись, пела:

Как на той ли на березке
Сидит птица пана.
Ой сидит та птица пана,
Кричит «запропала»!
— Забайкальские казаки!
А где ж ваши кони?
— Наши кони во сыр доле
Белеют костями.
— Забайкальские казаки,
А где с коней сбруя?
— С коней сбруя истрепалась.
В Амуре осталась...

Карандаш у офицера сломался, но заканчивалась и песня.

Кто в Амуре не бывал,
Тот и горя не видал.
Кто в Амуре побывал,
Тот все горе распознал.

«Ну, это я и без записи запомню», — подумал поручик, пряча книжку.

— Во! — выкрикнул неожиданно Мандрика, разряжая настроение, вызванное песней. — Сёдни у нас настоящая вечёрка! Не знаю, как ты, Марфа, а я будто помолодел на

десять годков. А ну, кто помоложе, заводите «Голубца». Может, и я спляшу, чо нам печалиться-то на новом месте.

И первый, прихлопывая в сухие ладоши, начал припевку к песне:

Хай, люли, голубец!
Не паси наших овец.
Овцы купленные,
Ушки рубленые...

3

За неделю пути весна успела обогнать 13-й батальон. На гористых берегах Шилки еще шумными ручьями истекали снега да цвела, не успев распустить листья, верба, а караваны гусей своими тревожными криками, будто они и есть гонцы весны, извещали: весна идет, она совсем рядом, за горами.

За Усть-Стрелкой, на пойменных лугах, подступавших к Амуру, весна порадовала линейцев первыми робкими ростками травы, проклюнувшимися на земле, черной от прошедших палов. Палы и сейчас стлались дымными хвостами днем и полыхали багряными заревами ночью. Иногда они вырывались к самой реке, вроде бы неторопливо подбирали под себя полегшую прошлогоднюю траву, с треском проходили по кустарнику. И, несмотря на кажущуюся медлительность, огненный вал, подгоняемый попутным западным ветром, обгонял баржи, и они плыли ему вслед по отраженному водой пламени.

Совсем непонятно было, кто разжигал на этих, так пока еще редко населенных берегах, весенние палы. По Шилке у станиц палы пускали сами казаки, чтобы дать рост молодой траве, а здесь от жилья до жилья — плыть да плыть. Гроз еще не было, а палы гуляли. Иногда палы были медленные, они словно кружили на одном месте, и караван шел на их зарево, равнялся с ним и уходил дальше в темноту.

Остались позади новые станицы: Игнашина, Сгибнева, Албазин, Бейтонова. За Толбузиной на островах первые дни мая встретили солдат горьковато-медовыми запахами за ночь распустившихся тополей, а под ними, у самой воды, уже совсем по-летнему покрылась листьями дикая смородина. Березы склоняли к реке плакучие ветви, покрытые сережками, а хвойные леса, шубой одевавшие сопки, словно умылись зеленым соком.

С Толбузиной пошли станицы, заложенные в прошлом году 13-м батальоном: Ольгина, Кузнецова, Аносова...

Генерал-губернатор спешил, не давал отдыху ни себе, ни линейцам. Даже привычные к веслам солдаты уже успели набить на руках мозоли. Где-то на сутки от передового отряда отстала третья рота с новым командиром поручиком Коровиным и на двое — четвертая рота. Вспоминая ее командира, капитан Дьяченко, улыбаясь, думал, что Козловский опять считает себя обойденным. Весь батальон ушел вперед, а он возится с плотами казаков-переселенцев и, наверно, заметив встречную лодку с курьером, с опасением думает: не везут ли ему распоряжение остановиться, чтобы опять строить здесь в знакомых местах какую-нибудь новую станицу, или, не дай бог, приказ, высадив переселенцев, повернуть обратно за новой партией. А Козловскому так хочется увидеть Восточный океан.

Но тревоги молодого офицера напрасны, по крайней мере, до Усть-Зейской станицы он дойдет. А вот какой путь предстоит батальону потом, не знает сам капитан. Однако где-то, возможно, на Хингане, у реки Буреи, а может быть, и на Среднем Амуре ему предстоит стать надолго. Недаром батальон везет с собой все свое имущество.

«Мой батальон, — думает Дьяченко, — наконец-то я могу так сказать, не опасаясь, что кто-нибудь на это заметит: «Как я знаю, капитан, вы только временно исполняете должность». Медленно возвращающаяся штабная машина все-таки сработала. В феврале он утвержден на должности батальонного командира. Кажется, простая формальность — этот

приказ: капитан и без утверждения командовал батальоном больше года. Но, отдавая распоряжения, отвечая за работы и жизнь нижних чинов, он невольно чувствовал себя стесненным. Якову Васильевичу казалось, что ему не доверяют, проверяют и обсуждают каждый его шаг. Хотя, возможно, так оно и было.

«Где же все-таки будет новый лагерь?» — думает Дьяченко. Из-за этой неясности он не мог пообещать ничего определенного ни сыну, ни жене. Даже не сказал, когда он вновь их увидит: через год, полтора, два. Не сказал, потому что сам до сих пор этого не знает.

«Вот так, Яков, в сорок один год ты наконец-то имеешь семью: законную жену и сына, — мысленно говорит он себе. — И блага семейного уюта ты испытывал только месяц. Нет, почему же месяц? Всего полмесяца...» На месяц ему был дан отпуск в Иркутск.

В морозный декабрьский день капитан на саних подъезжал к Иркутску. Невысокое полуденное солнце блестело на горбах сугробов и позолоченных крестах. Издали хорошо были видны башни, белые стены, зеленые крыши церквей. У шлагбаума, которым оканчивался у города Амурский тракт, ямщик соскочил с облучка и снял с лошадей колокольчики. Сунув их за пазуху, он опять сел на облучок и тронул лошадей. Яков Васильевич не удивился. Он знал, что по улицам Иркутска запрещалось ездить на лошадях с колокольчиками.

Быстро миновали окраину города с невысокими обывательскими домами, а потом пошли улицы, обставленные богатыми лавками и магазинами с крашеными вывесками на русском, немецком и французском языках. Французские вывески украшали двери магазинов с одеждой, посудой, немецкие висели над булочными, потому что содержали их и выпекали хлеб в городе чаще всего немцы. Проносились мимо трактиры, табачные и чайные лавки.

— К собственному дому Захарова или к его магазину? — спросил ямщик.

— К дому, — нетерпеливо приказал капитан.

— Тогда сюда, — завернул ямщик лошадей к двухэтажному, с кирпичным нижним и деревянным верхним этажом дому, за крашеным высоким забором. Лошади стали у тесовых, окованных железными полосами, ворот, увенчанных сверху коньком с деревянными резными петухами.

Гостей здесь сегодня не ждали. Пришлось ямщику порядком поколотить рукояткой кнута в ворота, пока во дворе послышалось движение, лязг цепи и лай пса, а потом старческий кашель, и половинки ворот наконец распахнулись.

— Ах, Яков Васильевич, Яков Васильевич! Неужто это вы! — всплеснула руками хозяйка, спускаясь по лестнице в просторную прихожую, куда ямщик занес вслед за капитаном его дорожные вещи. — Вот радость-то! Володенька так скучал. Да не раздевайтесь здесь, сударь, проходите в свою комнату. Мы ее никому не сдаем. Бережем для вас уже четвертый год.

Да, пошел четвертый год, как капитан покинул Иркутск, оставив в семье купца Захарова своего сына.

Радушию хозяйки, казалось, не было границ. К гостю был приставлен свободный приказчик. «Филипп, помоги господину капитану раздеться. Распакуй вещи, подай горячей воды, мыло и полотенце. Покажи, где что лежит. Исполняй все, что прикажут». Кого-то из слуг хозяйка тут же послала «в классы», сообщить Володе, что приехал отец: «Да забеги к Константину Севастьяновичу, передай, что у нас дорогой гость, пусть долго не задерживается».

И уже вслед направлявшемуся в свою комнату Якову Васильевичу она сказала: «Через полчаса, как помоетесь с дороги, я к вам в комнату пришлю чаю, а на ужин милости просим к нам. Константин Севастьянович будет рад».

Прибежал розовый с мороза, заметно выросший Володя. Шагнул было от дверей, готовый броситься к отцу, да по-мальчишески смешался, застеснялся, остановился. Яков Васильевич, успевший побриться, сам пошел к нему навстречу, широко расставив руки.

— Ну, Володя, ах ты, Володя! Вот вырос! Ах, молодец, какой стал, — радостно и

бессвязно говорил капитан, прижимая сына к груди.

Разговор у них, сначала оживленно вспыхнувший и торопливо переходивший с одного на другое, когда они после долгой разлуки заново привыкали друг к другу, постепенно стал неторопливым и доверительным. Они уже не бросали один другому обязательные вопросы: «Ну, как ты тут?» — «Как учишься?» — «Не скучал?..» — «А ты надолго приехал?» — «Когда возьмешь меня к себе?» — «Боязно там на Амуре?» Они рассказывали каждый про свое и не заметили, как стемнело, и окно, покрытое протаявшим местами узором инея и обращенное на закат, налилось синевой.

В это время у дверей послышались грузные шаги и рокочущий бас хозяина Константина Севастьяновича Захарова:

— Ну-ка, ну-ка, где наш герой-амурец?

Кряжистый, не жалующийся на здоровье, Константин Севастьянович, стриженный под кружок, с черной, без единой сединки, будто крашеной бородой, вошел в комнату гостя со свечой в руке и у порога притворно ужаснулся:

— Это что такое! Сидят тут, полуночничают в темноте и света не попросят, будто сало на свечи в Сибири перевелось. Филипп! Тащи подсвечник. Хотя, не надо. Пойдемте-ка, пойдемте к нам на пельмени и пирог!.. Сегодня мы без посторонних, по-семейному, только свои, — говорил Константин Севастьянович, поднимаясь по лестнице вслед за капитаном и его сыном. — Очень хочется послушать ваши рассказы об Амуре, Яков Васильевич. А доживем до завтра, милости прошу на день ангела наследницы всей чайной и пушной торговли купца Захарова Афимьи Константиновны!

Наверху в зале у круглого накрытого стола гостя поджидала хозяйка. Здесь, после холостяцкой комнаты, которую занимал в Шилкинском заводе капитан, ему показалось до неправдоподобия уютно и хорошо. От двух протопленных «голландских» печей исходило ровное сухое тепло. Мерцая, горели свечи в бронзовых тяжелых подсвечниках.

— Прошу, прошу за стол, Яков Васильевич, — сама отодвигая резной стул, пригласила хозяйка. — Сейчас и Фимочка придет.

— Я позову тетю Фиму! — вдруг сорвался с места не отходивший до этого от отца Володя.

— Сдружились они, — провожая подростка взглядом, сказал Константин Севастьянович.

— Уроки она ему помогает делать, и рисуют вместе, — добавила хозяйка. — Вот и сдружились.

В коридорчике, куда убежал Володя, послышались веселые голоса, и в зал вышла высокая, смуглая лицом, стройная девушка. Она, не успев погасить улыбку, присела в реверансе и направилась к Якову Васильевичу.

— Вот и наша Фимочка, — сказала мать, — она у нас, сударь Яков Васильевич...

— Мама, — остановившись возле стола, сказала Фима, — сейчас вы скажете: «Она у нас играет на пианино, поет, рисует, вышивает бисером, ходит к заутрене...»

— Верно, — хохотнул купец, гордясь дочерью, — верно говоришь, Афимья-свет Константиновна. Чего об этом загодя рассказывать, наш гость и сам все увидит.

— Дай-то бог, — непонятно чему озаботившись, перекрестилась хозяйка.

Якова Васильевича посадили так, что справа от него оказался сын, слева Фима, а напротив хозяйин с хозяйкой. Давно капитан не чувствовал себя так хорошо и свободно, давно у него не было таких внимательных слушателей. Константина Севастьяновича интересовало: какого зверя промышляют на Амуре, чем богат тот край и какие товары пойдут в промен? Фима расспрашивала про Амур: какой он, похож ли на Ангару, есть ли там красивые места? Хозяйка спрашивала про свое: «Как в походе пироги печете? Ведь духовка нужна. Или как по-другому ухитряетесь?»

— Ну, мать, ты тоже скажешь! Какие в походе пироги! Там сухариков и тех не всегда хватает, — похохатывая, сказал Константин Севастьянович, чем ввел в немалое смущение свою супругу. Она потом больше слушала да все подкладывала на тарелку гостя то заливное,

то закопченного до янтарной прозрачности байкальского омуля.

Володя с восторгом слушал рассказы отца. О том, как тянут бечевой баржи, как рубят станицы. Фима все чаще задерживала взгляд на обветренном лице капитана, и ей он, как и Володе, казался героем, пришедшим в эту, оклеенную обоями гостиную, прямо из увлекательной книжки о путешествиях.

В Иркутском институте госпожи Липранди, где воспитывалась еще два года назад Фима и где разговоры воспитанниц, с чего бы ни начинались, чаще всего заканчивались рассказами о венчании или свадьбе кого-то из их сверстниц, — вот уже несколько лет идеалом жениха считались амурцы. Прежде всего, по мнению иркутских девиц, это были отважные, благородные люди. Немаловажным обстоятельством было и то, что перед ними была открыта дорога к быстрой служебной карьере. А потом, ах как много они повидали в своих трудных походах, как умели рассказывать! Иркутск буквально оживал, когда поздней осенью сюда возвращались с Амура офицеры. Для них были открыты двери во все лучшие дома. Сама начальница института Екатерина Петровна Липранди непременно приглашала к себе в институт каждого приезжавшего с Амура офицера и в присутствии кого-нибудь из классных дам или девиц пепиньерок беседовала с ним в своих комнатах. Нередко, когда замуж выходили воспитанницы Иркутского института, венчание проходило в институтской церкви, и счастливые пары венчал институтский священник отец Алексей.

В 1854 году, когда в их доме снял комнату поручик Дьяченко, Фима воспитывалась в институте, откуда домой воспитанниц отпускали нечасто, и жильца-офицера она видела только мельком, хотя любопытные подруги замучили ее расспросами о нем. В мае, перед самым концом занятий в институте, Дьяченко уехал в отпуск. Что скрывать, даже его закрытая комната волновала девушку, когда она проходила мимо. А тут еще разговоры матери и отца о жилье.

Фиме очень хотелось увидеть поручика, и когда в конце лета он наконец вернулся, девушка опять собиралась в институт госпожи Липранди. Всего несколько дней прожила она рядом с ним в родном доме и была разочарована. Поручик оказался гораздо старше, чем она думала, и у него был сын...

Вскоре постоялец уехал в Верхнеудинск, затем в Шилкинский завод, а там на Амур. А по сибирской столице шли толки об амурских сплавах, да и вообще слово «Амур» было у всех на устах. «И твой Яков там», — говорили вполне серьезно подруги-институтки. Фима сначала обижалась этому слову «твой», но постепенно привыкла, и не только к тому, что так его называют подруги, а и сама стала считать его своим собственным героем-амурцем. Она пересказывала девицам редкие письма, которые уже штабс-капитан Дьяченко присылал сыну или ее отцу. И все амурские новости, и хорошие и плохие, Фима теперь связывала с офицером Яковом Дьяченко. И себя иногда представляла с ним на крутом речном берегу, залитом ярким солнечным светом.

А за столом опять шли разговоры, и «ее Яков» оказался интересным, остроумным собеседником и рассказчиком.

И сейчас отсюда, из наполненной сухим теплом уютной комнаты, Якову Васильевичу все лишения походов — встречные ветры и мели, дожди и полчища комаров, заплесневевшие сухари и теплые баржи, изнурительное движение бечевой и работа с восхода до заката — все это казалось не главным, наносным, а оставалась движением вперед в новые неизведанные места, оставались станицы, которые они срубили на диких берегах, и оживавший вдруг от этих станиц амурский берег.

Встали из-за стола, по иркутским понятиям, очень поздно, когда часы с кукушкой пробили десять, нарушив давно установившийся в доме порядок.

— Ах, жаль, — искренне сокрушалась хозяйка, — Фимочка так и не успела ни сыграть вам, ни спеть.

— Успеет, мать, успеет, — благодушно рокотал Константин Севастьянович. — Вот завтра и послушает. Завтра у Афимьи день ангела, и герой наш обещал непременно быть.

На следующий день утром капитан наносил служебные визиты. Прежде всего он явился к начальнику штаба Буссе. В его прихожей у вешалки сидел солдат-вестовой, больше никого не было. Дьяченко попросил доложить о себе. Вестовой исчез за дверью и долго не возвращался. Прошло не менее двадцати минут, капитан успел разглядеть и просторную прихожую, и вешалку с полковничьей шинелью, и галоши под ней, и ряд гнутых стульев у стены. Наконец вестовой вернулся и пригласил Якова Васильевича в кабинет.

Начальник штаба, худой и бледный молодой полковник, встретил его стоя:

— Очень, очень рад вас видеть, капитан, — сказал он и показал на стул.

Усаживаясь, Дьяченко невольно подумал: «Нет, Буссе, видно, не сняты жертвы пятьдесят шестого года, больно уж у него вид холеный».

— В Иркутск вы приехали в отпуск? — тоже опустившись на стул, спросил полковник.

— Так точно, — ответил капитан. — Но я одновременно решил похлопотать и о делах тринадцатого батальона.

— Это похвально, — заметил Буссе. — Приятно видеть старательного офицера. Однако по всем служебным вопросам я попрошу вас обратиться в соответствующие управления непосредственно. Сегодня, видите ли, я не совсем здоров.

— Слушаюсь, полковник, — сказал Дьяченко, поднимаясь.

— Прощайте, капитан.

Так странно и неожиданно быстро окончился этот визит, на который Яков Васильевич, признаться, возлагал большие надежды.

Остаток дня капитан ходил по канцеляриям управлений штаба, добываясь снаряжения и обмундирования, нужного батальону. Выяснял, как продвигаются бумаги о присвоении очередных званий Прещепенко и Козловскому, справлялся, не решилось ли, наконец, дело юнкера Михнева.

Там, в штабе войск Восточной Сибири, к нему неожиданно подошел поручик.

— Помните меня, капитан? — спросил он.

Что-то в лице поручика показалось Якову Васильевичу знакомым, но, пока он припоминал, где встречал этого офицера, тот сам сказал:

— Забыли? Поручик Коровин. Бывший командир вашей третьей роты. Когда-то я смалодушничал и оставил батальон. — Говоря это, поручик твердо смотрел капитану в глаза.

Теперь и Яков Васильевич вспомнил, как уговаривал этого офицера, ходившего в сплав с полковником Облеуховым, взять обратно свое прошение о переводе из батальона. Вспомнил, как он, волнуясь, говорил: «Они же, солдаты, не поверят теперь ни одному нашему слову. Мы их бросили... Трусливо бросили в снежной пустыне».

— Знаете, капитан, возьмите меня обратно в батальон. Вы не представляете, как надоели штабные интриги. У вас там, на Амуре, вершатся настоящие дела, а я просидел в штабе год, как карась в тине. — И доверительно добавил: — Я уже и рапорт подал. Если вы поддержите и зайдете к начальнику штаба, все моментально решится.

— Но он не здоров. Я утром был у него.

— Пустяки, — впервые улыбнулся поручик. — Болезнь и усталость — это маска, которую наш полковник натягивает с утра. Зато, видели бы вы, каким молодцом становится он, когда заходит сам Николай Николаевич.

Пришлось опять идти к Буссе. В его прихожей к этому времени стало многолюдно. Коровин пошел вместе с Дьяченко. Толпившихся в ожидании приема офицеров поручик знал и громко представил капитана:

— Господа, разрешите представить вам командира 13-го батальона Якова Васильевича Дьяченко! Прошу любить и жаловать.

— Капитан, — от стены к Якову Васильевичу шагнул офицер в морской форме, — сегодня вечером прошу ко мне на свадьбу. Болтин, — протянул он руку, — командир парохода «Амур». Рад видеть амурца. Где довелось побывать?

Яков Васильевич коротко рассказал о строительстве станиц.

— А я поднялся только до устья Зеи. Мой «Амур» прибыл туда в конце августа.

Потом...

— Потом он посадил свой пароход на мель, — звонко сказал кто-то из офицеров.

— К сожалению, он находится и сейчас в Амурской протоке. Я обставил его кольями, чтобы весной не помял ледоход, а сам в Иркутск... жениться!

— Такого количества невест, как в Иркутске, вы, капитан, нигде больше не найдете. Вы, кстати, женаты? — спросил у него лысоватый штабс-капитан.

Когда собравшиеся узнали, что батальонный командир не женат, на него посыпались полусерьезные, полушутливые упреки:

— Как же так, капитан! Да в Иркутске ждут не дождутся амурцев, в три дня сватают, объявляют помолвку и... под венец.

— Здесь женился Невельской, герой Нижнего Амура! А Сгибнев! Вы знаете командира «Аргуни» Сгибнева? Его женили накануне первого сплава, и он, опасаясь оставить молодую жену в городе, взял ее с собой в неизведанную дорогу. Представляете, каково было это свадебное путешествие!

— Господа, господа! Хватит перечислять! — вмешался Болтин. — Достаточно сказать, что в эту зиму я уже восьмой амурец, который связал себя узами Гименея в Иркутске. Сегодня вечером мы познакомим вас, Яков Васильевич, с приличной девицей и до конца вашего отпуска успеем сыграть свадьбу!

— К сожалению, к величайшему сожалению, — развел руками Дьяченко, — сегодня вечером я обещал быть на дне ангела.

— Это у кого же?

У Афимьи Константиновны Захаровой.

— Даже так! — сложил руки на груди и со значением оглядел всех лысоватый штабс-капитан. — Ну, знаете! Афимья Константиновна — одна из самых состоятельных невест нашего стольного города вся Сибирь. Мы тут, в своем кругу, не раз удивлялись, отчего это она засиделась в невестах. Ей ведь как-никак двадцать пять стукнуло... А при ее внешности и приданом сие совершенно непонятно. Оказывается, она ожидала амурского принца! Мне-то что, я убежденный холостяк, но считаю своим долгом предупредить: у вас, капитан, будет немало соперников. Ой, быть в Иркутске дуэли!

Офицеры не заметили, как распахнулась дверь и вышел из своего кабинета полковник Буссе. Разговор моментально оборвался. Начальник штаба куда-то спешил и, обходя офицеров, тут же распоряжался:

— Вы, штабс-капитан, придете завтра... Ваш вопрос решен. Вы, — подошел он к Болтину, — можете задержаться в Иркутске до февраля. В феврале спешите на судно.

Подойдя к Дьяченко и Коровину, он сначала удивленно посмотрел на Якова Васильевича, потому что тот уже был у него, а потом, переводя взгляд на Коровина, понимающе прищурился и сказал:

— Ясно, поручик Коровин привел поддержку. Что ж, поручик, удовлетворяем ваше прошение. Мне на Амуре нужны старательные офицеры. Забирайте его, капитан.

Шутки офицеров оказались пророческими. Уезжал Яков Васильевич из Иркутска женатым человеком, зятем Константина Севастьяновича Захарова. Вместе с ним отправился в Шилкинский завод и поручик Коровин. Теперь он командует третьей ротой.

Второго мая, с самого утра, солдаты первой роты часто поглядывали вперед. Ждали станицу Кумарскую.

Показалась наконец покрытая не распутившимся еще дубняком сопка Змеиная, а за ней и долгожданная станица. Линейцы надеялись, что генерал разрешит остановиться в станице на дневку, но он дал для отдыха лишь несколько часов. Приходилось радоваться и этому. Можно было ступить на землю, размяться, походить по станице, где знакомы были каждый дом и каждое обтесанное своими руками бревно в доме.

А тут еще на дежурном баркасе, сопровождавшем генерал-губернатора, взвился желанный бело-сине-красный флаг, сообщавший о том, что генерал приказал выдать роте

внеочередную винную порцию.

— Глянь-ка, Кузьма, — сказал Сидорову Михайло, — флаг-то винный!

— Вижу, — довольно крикнул Кузьма. — А ты, Леший, али недоволен?

— Ты что, перекрестись, — даже обиделся Михайло.

Солдат уже привык к своей фамилии. Во всех списках он проходил теперь Лешим. Опасения, что батальонный командир в конце концов заарестует его, прошли. Михайло во всем старался угодить капитану. Работал как вол, службу, караулы нес со рвением.

— Лесок-то, где я прятался, поредел, — говорил он Кузьме, вглядываясь в берег. — А печки мои дымят! Ишь ты, греют, голубушки. Как это пели бабы то, когда я печки клал;

Высоко, дым белый, взвейся,
Чтобы милый увидал...

— Что ты за всех баб прячешься, — смотрит на Михайлу, прищурив глаз, Кузьма. — Говори напрямик, что так Дуняха тебе напевала. Вон и ее труба дымит.

— Ды-ымит, — узнав дом казачки, соглашается Леший и старается среди спешащих к берегу жителей станицы разглядеть Дуню. Но народу на берегу немного, и Дуни среди встречающих нет.

«Ничего, — утешает себя Михайло, — подойдет».

Грустно рассматривает станицу ставший уже заправским солдатом Игнат Тюменцев. Он завидует казакам. Хоть и служба у них на всю жизнь, зато вернулся из похода или караула — и ты дома. Ждет тебя жена молодая. И он представляет себе казачью жену похожей на Глашу. А его Гланя далеко, в той неведомой стороне, куда течет Амур и где прямо из моря всходит солнце. «Нет, все-таки плохо, — думает Игнат, — что попал я в 13-й батальон. Попади я в 15-й, стоял бы сейчас в том самом Мариинске, куда увезли каторжанок и с ними Глашу. Вот оно, тринадцатое число...»

Всего три часа простояла рота в станице, даже не успели солдаты как следует поговорить со станичниками. Только стали расспрашивать да слушать, как перезимовали, у кого скотина пала, что в тайге напромышляли, а тут уж и голос унтер-офицера Ряба-Кобыла: «Стройся! На погрузку шагом марш!»

Все эти три часа Кузьма провел в доме матери Богдашки, даже обедать не пошел. Не до еды было. Беда в этом доме стряслась. Узнал о ней солдат сразу, как сошел на берег. Подбежала к нему девчушка малая, тронула за рукав:

— Дяденька, а у нас папани не стало...

Взглянул на девочку Кузьма и узнал младшую сестренку Богдашки.

— Что ты говоришь, как не стало? — изумился солдат.

— Деревом его прибило, — щебечет девочка.

— А Богдашка где? А маманя твоя?

— На огороде они.

— Ну води меня, пташка ты малая, к ним, — сказал Кузьма.

Так, не отцепляясь от рукава, и привела его девочка в свой двор. Пришли с огорода Богдашка и его мать. Может, лучше бы и не приходил к ним Кузьма. Растревожил он отболевшую рану. Еще в начале зимы заготавливали казаки лес, и тогда убило Богдашкиного отца упавшим деревом. Зиму пробедовала казачка с двумя ребятами без мужской помощи, без мужских рук. И весной легче не стало: и пахать надо, и сеять, и огород сажать. А тут не заметишь, как покос подойдет. И все самой, самой. Расплакалась казачка, жалуясь на свою вдовью долю. Девчушка на колени к Кузьме забралась. Богдашка тоже ни на шаг от него не отходит. Кузьма сидел и только вздыхал. Помочь бы им по хозяйству надо. Задержались бы, так помог, а так что, одно расстройство... Достал солдат три серебряных рубля, все, что осталось после зимы в Шилкинском заводе, и отдал казачке. А тут и команда на погрузку.

Михайле больше других не повезло. Как раз подошла его очередь кашеварить. Пока сварили обед, раздали, сполоснули и протерли травой котлы, немало времени прошло. Как

только освободился Леший, побежал по станице, очень хотелось ему взглянуть на Дуняшу. Но обошел он улицу из конца в конец, от дома сотника до бани, замедлил шаг у избы, где с Дуней печь клали — нет ее нигде. А зайти в хату солдат не решился. Было бы больше времени, может, и зашел бы, вроде печку посмотреть. А может, зайти? Пока он раздумывал, Ряба-Кобыла уже команду подал. Пора на посадку. Отвалили баржи, и только тогда увидел Михайло Дуню. Стояла она у самой воды и на руках ребенка покачивала. Зашлось сердце у солдата. Вокруг Дуняши казаки, казачки. Кричат, руками машут, ребятишки скачут, а Дуняша стоит и смотрит на отчалившую баржу. Видит, нет ли она Михайлу — не знает солдат. Встать бы, помахать ей, да нельзя — за веслом Леший. И тут Дуня приподняла своего мальчика выше головы, словно решила показать его Лешему. Ай, беда. Все без слов, все издали. А вдруг этот дитенок у Дуни на руках его, Михайлы Лешего, сын или дочка? Ведь жаловалась она, сколько живет со своим казаком, а дитя у них все нет. Михайло тогда не придавал значения ее словам: нет, мол, так будет. А сейчас они всплыли в памяти, слова эти. Встал все-таки Леший, не выпуская весла, хотел крикнуть во всю мочь: «Дуня!» — да тут же и сел. Крикнешь, а на берегу ее мужик. Не будет потом бойкой казачке Дуняше житья.

Так и не узнал Михайло, разглядела ли Дуня его среди других гребцов. Словно не баржа от берега, а берег поплыл от баржи в сторону, назад, вместе с казаками станицы Кумарской, вместе с их домами, вместе с чужой женой Дуней.

«Ничо, бог даст, вернемся, еще встретимся», — пытался успокоить себя Михайло, налегая на тяжелое полуторасаженное весло. А в голове звучали Дунины слова: «Солдатик... Ле-ший... Ми-лай...» — словно стояла она рядом и наговаривала жарким шепотом эти слова.

4

Медленно тащился по Амуру огромный баркас, вызывая удивление у команд более подвижных барж, и своей громоздкостью, и тем, что с баркаса доносились бляние овец, кудахтанье кур, а порой и совсем сельский крик петуха.

На баржах да и в станицах, которые миновал баркас, гадали: кто это и куда плывет на таком неуклюжем судне? На переселенцев не похоже, они бы везли с собой коней, коров, телеги. На таком баркасе свободно могла разместиться рота солдат, но и людей на нем не так уж много.

Иногда с барж, равнявшихся с баркасом, любопытствуя, окликали:

— Далеко ли, любезные, путь держите?

На баркасе отмалчивались, или измотавшиеся за дорогу, управлявшие непослушным судном казаки сердито отвечали:

— А туда ж, куда и вы!

Неудовлетворенные ответом, на баржах начинали подшучивать:

— А что это вы, любезные, кукарекаете?

Казаки угрюмо молчали, и это еще больше распаляло шутников.

— Слыш-ка, паря, баб у них нет, так они кур щупают, ишь, как кудахчут сердешные! — и вслед раздавался взрыв хохота.

Михаил Иванович Венюков, отправившийся в интереснейшую, как ему представлялось, экспедицию по реке Уссури, уже «переболел» обиду, нанесенную ему в Шилкинском заводе. Там его команде и был выделен этот злосчастный баркас, к тому же еще загруженный баранами и курами, предназначенным к столу генерал-губернатора. Сначала Михаил Иванович возмущался тем, что его экспедиция, которой надо было спешить к устью Уссури, превратилась в «задний двор» губернатора, но потом смирился с неприятными обстоятельствами и теперь каждый день пути использовал для работы.

В прошлом году, возвращаясь с Амура, он на лодке добрался до Сретенска и там получил известие, что генерал-губернатор собирается в Петербург. Пришлось спешить в

Иркутск, чтобы доставить Муравьеву сведения обо всем сделанном на Амуре после его отъезда. Сведения эти были крайне нужны генерал-губернатору, чтобы убедить в столице маловеров и противников амурского дела в необходимости его продолжения и завершения. И Михаил Иванович помчался на курьерских в Иркутск.

Муравьева он застал уже одетым в дорогу. Во дворе стоял с подмазанными осями и уложенными вещами любимый генеральский тарантас, который Николай Николаевич предпочитал рессорным экипажам.

Выслушав Михаила Ивановича, генерал приказал ему явиться с отчетом в начале зимы в Петербург.

Начальник Венюкова Будогосский не мог простить ему поездку на Амур с генералом, считал, что сам он обойден вниманием Муравьева, и поэтому грубил, мешал в работе и даже присвоил несколько карт, изготовленных Михаилом Ивановичем.

Два с половиной месяца, прожитых Венюковым в Иркутске, были бы тягостны, если бы не вечера, проведенные в Сибирском отделе Географического общества, да встречи с Петрашевским и его друзьями.

Из троих видных петрашевцев, живших тогда в Иркутске, Михаил Иванович более всего сошелся с самим Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским. Ему нравились резкая правдивость и злые насмешки Петрашевского. С ним интересно было поговорить и о науке, и о политике, и даже о насущных амурских делах.

Тогда же появилась в городе еще одна любопытная личность, Михаил Александрович Бакунин, сразу привлечший к себе внимание иркутского общества. В гостиных шептались, что он революционер, ниспровергатель престолов, приговоренный якобы уже дважды, а может, и трижды к смертной казни. Один раз смертный приговор ему заменил пожизненным заключением король Саксонский, потом австрийский военный суд приговорил его к повешению. Однако и это решение было заменено пожизненным заключением. Поговаривали также, что по требованию России он был переведен в Петербург и здесь лишен сенатом дворянского звания и приговорен на каторжные работы в Сибирь, но сам государь, — здесь рассказчики понижали голос до шепота, — по ходатайству Николая Николаевича Муравьева, позволил ему отправиться на поселение в Сибирь.

Так это было или не так, но рассказчики утверждали, будто у Николая Николаевича Бакунин бывал в любое время дня и ночи, их часто видели гуляющими вместе, причем Николай Николаевич называл Бакунина кузеном.

Лично познакомиться с Бакуниным Венюков не успел.

Все отчеты для генерал-губернатора были быстро завершены, и Михаил Иванович на курьерской тройке помчался в Петербург. Будогосский, опасаясь, что Михаил Иванович может пожаловаться на него Муравьеву, в последние дни перед отъездом стал вдруг очень любезен. Мало того, что он приходил к нему есть провожальный пирог и пожелал счастливого пути, но еще, чтобы до конца показать свое так неожиданно вспыхнувшее расположение, попросил сделать ему одолжение и приискать для него в столице португую и разное шитье.

Петрашевский перед отъездом Венюкова передал ему письмо к матери и откровенно сказал, что боится доверить его почте.

— И сообщите, Михаил Иванович, как мы тут обитаем...

При первой же встрече в Петербурге Муравьев объявил Михаилу Ивановичу, что летом ему предстоит возглавить экспедицию по исследованию реки Уссури. Там же, в столице, Венюков увлеченно начал готовиться к новому путешествию. Он копирует карты, делает выписки из книг, получает топографические инструменты, запасается нужной литературой.

Однажды вечером в дверь квартиры на окраине Петербурга, которую занимал молодой офицер, постучался неожиданный гость. Им оказался сам Геннадий Иванович Невельской, человек, поднявший русский флаг в устье Амура. Он пригласил Венюкова к себе и несколько вечеров подряд рассказывал о тех местах, где еще предстояло побывать поручику. Геннадий Иванович был настолько любезен, что сам начертил эскиз карты реки Уссури и написал к

ней пояснение.

Не забыл Михаил Иванович и просьбу Петрашевского. На Торговой улице он разыскал дом матери Михаила Васильевича. Старушка спрятала письмо сына под косынку на груди и во время долгого разговора так и не вынула его, не прочла. Не написала она и ответ.

Теперь позади и дорога от Петербурга в Иркутск, и новые стычки с Будогосским, и дорога до Шилкинского завода. И вот наконец команда его плывет по Амуру. Уже на этом дурацком баркасе Михаил Иванович ради любопытства подсчитал, что только за год, с февраля прошлого по февраль нынешнего, не считая этой новой экспедиции, он проехал более двадцати двух тысяч верст.

В Петербурге, в библиотеке главного штаба, Михаил Иванович подобрал для Иркутска целую кипу книг о Восточной Азии. Некоторые из них он взял с собой в дорогу. В том числе и аккуратно переплетенный полугодовой комплект журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» за 1757 год. Привлекла его в журнале, выходившем еще при Михайле Ломоносове, «История о странах, при реке Амуре лежащих, когда оные состояли под Российским владением».

Интересно было читать сочинение, написанное сто лет назад. Автор его высказывал свою точку зрения на происхождение слова «Амур»: «Живущие по сей реке народы думают, что сие имя есть Российское, потому что оно ни у них, ни у китайцев, и ниже у маньчжуров не употребительно», далее рассказывалось о первых известиях об Амуре, полученных через томских казаков, «кои посланы были в 1636 году из Томска на Алдан-реку»; о походе письменного головы Василия Пояркова, а потом и «промышленного человека, уроженца города Соли-Вычегодской, именем Ерофей Хабаров».

Журнал печатал эту «историю» из номера в номер. И как ни медленно тащилась баржа Венюкова тем же путем «встречь солнца», каким плыли землепроходцы, чтобы «провесть оную реку обстоятельно», а все равно одно за другим миновали места, знаменитые походами предков, и реку, по которой Хабаров с неполной сотней гулящих людей и казаков первый раз вышел на просторы Амура, и Албазин. А потом и станицу Кумарскую, где в прошлом году Венюков встретился с энергичным и распорядительным капитаном Дьяченко. Оказывается, в старину и здесь, на Кумаре, стоял острог и в нем Онуфрий Степанов, а с ним несколько сот человек выдержали осаду многотысячного маньчжурского войска «к немалой чести казаков», как говорилось в журнале.

Михаил Иванович еще в Петербургском университете, слушая лекции по отечественной истории профессора Устрялова, заинтересовался прошлым Амура. Но тогда его привлекли русские люди, совершавшие великие географические открытия: Москвитин, Поярков, Хабаров, а потом оборона Албазина. А вот разгром неприятеля под Кумарой как-то прошел мимо внимания Венюкова. «Надо будет рассказать об этой битве Дьяченко, — подумал он. — Ему, построившему станицу на столь знаменитом месте, все это будет любопытно».

— Карманов! — окликнул Михаил Иванович своего унтер-офицера, переводчика с тунгусского языка. — Вы знаете, какое место мы проплываем?

— Казаки говорят: станицу Кумарскую, — ответил Карманов.

— А приходилось вам слышать, какая битва гремела здесь двести лет назад?

— Здесь? Битва? — изумился унтер-офицер.

— А вы, казаки? — спросил Михаил Иванович у своих гребцов, заранее уверенный, что и они ничего не слышали об осаде Кумары.

— Как же, — за всех ответил урядник Масленников, также входивший в команду Венюкова. — Давайте-ка, станичники, споем песню про Кумару!

Двое казаков отложили шесты, откашлялись и затянули в два голоса:

Во Сибири во украине,
Во Даурской стороне...

К удивлению своему, Михаил Иванович услышал, как «на устье Комары-реки казаки царя белого острог себе поставили», и даже описание острога с его рвом, валом, рогатками, и как потом на казаков «из раздолья широкого, из-за хребта Хингалинского, из-за белого камня, выкатилось войско большое богдойское», и как в жестокой битве войско это было разгромлено.

Пораженный, Михаил Иванович думал о том, как веками сохраняет память народа предания о подвигах своих предков. Нет, недаром эти люди — казаки и солдаты — так безропотно переносят лишения походов, бросают насиженные места, чтобы вновь пройти дорогой предков, поселиться там, где они строили свои остроги, корчевали эту землю.

— Чудно, ваше благородие, — сказал урядник Масленников, находясь, как и Венюков, под впечатлением старинной песни, — после стольких-то годов, что и новый лес успел вырасти, опять на Амуре поднимаются Албазин, Игнашина, Кумара. Все как было. Чудно... — повторил он.

— Что ж чудного, — ответил Михаил Иванович, — просто побеждает справедливость.

— И чего они лезли, богдойцы-то, тогда? — спросил один из казаков. — И теперь их берег пустой, и тогда, сказывают, ни кола ни двора не стояло. А пришли, как в песне поется: «издалече, издалече, из-за хребта Хингалинского, из-за белого камня...»

— И правда, станичники, чего им тогда воевать-то было идти? — впервые задумался об этом молодой казак.

Глубоко уважая Китай и его жителей — земледельцев и мастеров, философов и художников, — Венюков не раз поражался величайшей амбиции правителей древней страны. Даже во времена Ерофея Хабарова все народы, живущие на запад, на север и на юг от Поднебесной, они считали варварами. И когда в Пекин, преодолев огромное расстояние, прибывало посольство, прием его обставляли, как встречу вассалов. Подарки считали данью, а грамоту, которую вручал посол от своего государя, переводили императору так, что получалось, будто послал ее зависимый, ждущий покровительства данник. Странно ли, что, узнав о появлении русских на далеком и от Великой стены и даже от пограничного Ивового палисада Амуре, правители Китая восприняли это как дерзкую выходку забывшихся варваров и, собрав в течение нескольких лет войска, обрушили их потом на русские селения.

Михаил Иванович хотел поделиться этими своими мыслями с казаками, но услышал, как урядник Масленников спросил у молодого казака:

— Слышал, поди, говорят другой раз: «Сам не ам и другому не дам»?

— Так слышал...

— Ну вот и они так — ни себе, ни нам!

Казаки смеялись, а Михаил Иванович почему-то вдруг вспомнил сон: выбивают тревожную дробь барабаны, кажется, через весь плац военного лагеря на Ходынке под Москвой тянется живой коридор из солдат с розгами. А по этому коридору медленно волокут окровавленного солдата, на спину которого с каждым шагом со свистом опускается розга...

Шесть лет прошло с тех пор, как молодой еще офицер Венюков присутствовал при этой расправе над беглым солдатом, а снится она ему до сих пор. Тогда прапорщик Венюков прямо из лагеря, ничего не замечая вокруг, пешком бежал в Москву. Окружающая жизнь показалась ему такой жалкой, досадной ошибкой мироздания, угаром, от которого, чтобы не умереть, нужно было непременно выбраться на свежий воздух. «В жизнь науки», — решил он позднее и перевелся в дворянский полк на должность репетитора, что позволило ему посещать лекции в университете. И сюда, в Восточную Сибирь, Венюков отправился только потому, что надеялся с пользой приложить свои силы «к гуманной, общечеловеческой деятельности», как он когда-то записал в своем дневнике.

— Ваше благородие, — окликнул его урядник, — опять курица сдохла и один баран совсем квелый.

Это напоминал о себе «задний двор».

— Эдак мы до Усть-Зей половину живности не довезем, — вздыхал урядник. — И чего

им надо, кормим, поим, а онидохнут.

«Великое и обыденное, — думал Михаил Иванович. — Заселяем пустыню, внедряем здесь земледелие и промыслы, а сами в Иркутске вынуждены терпеть издевательства и мелочные придирки будогосских. Я собираюсь открыть для науки реку Уссури, дорожу каждым днем, чтобы оставить больше времени на экспедицию, а мне дают баркас, на котором полезнее было бы сплавить семейств тридцать казаков-переселенцев, и, словно в насмешку, загружают его птицей и баранами...»

Недоплывшую до губернаторского стола курицу выбросили за борт, «квелого» барана казаки вынесли на палубу, может, отойдет на солнышке да на ветерке. Но к вечеру и барана пришлось выбросить на корм амурским рыбам.

Уже на закате дня, дочитывая «Историю о странах, при реке Амуре лежащих...», Михаил Иванович сделал для себя еще одно открытие. Он знал, что один из его предков Никифор Венуков был в составе Московского посольства Даудова, направленного в Афганистан в 1672 году. И вот оказывается, что позже тот же самый Никифор побывал в Забайкалье и даже в Пекине. Он возил в Китай известие, «что прибыть имеет из Москвы посольство для прекращения ссор, между обоими народами происходящих. Канцелярист посольского приказа Никифор Венуков, отправленный из Москвы декабря 11 дня 1685 года, оное известие туда привез».

Эта неожиданная находка в старинном журнале подняла настроение Михаила Ивановича. Он стал прикидывать, сколько еще дней потребуется его команде, чтобы добраться до устья Зеи. Там можно будет оставить баркас, сдать всю живность и уже налегке поспешать к устью Уссури.

5

За неделю непрерывного плавания, проходившего так поспешно, словно передовой отряд кого-то догонял, солдаты первой роты выбились из сил.

— Ну, завтра будем на устье Зеи, — стараясь подбодрить уставших гребцов, объявил Дьяченко.

Было это четвертого мая.

— А много еще осталось, ваше высокоблагородие?

— По карте верст восемьдесят.

— Столько мы пробежим за день да за ночь, — прикинул Кузьма Сидоров. — А передохнуть бы не мешало...

Кузьма смотрел на командира, ожидая, что он скажет, но капитан промолчал, он заметил далеко впереди плывущие навстречу роте какие-то суда.

— Тюменцев, — крикнул он, — принеси-ка подзорную трубу!

Игнат, сидевший у надстройки, в которой располагался батальонный командир, нырнул в нее и прибежал с трубой.

— Китайцы, — сказал Дьяченко.

В подзорную трубу он разглядел большой китайский баркас с четырехугольным парусом, окруженный лодками. Лодки щетинились пиками — на них плыли солдаты.

Передовой отряд русского сплава и небольшая китайская флотилия быстро сближались.

— А не нападут, ваше высокоблагородие? — спросил Игнат.

Яков Васильевич сам пытался разгадать намерения китайцев. До сих пор его батальону не приходилось еще встречаться с китайскими солдатами. Некоторые из линейцев перестали грести, ожидая, что скажет командир. Дьяченко приказал продолжать движение.

— Может, примем к левому берегу? — негромко сказал Ряба-Кобыла. — Они пусть плывут своей дорогой, мы своей...

— Держать на баркас! — распорядился капитан.

Линейцы налегли на весла, но каждый раз, откидываясь назад, поворачивали головы, смотрели: близко ли чужая флотилия.

На китайских лодках тоже часто мелькали узкие весла. И там, и здесь гребцы работали молча. Суда быстро сближались. И когда между ними оставалось всего несколько сажень, с китайского баркаса послышался протяжный крик. Сразу же китайские гребцы опустили весла.

— Табань! — скомандовал и Дьяченко.

Баржа и баркас подошли друг к другу.

Под парусом у борта китайского баркаса стояло несколько маньчжурских чиновников в длинных халатах с широкими рукавами, шапку у каждого из них венчал цветной шарик. Яков Васильевич слышал от Шишмарева, что по цвету шарика можно узнать, какое положение занимает чиновник, а по изображению на груди халата — гражданский он или военный. Но из всего рассказа он запомнил только, что голубой шарик и вышитого тигра на груди носят гусайды и звание их равно примерно полковничьему. На баркасе чиновников с голубыми шариками не было. «Наверно, эти рангом пониже», — подумал капитан Дьяченко.

Когда баркас и баржа стали почти борт к борту, один из чиновников заговорил. Слова его сразу же стал переводить выступивший из-за спин чиновников подвижный унтер-офицер.

— Да это же Убошка, — узнали солдаты любознательного китайца, засыпавшего их вопросами прошлым летом в Усть-Зее.

Между тем У-бо приветствовал капитана от имени очень больших, как он сказал, чиновников из Китая и попросил сообщить им, где находятся суда русского цзянь-цзюня Муруфу.

— Большие чиновники, — добавил У-бо, — хотят приветствовать генерала и сообщить ему нечто важное.

Яков Васильевич знал, что катер генерал-губернатора должен прибыть в это место часа через три-четыре, о чем он и сказал. У-бо перевел его слова. Чиновник важно кивнул головой и добавил еще несколько слов.

— Мой начальник желает вам счастливого пути, — перевел У-бо. — Мы отправляемся дальше встречать русского цзянь-цзюня.

— И я желаю вам счастливого плавания, — ответил Дьяченко.

Уже в Усть-Зейской станице капитан узнал, что китайские чиновники спрашивали, встретившись с Муравьевым: долго ли он намерен пробыть в этих местах? На это генерал-губернатор ответил, что он не может задерживаться в верховьях реки, а должен спешить к устью. Если китайцы желают вести с ним переговоры, то это удобнее будет сделать на его возвратном пути. Тогда чиновники обратились к нему с просьбой обождать хотя бы несколько дней, так как в Айгунь скоро прибудет маньчжурский главнокомандующий из Цицикара, который очень желает лично встретиться с русским генерал-губернатором.

После небольших станиц, вставших на левобережье Амура, после настороженной тишины пустынного, заросшего тайгой правого китайского берега, Усть-Зейская станица показалась линейным солдатам многолюдным и шумным селением. Но некогда было оглядываться да рассматривать, что успели построить казаки и 14-й батальон за зиму. Еще сбежавший по сходням с катера генерал-губернатор принимал рапорт, а линейцы уже начали сооружать настил, чтобы по нему скатить на берег доставленные сюда пушки.

На пристани у настила, как только солдаты поволокли первое горное орудие, словно опенок из земли, выскочил У-бо.

— Братцы, гляньте, и здесь Убошка! А мы его, кажись, только вчера на Амуре встречали! — удивлялись линейцы.

— Вот ловок, успел обернуться!

У-бо, не то восхищаясь, не то удивляясь, цокал, как белка, языком и суетился вместе с

солдатами вокруг орудия, пока его на руках поднимали по крутому склону берега. Вместе со всеми он поспешил за вторым орудием, что-то даже выкрикивал, когда Михайло Леший с другими солдатами поднимал его на настил. Но тут Убошка увидел, что со второй баржи начали сгружать пушки дивизионной легкой батареи и, подхватив полы халата, затанцевал вдоль берега туда.

К полудню пушки сгрузили, и батальонный командир разрешил солдатам отдыхать, а сам пошел к генералу. Но отдых оказался коротким. Едва успели пообедать да выкурить по трубочке, как вернулся капитан и приказал сгружать снаряды. Линейцы принялись таскать ядра, а Михайло подхватил корзину с картечными гранатами, подбросил ее на плечо и понес.

— Вот леший! — закричал на него Ряба-Кобыла. — Ты что гранаты как дрова швыряешь! Разнесет черта такого и нас заодно.

Но Михайло, чуть пригнувшись, уже бежал по берегу. Унтер-офицер, оставив Кузьму распоряжаться на барже, пошел за ним посмотреть, как укладывают снаряды. По пути он успел показать кулак шагавшему Лешему. Кузьма помог Михайле поднять новую корзину и сказал:

— Ты, и правда, осторожней, не кирпичи несешь...

— Ладно, — прогудел Михайло и поспешил на берег.

Кузьма, проводив Лешего взглядом, стал подавать ядра солдатам и тут увидел, что Михайло, не добежав до места, где складывали снаряды, неожиданно присел. А потом повел себя и вовсе странно. Опустив корзину на землю, Леший пригнулся, попятился и бегом припустил обратно. С растерянным видом взлетел он по сходням на баржу и присел за бортом.

— Ты что? — удивленно спросил Кузьма.

— Унтер! — втянув шею в плечи, сказал сильно разволнованный Михайло.

— Ну и что унтер? — удивился Кузьма. — С каких это пор ты стал от Ряба-Кобылы бегать? Ну покричал он на тебя, а теперь уж, поди, отошел.

— Да не наш унтер, а Кочет...

— Вона что! — ахнул Кузьма.

Теперь только он сообразил, какая опасность подстерегает на берегу беглого солдата Михайлу Лаптя, хотя и носит он сейчас новую фамилию. Но фамилия хороша для разных бумаг, а на рябоватое лицо солдата и на его заметную фигуру новое обличье не наденешь. Кроме Кочета в Усть-Зее, где недалеко от станицы расположен 14-й батальон, Михайлу многие знают. Отсюда спущен приказ о его розыске. Попадется он кому-нибудь на глаза — и пропадет ни за понюх табаку. И капитану, за то что укрыл беглого солдата, пожалел его, отвечать придется.

— Лезь в трюм! — решительно приказал Кузьма.

Михайло мигом ползком по палубе направился к трюму.

— Леший, ты куда? — окликнули его вернувшиеся с берега солдаты.

— Грыжа у дурня, — сердито сказал им Кузьма. — Все бы ему что потяжелей поднять. А оно вишь как обернулось. Вон и корзину на берегу оставил. Вы уж подберите ее, ребята.

Все дни стоянки в станице Усть-Зейской Лешему пришлось отсиживаться в трюме. Кроме капитана Дьяченко да Кузьмы Сидорова, никто не знал истинную причину «болезни» солдата. Унтер-офицер Ряба-Кобыла и линейцы поверили, что Михайлу действительно схватила грыжа. До этого он никогда не отказывался от работы, наоборот, искал где потяжелей.

— Ты что же, в сыром трюме-то? — сочувственно спрашивали солдаты Михайлу. — Лежал бы на палубе. Вишь какие пригожие стоят деньки. На солнышке скорей отойдешь.

— Не, — отвечал Михайло, — у меня это сызмальства. Так дома матушка меня всегда в сарай ложила, запрет, и я отлеживался. Ничего, отойду...

Перетащив на берег пушки и снаряды, линейцы полагали, что завтра с утра придется выгружать батальонное имущество. Но на следующий день капитан велел делать запасные весла да шпаклевать баржи, где появилась течь, чинить обмундирование.

«Значит, дальше поплывем», — решили солдаты.

Поближе к полудню, когда Ряба-Кобыла затеял стрижку обросших за дорогу солдат, Игнат Тюменцев, ожидавший своей очереди, заметил плывущие к станции две лодки.

— Китайцы, — сказал, приглядевшись, Ряба-Кобыла. — Скажи-ка, Тюменцев, командиру.

Яков Васильевич вышел из своей каюты и поспешил к палатке генерал-губернатора. Там тоже увидели китайские лодки и ждали их приближения.

На берегу стояли переводчик Шишмарев, статский советник Перовский, командир 14-го батальона Языков и еще офицеры из штаба генерал-губернатора.

— Да это же Дзираминга, айгуньский амбань, — узнал Языков и побежал докладывать о приезде амбаня генерал-губернатору.

Амбань в шелковом халате, в шапке, украшенной соболиным хвостом, в сопровождении двух оруженосцев, несущих на вытянутых руках его меч и кремневый пистолет, торжественно направился к генеральской палатке.

Муравьев встретил амбаня у входа, стоя выслушал цветистое приветствие, а потом пригласил его к себе. Амбаня усадили на подставленный солдатами стул, сам Муравьев сел напротив. Дьяченко с другими офицерами стоял у входа в палатку и слышал, как Шишмарев переводит вопросы амбаня: «Хорошо ли плыл цзянь-цзюнь Муруфу? Как его бесценное здоровье?»

Генерал поблагодарил амбаня, сказал, что плавание проходит успешно, здоровье же у него хорошее, и в свою очередь поинтересовался здоровьем амбаня.

Дзираминга пространно поблагодарил генерала, здоровье у амбаня тоже оказалось хорошим.

— Я прибыл сообщить, — торжественно сказал амбань, — что придворный вельможа, маньчжурский главнокомандующий князь И-шань, прибыл в Айгунь. Он просит цзянь-цзюня Муруфу хоть на несколько дней отсрочить свое дальнейшее плавание, чтобы иметь возможность поговорить с ним о разграничении на Амуре, так как дело это крайне заботит наше правительство.

Муравьев выслушал амбаня с тем же спокойным и любезным выражением лица. Казалось, что он в это время думает о чем-то, совершенно не относящемся к предстоящим переговорам, к тому, что говорит невысокий, по-бабьи расплывшийся полный маньчжур, так и не снявший, несмотря на жару, свою шелковую шапку, увенчанную соболиным хвостом. Но пока Шишмарев слово в слово переводил речь амбаня, стараясь даже интонациями подчеркнуть те слова, которые выделил Дзираминга, генерал-губернатор мысленно взвешивал их, тоже выделяя слова, но только те, в которых находил ответ или намек на заботившие его самого вопросы.

«Князь И-шань просит задержаться, чтобы поговорить с ним о разграничении... Это что-то новое. Совершенно новое. До сих пор не они, а я предлагал провести такой разговор, но маньчжуры от него уходили... Дело это крайне заботит их правительство... Крайне заботит... Ну что ж, почувствовали наконец, что англичане и французы могут высадиться не только на юге Китая, где они предали все огню и разрушению, как в Кантоне, но ударить и здесь — на Северо-Востоке Азии. Жаль, что пекинским чиновникам потребовалось почти пять лет на уяснение простой мысли, что здесь, на Амуре, у нас и у Китая общность насущных интересов...»

Между тем Шишмарев, заглядывая в свою запись, переводил последние слова Дзираминги:

— ...и пограничные люди наши находятся в тревоге и оторваны от сельских своих занятий...

«Пограничные люди», — сказано довольно прозрачно и определенно. Называя так жителей северных районов Маньчжурии, китайцы несомненно выражают свое согласие с моими предложениями о границе по естественному рубежу — реке Амуру...»

Думая об этом, Муравьев все еще стоял с любезным и в то же время отсутствующим

взглядом. Пауза затянулась. Слышно было, как за палаткой настороженно переступают с ноги на ногу офицеры. Амбань решил, что цзянь-цзюнь Муруфу колебался, и торопливо заговорил, что он во всем успеет и все сделает.

— Я могу задержаться только на короткое время, — сказал наконец генерал-губернатор.

Амбань заметно оживился и поинтересовался: есть ли у генерала дети? Муравьев не понял этого вопроса, так далекого от всего того, о чем он сейчас думал, и переспросил. Когда же смысл вопроса дошел до него, он развел руками и сказал, что детей у него нет.

Дзираминга с сожалением покачал головой.

— Очень, очень жаль. После великого дела, хорошо было бы оставить славу в потомстве.

Муравьев не удержался, улыбнулся. Опять очень прозрачный намек...

Сразу же договорились, что встреча генерал-губернатора с князем И-шанем состоится на китайском берегу, в Айгуне, через несколько дней. Уже прощаясь, амбань вдруг вернулся к столу, сел и начал извиняться за свою забывчивость. Он еще не спросил позволения у генерала принять его с почестями и пушечными выстрелами. Получив согласие и на это, амбань уже окончательно раскланялся и, провожаемый генералом и офицерами, направился к лодке.

Приезд амбаня вызвал немало разговоров и толков среди офицеров. Но все сошлись на том, что, по-видимому, на этот раз китайская сторона решила договориться о разграничении.

В тот день, уже в сумерках, пришла в Усть-Зейский пост рота Прещепенко. На следующий день прибыла и рота поручика Коровина. А первая рота все еще стояла в Усть-Зее, ожидая приказа. Солдаты, правда, не жаловались на непредвиденную остановку, зато капитана Дьяченко томила неопределенность. Далеко ли еще придется плыть? Где, наконец, станет батальон? Об этом у него спрашивали и Прещепенко, и Коровин, но Яков Васильевич и сам не знал. А генерал-губернатор на его вопросы отвечал так неопределенно, будто и он еще не решил судьбу батальона.

9 мая трубачи Иркутского конного полка проиграли сигнал общего построения. «Наконец-то будет зачитан приказ», — решил Яков Васильевич, наблюдая за тем, как офицеры равняют отвыкшие от построений роты. Но оказалось, что солдат обоих батальонов и казаков собрали на молебен. Генерал-губернатор решил заложить храм благовещенья и переименовать станицу Усть-Зейскую в город.

Едва плывший с Муравьевым архиерей Иннокентий закончил короткий молебен, как на только что отструганной и установленной мачте подняли большой флаг. Генерал-губернатор сам объявил, что отныне станица Усть-Зейская становится городом Благовещенском.

Михайло Леший по-прежнему прятался на барже. Услышав сначала звуки оркестра, потом крики «ура», он долго гадал, что там происходит на берегу. Но выбраться наверх Михайло не решался. Вчера вечером он опять чуть было не столкнулся с унтером Кочетом. Когда порядком стемнело, Михайло выбрался на палубу, чтобы размяться, покалякать и покурить с приятелями. Но едва он набил трубку и потянулся к тлевшему труту, как увидел, что с берега к сходящим их баржи идут, неторопливо беседуя, Ряба-Кобыла и Кочет.

— Ой, братцы, опять схватило! — только и успел сказать Леший и скатился в трюм.

— Плохи дела у Михайлы, — сочувствовали ему солдаты. — Такой был здоровый мужик... Вишь, как расхворался.

Михайло сидел в трюме и клял Кочета, из-за которого нельзя ему ни на барже посидеть, ни на берег выйти. А вдруг батальон вовсе тут станет. Так и сидеть ему все время в трюме? Да тут и правда в лешего превратишься. «Нет уж, если батальон останется здесь, убегу я опять. Лучше беглым быть, чем в трюме сидеть», — решил солдат.

Скоро послышались шаги подходившего к пристани строя, донеслись команда «разойдись!» и топот ног по сходящим. Рота вернулась с молебна.

— Приехали в станицу, а уплывем из города, — обсуждали солдаты случившееся.

— Да какой это город! Вот Иркутск или Чита — это да, это город!
— Пока мы отсюда назад поплывем, может, и правда здесь город построится...
— А почему его Благовещенском назвали? — донесся в трюм голос Игната Тюменцева.
— Говорили же. Благая весть, значит, получена, что вернутся опять к России ее амурские земли. Потому и назвали город Благовещенском.

10 мая, так и не отдав приказа о дальнейшем движении 13-го батальона, генерал-губернатор на своем катере в сопровождении двух канонерских лодок отправился в недалекий отсюда Айгунь. С ним уплыли все офицеры походного штаба.

— Ну что, ребята, не надоело бока пролеживать? — вернувшись в роту, спросил батальонный командир.

— Ничего, мы привычные. Нам что лежать, что щи хлебать — все одно.

— Ладно, отдыхайте, раз все одно, — рассмеялся вместе с солдатами капитан Дьяченко.

В тот день пришла в Благовещенск четвертая рота.

Козловский задолго до того, как показались первые строения, устроился на носу баржи и не опускал подзорную трубу. Увидев растянувшиеся длинной цепочкой по берегу дома, мачту с флагом, причаленные баржи, группы солдат на берегу, он радостно выкрикнул:

— Дружнее, ребята, дружней! Покажите, как умеет ходить четвертая рота!

Солдатам и самим хотелось показать себя жителям станицы да и другим ротам батальона. Они перестали оборачиваться, дружно налегли на весла.

Прещепенко и Коровин находились на барже батальонного командира. Втроем они стали у борта, встречая подходившую баржу Козловского.

— С прибытием в город Благовещенск! — крикнул Дьяченко, когда первая баржа поравнялась с ним. — Хорошо идете, ребята!

Козловский, как всегда, был радостно возбужден. Доложив батальонному командиру о том, что вверенные ему казаки-переселенцы доставлены на места нового водворения, он прямо засиял, когда узнал, что прибыл не в станицу Усть-Зейскую, а в город.

— Вот уже два русских города на Амуре: Николаевск и Благовещенск! — воскликнул он. И стал расспрашивать — Куда мы теперь? Скоро ли дальше?

— Не пойму, чего вы торопитесь! — не разделяя восторгов молодого поручика, сказал всегда вступавший с ним в спор Прещепенко. — Дайте солдатам отдохнуть. Пусть хоть мозоли у них от весел подсохнут.

— Вы не знаете моих орлов, — заметил, нисколько, впрочем, не обижаясь, Козловский. — Прикажи им на этих баржах плыть на Камчатку, и они ни слова не скажут.

— Больных нет? — пряча улыбку, спросил Дьяченко.

— Больных?! — Козловский разулыбался во все розовощекое лицо, удивившись даже вопросу. — А вот сейчас сами услышите...

Он повернулся к реке, где заворачивала к берегу вторая баржа его роты, и звонко крикнул:

— Здоровы, ребята?!

— Все, как один! — дружно ответили на барже.

— Молодцы, ребята!

— Рады стараться!

— Вот видите, — оборачиваясь к капитану, сказал Козловский.

— Хорошо, — улыбнулся Прещепенко, — только не по уставу.

— Так скоро ли дальше? — довольный произведенным впечатлением, допытывался Козловский.

— Скоро, — ответил капитан. — Пока ремонтируйте баржи, приведите в порядок обмундирование.

Козловский вспомнил трагический случай, свидетелем которого он недавно был, и сказал:

— Да, господа, генерал-губернатор еще не знает, какое нелепое событие случилось. С есаулом Сухотиным...

В тишине, которая наступила после рассказа поручика, резко прозвучал голос Прещепенко.

— И правильно поступил Сухотин! Искупил свой позор.

— Нет, нет, вы послушайте, что мне удалось выяснить, — горячась, перебил его Козловский. — В станице Толбузиной я встретил знакомого старика-казака. Прелюбопытнейший человек, но дело не в нем. Оказалось, он из той же станицы, что и Сухотин. И вот этот старик Мандрика, сын его и невестка в один голос говорят: «Кольку Сухотина мы знаем. Не мог он потратить казенные деньги».

— Ну, вы их слушайте! — сказал Прещепенко. — Документы-то он оставил.

— Вот именно, вот именно. После разговора с Мандрикой я уже в пути разобрал все его документы. Пересчитал и могу доказать, что есаул Сухотин... — Козловский сделал паузу и повторил — Могу доказать, что есаул Сухотин ошибся в расчетах!

— Как так? — спросили разом Дьяченко и не вступавший до этого в разговор поручик Коровин.

— А вот, чтобы вам дать понятие, посмотрите, — Козловский расстегнул свою сумку, вынул из нее лист бумаги и стал показывать пальцем на нужные строки. — Здесь учтены все суммы — за лес, железо, вар, за работу, товары для казаков и прочее. Это считал я. А здесь, — он достал другой листок с неровными колонками цифр: — Это расчеты покойного есаула. Он просто не силен был в арифметике. Видите, я подчеркнул... Сухотин неверно сложил итог. Посчитал рубли за копейки. И вот... Впрочем, я несколько раз пересчитывал и надеюсь, что оправдаю честь есаула. Возьмите, Яков Васильевич, передайте генерал-губернатору.

— Он сегодня ушел в Айгунь, — беря бумаги, сказал Дьяченко. — Когда вернется, не знаю. Но я сегодня же все это передам в канцелярию.

Наступило одиннадцатое мая.

Солдаты и этот день думали провести в блаженном бездельи. Никаких работ, никаких нарядов не предполагалось, а такое в солдатской службе случается нечасто. Как вдруг нарочный привез от генерал-губернатора приказ. Первая рота должна была передать все тяжелые грузы из батальонного имущества на баржи остальных рот и, оставив при себе только оружие, плотницкий инструмент и месячный запас продовольствия, отправляться немедленно к стоянке генерал-губернатора на левом берегу Амура, напротив селения Айгунь. Остальным ротам ожидать в городе Благовещенске прибытия плотов с переселенцами, а затем сопровождать их в новые места поселения. После высадки переселенцев ротам приказывалось следовать к месту новой стоянки батальона. Там к тому времени уже будет находиться первая рота во главе с батальонным командиром.

Но и этот приказ не делал даже намека на то, где в конце концов станет 13-й батальон.

«Ладно, выяснится на стоянке Николая Николаевича», — решил капитан.

Лишнего тяжелого имущества на баржах первой роты не было, рота ведь везла в Благовещенск артиллерию, и командир распорядился готовиться к отплытию.

— Что там в Айгуне? Встречался ли генерал-губернатор с И-шанем? Начались ли переговоры о разграничении? — засыпали офицеры батальона вопросами прибывшего курьера.

Курьер, офицер из штаба генерал-губернатора, побывал недавно в Айгуне и охотно делился своими впечатлениями.

— Айгунь, господа, — сравнительно большая маньчжурская деревня, с крепостью посредине. Там за стеной из бревен несколько строений: казначейство, тюрьма и дом амбана. Переговоры начинаются сегодня. Вчера же мы обедали у амбана!

— Как там все было? Как настроение у китайцев? — нетерпеливо спросил Козловский.

— Позвольте, я уж расскажу все по порядку, — сказал курьер, усаживаясь на

вынесенную солдатами скамейку. — Еще здесь 7 мая, как помните, амбань просил разрешения встретить Николая Николаевича салютом. И вот генерал только сошел на берег, как в стороне показался дым и послышался какой-то треск. Что такое, думаем мы, что за пиротехника? А это и был салют. Пушек у китайцев, по-видимому, нет, стреляли небольшие мортирки.

Наша канонерка ответила тремя залпами из полевых орудий. И хорошо, что только тремя, а то бы опять могла начаться паника. Говорят, так было в прошлом году, во время проводов графа Путятина. Но и этими залпами китайцы, по-моему, были озадачены.

Генералу для следования в город подали парадную одноколку амбаня. Он сел в нее вместе со статским советником Перовским. Нам предложили верховых лошадей. Таким порядком мы и следовали в крепость мимо изумленных жителей этого единственного на Амуре более или менее значительного китайского поселения. Николай Николаевич, конечно, милостиво улыбался на право и налево, чем, мне кажется, жители Айгуня остались особенно довольны.

Амбань вышел встречать генерал-губернатора к парадным, разукрашенным драконами воротам внутри крепости. Сам помог Николаю Николаевичу сойти с коляски и провел в дом. Мы направились следом. Там, в комнате, влево от входа, генерала уже ожидал князь И-шань, в шелковой курме с каким-то носорогом на груди, с гладким красным шариком на шапке. Важный старик. В ту комнату пригласили только Николая Николаевича, Перовского и Шишмарева. От китайцев там остались, кроме самого И-шаня, амбань Дзираминга и секретарь ротный командир Айжиндай.

Нас, вместе с маньчжурскими офицерами с белыми и синими шариками на шапках, посадили в соседней комнате.

Сразу начались угощения. Нам предложили чай — желтый и ароматный, обсахаренный рис, сухие фрукты, диковинные орехи, а уж потом подали жареную баранину, мелко порезанного жареного поросенка. Все приходилось брать палочками, ложек и вилок у китайцев нет. Палочки — это чистое мучение, господа!

У них подают все наоборот. Сначала сласти, потом мясо, а некое подобие супа — в конце обеда.

Бедняге Шишмареву вместе с маньчжурским секретарем Айжиндаем во все продолжение обеда пришлось стоять на ногах. Яков Парфентьевич потом жаловался, что он не решился из-за этого попробовать рисовую водку, которую хозяева подавали подогретой в крошечных чашечках. Водкой нас обносили со строгим соблюдением чинов. Сначала заходили к генералу и наливали ему с Перовским, потом — к нам. Здесь выбирали тучных и видных, а уж потом наливали остальным.

— О чем же говорили? — опять спросил поручик Козловский.

— Да так, всякие любезности: как называется город, в котором мы родились, и что у кого болит? А о главном не упомянули ни слова. Уже в конце обеда, окончившегося в седьмом часу, И-шань предложил переговорить о деле, но Николай Николаевич отказался. Он заявил: сегодня будем пировать, а дела отложим до завтра.

Нынче как раз и должно начаться первое деловое свидание. Но я выехал к вам еще до рассвета с приказом.

Через какой-то час после прибытия курьера баржи линейцев снялись с якорей и направились к Айгуню. Провожая первую роту, Прещепенко, Коровин и Козловский выстроили на берегу своих солдат.

Отъезду из Благовещенска особенно рады были Михайло Леший и Игнат Тюменцев. Для Михайлы кончилось наконец его добровольное заточение в трюме, и он с радостью, потеряв ладони, взялся за весло.

— Ты смотри, Михайло, не налегай сразу, — говорили ему соседи. — Болел же...

— Ничего, — отвечал солдат, — на меня эта болезнь раз в год находит. Теперь переболел — долго не тронет.

Игнат радовался тому, что плывет он все ближе и ближе к тем краям, где ждет его Глаша. «А может, опять свидимся. Вдруг станет батальон там, где жена моя невенчанная живет, — думал солдат. — Ох, господи, случилось бы так!»

К стоянке генерал-губернатора у Айгуня прибыли в четвертом часу. Генерал только что вернулся с переговоров, которые длились с десяти часов утра до трех дня, устал и, ожидая к себе князя И-шаня, капитана Дьяченко не принял. Он передал через Шишмарева, что приказ о дальнейшем следовании батальона будет вручен утром.

Яков Парфентьевич Шишмарев был среди тех немногих людей, которые участвовали в переговорах с русской стороны. С утра в Айгунь прибыли он, генерал-губернатор и статский советник Перовский. Позже, с картами, на которых была нанесена предполагаемая граница, пригласили выехавшего наконец на Амур в качестве оберквартирмейстера Будогосского, того самого чиновника, с которым никак не мог поладить Венюков.

Переговоры проходили в той же комнате айгуньского амбана, где накануне обедали Муравьев и князь И-шань. С одной стороны стола на широких нарах сидели И-Шань и Дзираминга, с другой — русские. Шишмареву и Айжиндаю вновь, все пять часов, пришлось стоять, соблюдая китайский церемониал.

— О чем же говорили, если не секрет? — спросил Дьяченко.

— Отчего же, — ответил Шишмарев. — У меня было время все запомнить. Ведь каждая фраза повторялась трижды. Сначала говорил Николай Николаевич, потом его слова я переводил на маньчжурский. Князь И-шань, хотя он и природный маньчжур, но, пребывая при дворе императора, отвык уже от родного языка, и для него с маньчжурского на китайский переводил Айжиндай. Но позвольте по порядку о самих переговорах. Николай Николаевич изложил И-шаню причины наших действий на Амуре. И опять, как и писал о том прежде китайскому трибуналу внешних сношений, предложил определить границу обоих государств по Амуру и Уссури. Он подчеркнул, что эта граница представляет удобную естественную черту между нашими странами. После этого на совещание был приглашен господин Будогосский с картами, на которых уже был нанесен проект граничной черты.

Когда князь И-шань стал говорить, что Дайцинское государство очень велико, у него немало забот, кроме Амура, и он еще подумает, надо ли спешить с решением такого небольшого вопроса, как разграничение на севере, Николай Николаевич, по-моему, весьма кстати напомнил, что Китай сейчас в войне с англичанами и что англичане могут обнаружить желание завладеть устьем Амура и местами, от него к югу вдоль морского берега лежащими. А Россия вправе им в этом воспрепятствовать только в случае, если на основании заключенного договора покажет означенные места нам принадлежащими.

После этого Николай Николаевич предъявил китайцам свои полномочия на переговоры, и так как шел уже третий час, пригласил князя И-шаня к себе на катер.

Да вон, кстати, и сам князь! Ну, я удаляюсь, господа, извините.

С правого берега, от Айгуня, отчалили две большие джонки. Они быстро пересекли Амур и стали по обе стороны от генеральского катера.

Ровно в четыре часа показался на палубе цзянь-цзюнь И-шань в сопровождении своей свиты. Впереди вышагивали два оруженосца и прислужник с трубками. За ними шел сам И-шань, следом двигались айгуньский амбань Дзираминга и Айжиндай. Все они поднялись на русский катер.

Как только сели за стол, уставленный чаем, сладостями, бутылками мaderas, шампанского и ликера, на берегу заиграл оркестр иркутского конного полка. За угощением, как и вчера на обеде у амбана, о деле не говорили, И-шань с удовольствием слушал оркестр, а когда к нему присоединился хор, пришел в восторг и некоторые песни просил повторить по два раза.

Понравились И-шаню и угощения. В самом добром настроении, согретый вином из разных бутылок, он снял с себя курму, сказав при этом, что у нее длинные рукава и в ней очень жарко, и остался в нижней рубашке, похожей на поповский подрясник. Потом оруженосцы вывели его под руки на палубу освежиться. Уехал И-шань уже под вечер.

Для солдат первой роты приезд китайцев, а потом игра оркестра и хор оказались неожиданным развлечением. Дьяченко всех их, кроме часовых, отпустил на берег. Игнат и Кузьма сидели рядом с трубачами, покуривая табак из Игнатова кисета.

Слушая, как солдаты играют одну песню за другой, Игнат вспоминал, как еще совсем недавно в Засопошной сходились вечерами парни и девки у костра и тоже пели и плясали. «И как я тогда не примечал Глашу, — думал он. — Ведь и жили-то рядом, и на вечерки она последний год ходить стала, а не примечал».

Кузьма за двадцать с лишним лет службы совсем забыл родной дом и семью. Раз в год, а то и в два, приходило от брата письмо. Столько же писем отправлял Кузьма домой. А что писать в тех письмах, ни он, ни брат не знали. Поэтому чуть ли не весь листок обычно занимали поклоны родным, забытым теткам и дядькам и совсем уже незнакомым ему племянникам. А песни бередили душу, и вспоминалось под них то, что казалось давно и прочно забытым: лицо матушки родной; чуть поклеванный воробьями подсолнух на грядке; какой-то человек, может, его дядька, который подбрасывает Кузьму, еще мальчика, высоко над головой...

Михайлы Лешего не было с друзьями. Он стоял на часах у баржи. Отсюда хорошо было видно, как старается оркестр, как в лад покачиваясь, поют голосистые солдаты. Видел он, как из генеральской каюты вывели под руки в одной исподней рубахе важного маньчжура, как подвели его к корме и он справил прямо в Амур малую нужду. А через открытую дверь каюты сияли разноцветные бутылки с разными наливками. Глядя на них, думал Михайло, что хорошо бы сейчас опрокинуть крышку спирту, гляди, и стоялось бы на посту бодрее.

Утром генерал сказался больным и отправил в Айгунь с Перовским и Шишмаревым проект договора. К себе он вызвал капитана Дьяченко и вручил ему приказ: основать военный пост, имея в виду будущее пребывание в нем всего 13-го батальона, на Амуре в месте, указанном на карте.

— Смотрите, — сказал Муравьев, развернув вычерченную от руки карту. — На устье Уссури уже стоит наш казачий пост. Но место то в стороне от пути вашего следования. От казачьего поста к Амуру ведет протока Амурская. Вам надлежит выбрать место для военного поста где-то здесь, на правом берегу Амура. Выбрать такое место, откуда 13-й батальон мог бы во всякое время спускаться и к устью Амура, и подниматься вверх по реке, если то потребуется.

— Когда прикажете отправляться? — спросил Дьяченко, разглядывая карту.

— Сегодня же, — сказал Муравьев. — Накормите поплотнее солдат и — в путь! Я надеюсь, что мы поладим с китайцами и договор о разграничении будет заключен еще в мае.

Часа через три, перед самым отплытием передового отряда 13-го батальона, вернулись из Айгуна Перовский и Шишмарев. Перовский пошел докладывать генерал-губернатору о ходе переговоров, а Шишмарев зашел к Дьяченко.

— Поздравляю с дальней дорогой! — воскликнул он. — Когда отваливаете?..

— Уже готовы. Генерал нас торопит. Ну, а как там, Яков Парфентьевич, в Айгуне?

— Пока читаем то по-китайски, то по-русски, то по-маньчжурски наш проект договора. Я порой забываю, какой язык мой родной. А наши партнеры усиленно внушают нам мысль о величии Срединной империи, о ее превосходстве над всеми другими государствами и народами. Сегодня Айжиндай даже вскочил, когда прочитал в преамбуле договора фразу: «Ради большей славы и пользы обоих государств». «Зачем тут упомянуто слово «слава»? — воскликнул он. — Наше Дайцинское государство и без того так славно, что большей славы ему желать нельзя!»

— Да, — вспомнил Шишмарев, — кончилась карьера нашего Убошки.

— Убошки? Этого нашего постоянного соглядатая! Каким же образом? — заинтересовался Дьяченко.

— А вот слушайте! Возвращаемся мы сегодня с переговоров. А там во дворе амбана уйма всяких клетушек и перегородок. Слышим, за стенкой кто-то истошно вопит. И вместе с

криком звуки такие, будто перину там выколачивают. Мы с Перовским переглянулись, замедлили шаги. Провожал нас секретарь амбана Айжиндай. Заметив наше недоумение, он закричал по-маньчжурски: «Хватит с него!»

Глядим: из-за стенки выскакивает, сверкая голой спиной, подтягивая штаны, Убошка. Увидел нас, крутнулся и юркнул в какую-то каморку. Айжиндай стоит, хохочет, отсмеялся и сказал нам: «Подарки укрывал. Получит у вас подарок и припрячет, а его надо сперва своему начальнику показать. Если разрешит начальник, можно себе оставить, не разрешит — надо ему или самому амбану отдать...»

Больше он, конечно, в Благовещенске не появится. Ну, заговорился я. Пойду к Николаю Николаевичу. Попутного вам ветра и большой воды!

— Спасибо, Яков Парфентьевич! — искренне поблагодарил его Дьяченко. — Заезжайте к нам в новый военный пост!

— Заманчиво, но не обещаю! — уже на ходу ответил Шишмарев.

Яков Васильевич вышел на палубу. Дул попутный западный ветер. Уровень воды в Амуре был в это лето довольно высоким. Во всяком случае начало плавания обещало быть удачным. Солдаты, пообедав на берегу, уже собрались на баржах. «Ну что ж, в дорогу, — подумал капитан. — Все дальше от Иркутска... На край Азии».

— Убрать сходни! — скомандовал он и улыбнулся, вспомнив Козловского: «Уж он-то обрадуется, узнав, куда предстоит путь батальону».

— Сходни на борту! Сходни на борту! — ответили с барж.

— Отваливай! — словно обрывая этой командой мысли о сыне и жене, крикнул капитан.

6

Николаевск утопал в снежных сугробах, когда в конце февраля, так и не дождавшись ни одной вести из Селенгинска, Михаил Александрович Бестужев отправил родным последнее письмо. Это было его восьмое письмо из Николаевска. Первое он послал с приказчиком Чуриным еще в сентябре прошлого года, сразу по прибытии в молодой амурский город, основанный Геннадием Ивановичем Невельским. По казенным сообщениям стало известно, что Чурин прибыл в Аян в начале октября. Затем поступила весть, что 12 ноября он отправился дальше из Якутска, следовательно, до Иркутска добрался в конце месяца. Какие задержки не накладывай, а в Селенгинск письмо пришло в начале декабря. И Михаил Александрович терпеливо ждал ответа.

Три раза в Николаевск приходила почта зимним путем через Удский острог, но писем ни от сестер, ни от жены не было. Михаил Александрович уже склонен был думать, что сестры, несмотря на просьбы подождать его возвращения, уехали в Россию. Но не могла же уехать вместе с ними жена! И с возвратной зимней почтой, с каждой оказией, он писал и писал в Селенгинск.

Зима в Николаевске в этот год стояла на удивление хорошая, с оттепелями, когда вдруг начинало капать с крыш, с ясными солнечными днями. Ни разу еще не случилось той страшной пурги, которая, по рассказам людей, проживших здесь два-три года и потому считавших себя старожилами, каждую зиму налетала на город и заносила его по самые крыши. Правда, снег выпал глубокий. Но какая же зима без снега!

Рассчитавшись лишь в ноябре с грузами, устроив и обеспечив рабочих самым необходимым, Михаил Александрович теперь писал отчет и строил различные планы возвращения.

От плавания в Америку пришлось отказаться сразу по прибытии, и с этим Бестужев уже смирился. Но тем сильнее его влекло домой, сперва он думал возвращаться через Аян и Якутск. Но для того, чтобы достичь Аяна, надо было дожидаться, когда очистится ото льда амурский лиман. А это, как говорили ему бывалые николаевцы, происходит не ранее начала

июня. Из Аяна его ожидал путь в тысячу верст по оттаявшим топям, броды через многочисленные речки, а потом еще две тысячи верст на утлых лодчонках, которые надо было тянуть бечевой против течения.

Услышав о его намерении, Петр Васильевич Казакевич, знавший эту дорогу, сказал: «Зимой еще куда ни шло, но летом я соглашусь лучше дважды подняться и спуститься по Амуру, нежели еще раз испытать прелести подобного пути».

Бестужев собирался дожидаться в Николаевске прибытия пароходов «Амур» или «Лена». Но вскоре поступило известие, что «Амур» прочно стал на мель близ устья Уссури, и еще неизвестно, что будет с пароходом, когда начнется подвижка льда. О «Лене» же сообщали, что она отправилась из Усть-Зейской станицы с генерал-губернатором и тоже села на мель. Николай Николаевич ее бросил и поплыл дальше на лодке.

Так поколебавшись до февраля и еще и еще раз взвесив все возможности, Михаил Александрович решил возвращаться самостоятельно по Амуру.

В середине марта, как раз на страстной неделе, простившись со всеми николаевскими знакомыми, он отправился на почтовых лошадях в Мариинск, где и стал ожидать вскрытия реки. Это давало выигрыш в триста верст пути. Да и ледоход здесь проходил гораздо раньше, чем в Николаевске.

Мариинск с заметным издали бревенчатым домом батальонного командира, поставленным на самом возвышенном месте отступившего от берега холма, с казармами и небольшими домами офицеров, с неуклюжими сараями казенных складов и цейхгаузов, с лавкой и жильем поселившегося здесь купца, казался оживленным поселением. Здесь, к удивлению своему, Михаил Александрович увидел много женщин, расторопных и все время чем-то занятых. Оказалось, что это ссыльные каторжанки, приставленные к линейному батальону. Солдаты называли их уважительно: «тетеньки». Они стирали линейцам белье, штопали одежду, поварничали и оказывали другие услуги солдатам.

В Мариинске Бестужев собирался построить себе лодку, но по случаю за несколько серебряных рублей приобрел гиляцкую, обшил, подняв на одну доску ее борта, сделал навес и приспособление для небольшого паруса. Как только река очистилась ото льда в самые последние дни апреля, он тронулся в путь. Идти пришлось где бечевой, а где с попутным ветром под парусом и на веслах.

Первое время попутчиками у него были солдаты 15-го батальона, хорошо знавшие путь по реке, среди многочисленных островов и протоков. Они шли устанавливать почтовые станции. Но в начале мая солдатские лодки поотстали, и Бестужев с двумя гребцами из своих прошлогодних рабочих да со слугой Павлом, второй год делившим с ним дорожные невзгоды, продолжал путь вверх по реке самостоятельно.

Тянулись длинные амурские версты, изредка лишь оживляемые гольдскими стойбищами. Уже издали перед каждым стойбищем можно было разглядеть длинный, сбегаящий от юрт к воде ряд кольев, соединенных перекладинами. На них жители вялят на зиму рыбу. Солдаты говорили, что в середине лета, когда идет горбуша, и осенью в ход кеты изгороди эти сплошь увешаны красной рыбой. Сейчас же на кольях провяливались желтые полосы калужатины. Вяленая рыба — юкола — и пшено зимой являются почти единственной пищей этого добродушного народа.

Стойбища встречались по три-четыре юрты, попадались изредка и более крупные — по двенадцать — двадцать юрт.

Обычно у самой воды стояли конические летние жилища, сооруженные из жердей, покрытых берестой. Поодаль от берега на возвышенном месте находились зимники с покатою до самой земли крышей, обмазанной глиной, смешанной с травой. Внутри их неперенные лежанки-каны, по которым идет дым от очага и согревает жилище и его обитателей. В каждом стойбище возвышаются на четырех столбах амбарчики для рыболовных снастей, пушнины, домашних запасов. А на берегу лежали перевернутые вверх дном лодки и берестяные легкие оморочки.

В некоторых стойбищах Михаил Александрович видел грядки, засаженные

маньчжурским табаком. И первое, что предлагали аборигены этих мест гостям, когда они под лай множества собак сходили на берег, была трубочка. Присев на корточки вокруг гостя, мужчины в конусообразных берестяных шляпах, с черными косами за плечами, и женщины, в расшитых халатах, с серьгой в ухе и медными и серебряными браслетами на руках, дымили своими длинными трубочками. Трубки эти часто совались в рот мальчишкам и девчонкам. Табак гольды держали в расшитых бисером кисетах с подвешенными к ним русскими полтинниками и рублями.

Михаил Александрович опасался, что весной Амур сильно разольется от таяния снега и льдов, как это бывает на реках Центральной России. Уровень воды действительно поднялся, но не настолько, чтобы мешать продвижению бечевой.

Часто на реку наплзали туманы, но солнце и ветер разгоняли их, и тогда за черной хвойной тайгой то с одного, то с другого берега вставали синие горы с белками сверкающего снега в седловинах хребта и на вершинах.

Попутные ветры с Восточного океана помогали преодолевать встречное течение, но они же несли холод, несмотря на начавшийся май. Порой, чтобы согреться, Михаил Александрович сам садился за весла и тогда, за монотонной работой, уходил в воспоминания о родных, о Лене и Коле...

Как-то странно, полосами набегали короткие майские дожди. Иногда впереди туманилась даль, потом занавес дождя закрывал, будто перегораживал реку. Но подплывали к этому месту, а дождь уже прошел. Иногда дождь возникал позади, за кормой, гребцы ежились: сейчас он их догонит, но дождь уходил в сторону, к горам. Но бывало и так, что впереди и позади сияло солнце, а дождь обрушивался на одинокую лодку. Навес над лодкой мало помогал, приходилось приставать к берегу и спасаться под палаткой, ожидая, когда дождь отбарабанит и река успокоится.

В дождь на удивление жадно брала невиданная еще Михаилом Александровичем небольшая рыба с зеленовато-черной спиной и ярко-желтым брюшком. Она сильно заглатывала крючок и отчаянно скрипела пилками-плавниками. Гребцы так и прозвали ее скрипуном, однако гольды, увидев однажды их улов, назвали рыбу иначе, — «качатка». Ловилась она на любую приманку: кусочки сушеного мяса, внутренности рыбы, на червя или слепня. Гребцы варили из скрипуна, добавив для вкуса карасей, отличную уху, приспособились также жарить рыбок над костром, насадив их на пруты. Чистились эти рыбки легко, чешуи совершенно не имели и не были слишком костлявыми.

«Показать бы их Густаву Ивановичу, — думал Михаил Александрович, вспоминая натуралиста Радде, — что бы он сказал? Может, скрипун еще не известен науке? Да и любопытно было бы мне встретить этого подвижника-натуралиста».

Радде оказался легок на помине.

...Бестужев каждый день ожидал увидеть дым парохода. Он не оставлял еще надежды догнать где-нибудь по пути «Аргунь», «Лену» или «Амур» и перебраться на борт со своей командой.

13 мая, к полудню, когда уже чувствовалось приближение Хингана и Амур стал поуже, Бестужев за островами заметил струйку дыма. На костер это не походило. Неужели пароход! Шли бечевой, и Михаил Александрович от нетерпения готов был сам взяться за канат. Вскоре в распадке показался приземистый бревенчатый дом. Рядом с ним стояла берестяная юрта. Поодаль паслась стреноженная лошадь. Гольды лошадей не держали, конные манегры обитали выше по Амуру, поближе к Зее. Кто же тогда здесь поселился? Еще больше удивился Бестужев, услышав крик петуха. Куры бродили возле дома.

Но вот из него вышел обросший бородой человек, поднес ладонь к глазам, потом стремительно побежал к берегу. Михаил Александрович узнал молодого натуралиста.

— Густав Иванович! — крикнул он. — Принимайте гостей!

— Михаил Александрович! А я думал, что вы в Америке! Милости прошу! — обрадованно кричал ученый.

Показывая свое хозяйство, Радде с гордостью говорил:

— Все здесь построено моими собственными руками. Вот юрта, которую я соорудил по прибытии. Все сорок бревен — из подаренного вами плота, любезный Михаил Александрович, пошли в дом. Низковат он снаружи, но зиму я провел преотлично. Видите: дом у меня врыт в землю, так теплее. Обратите внимание на печь, — говорил он, показывая убранство своего дома, — она заменяет мне зимой стол, диван, постель.

— Неужто не скучно в одиночестве?

— Что вы! Да за своими наблюдениями я забывал о времени. Потом я не один. Со мною здесь два казака-охотника. А до середины зимы жил еще тунгус Иван, знаток первобытных лесов. С большим сожалением в январе я отпустил его домой, к семье.

— А я, — признался Бестужев, — и в многолюдном Николаевске страдал ностальгией.

— Все зависит от настроения. Я приготовился к двум годам такой вот жизни. А вы, конечно, не думали зимовать в Николаевске.

— Пожалуй, вы правы. У вас, я гляжу, тут огород!

— Да, посадил картофель, редьку и капусту. А луку тут много дикого по лугам. К берегу, поди, приставали? А он на любой поляне.

— Куры-то, как я помню, у вас были, — сказал Михаил Александрович. — А откуда взялась лошадь?

— Поймали близ Буреи. Совсем одичала. Но сейчас пообвыкла. А без нее я даже не представляю, как бы мы вытянули на берег бревна. Впрочем, сейчас мы накроем стол, тогда и поговорим. Я очень истосковался по свежему человеку. С казаками обо всем переговорено за зиму. Да они у меня целыми днями на охоте, добывают экспонаты для моей зоологической коллекции. Заспиртовал уже образцы всех местных змей. Приготовил чучело соболя, есть шкура барса, чучела грызунов, многих птиц. Мечтаю о шкуре тигра.

Гостеприимный хозяин уговаривал Михаила Александровича остаться ночевать. Но Бестужев торопился. Еще предстояло плыть и плыть через Хинганское ущелье до устья Зеи, а там до Шилки, а там... Дороге, казалось, не будет конца. Одно утешало путника: на Зее мог оказаться попутный пароход.

Густав Иванович снабдил его свежей дичью, добытой недавно казаками. Они тепло простились.

И снова потянулась утомительная дорога.

Уже в Хинганском ущелье навстречу лодке из-за кривуна выплыли две баржи. «Начался очередной сплав, — обрадовался Михаил Александрович. — Теперь суда будут встречаться часто».

На баржах сплавлялась вниз по реке рота солдат. На палубе первой стоял приземистый офицер. Когда лодка и баржа поравнялись, Бестужев узнал командира 13-го батальона, строившего одну из станиц на Верхнем Амуре. Это там Михаилу Александровичу посчастливилось услышать свою песню о восстании Черниговского полка.

— Здравствуйте, капитан! — не вспомнив фамилии офицера, крикнул он.

— Позвольте, позвольте! Вы, кажется, останавливались у меня в станице Кумарской, в лонешном году, как говорят казаки?

— Совершенно верно, — подтвердил Бестужев.

— Откуда же вы теперь? — спросил Дьяченко.

— Из Мариинска!

— На этот раз будете плыть гораздо веселее. Скоро начнутся наши станицы, новые, с топорика. Они будут провожать вас до Шилки.

— А вы куда держите путь? — в свою очередь поинтересовался Михаил Александрович. — Тоже в Мариинск или в Николаевск?

— Нет, гораздо ближе. Через несколько дней рассчитываю быть на месте. Идем закладывать военный пост. Новое поселение батальона.

— Где сейчас генерал-губернатор?

— В Айгуне, — ответил капитан Дьяченко. — Ведет переговоры с китайцами о разграничении.

— Да что вы! Приятная новость! Ну, счастливого вам плавания!

— Счастливо и вам!

Первая рота 13-го батальона и лодка Бестужева разошлись.

7

С вечера, а потом и ночью, то чуть затихнув, то словно вновь набравшись сил, лил дождь. За песчаным амурским берегом, где до утра остановился отряд капитана Дьяченко, надрывались лягушки. Их квакающий хор заглушал шум дождя и ленивый плеск волн и наплывал на баржи сплошным «а-а-а...»

— Сколько их там? — удивлялся Игнат Тюменцев.

— Расквакались на непогоду, — объяснил Кузьма.

С неба, затянутого тучами, не проглядывала ни одна звездочка, на берегах — ни огонька.

Теперь совсем уже недалеко находилось место, предназначенное 13-му батальону для высадки. Чтобы не проехать его в темноте и не заблудиться в многочисленных здесь протоках и островах, капитан приказал остановиться. Завершался девятисотверстный, как считали топографы, путь первой роты от Благовещенска.

Где-то вправо уходила от Амура протока, чтобы принять Уссури, а впереди широко разлившийся Амур должен был сделать крутой поворот. И вот там, за поворотом, где правый его берег высок и холмист, отряду надлежало высадиться.

Разжигать костры под дождем не стали, погрызли сухарей и — спать.

— Ну и место — одни лягушки живут, — ворчал Михайло Леший, забираясь под брезент.

Так и уснул отряд под монотонный шум дождя, под наплывающее волнами квакание.

Но на заре, даже часовой проглядел когда, дождь незаметно затих. Перед восходом солнца, разбуженные хриплым, будто отсыревшим голосом Ряба-Кобылы, солдаты увидели на небе веселые розово-белые облака.

Утро встретило отряд солнцем, голубым небом и умытой зеленью берегов. В прибрежных тальниках пересвистывались на все лады птицы, куковала кукушка; сверкнув золотым оперением, торопливо пролетела над берегом иволга.

— Слышишь, Игнат, что птаха кричит? — спросил Михайло.

— А что?

— Спа-си-бо! — повторил птичий крик Леший.

— И верно, — заулыбался Игнат.

— За что это она тебя, Михайло, благодарит? — спросил Ряба-Кобыла.

— Кто? — не понял Михайло.

— Да птаха та, сам говоришь, что, мол, «спасибо» сказала.

Солдаты захохотали, а довольный унтер сказал:

— Тебя, тебя. За своего приняла, недаром ты — Леший.

С восходом солнца отряд уже был в пути. Близость места назначения, ясное весеннее утро — все радовало линейцев. Привыкшие к могучему речному разливу, к меняющимся каждый день берегам, они давно уже равнодушно смотрели на эту землю, но сейчас солдаты с новым интересом примечали травянистые просторы, крутые утесы, вставшие на правом берегу. Но утесы, прорезанные долинами ручьев, ушли в глубину берега, а за низменными островами вздымался вдали, тоже с правой стороны, синий горный хребет. Левый берег продолжал тянуться низкой зеленой равниной.

— Ох, травушки здесь! Сколь зародов поставить можно, а видать, никто никогда не косил, — говорили солдаты.

К полудню, когда капитан Дьяченко начал сомневаться в правильности своих расчетов, Амур стал заметно заворачивать на северо-восток. Потом впереди показалась непросохшая

еще после дождя песчаная коса. Она выдвинулась чуть ли не до середины реки, заставив баржи принять вправо, к травянистому острову. А прямо впереди, будто перегораживая реку, поднимался высокий, заросший густым лесом берег. Над речным плесом, что простирался сейчас между баржами и возвышенным берегом, медленно, почти не шевеля распростертыми крыльями, описывала круги гигантская птица. Дьяченко вскинул подзорную трубу и разглядел растопыренные на концах огромных крыльев перья, короткий белый хвост. Он перевел трубу на берег и там, на вершине обломленной лиственницы, увидел черную шапку большого гнезда. Берег вздымался высокими залитыми солнцем зелеными холмами и желтыми осыпями обрывов.

— Доехали, — проговорил капитан. — Доехали! — уже громко, так, чтобы слышали все, уверенно сказал он.

— Доехали! — крикнул на следующую за ними баржу Ряба-Кобыла.

— Что?! — не поняли там.

— До-ее-хали! — протяжно прокричал унтер.

Гребцы на второй барже стали поворачиваться, привставать, разглядывать холмистый берег, а потом вразнобой закричали «Ура!»

— Ура! — подхватили солдаты на первой барже.

— Орел вон кружит! Пальнуть бы!

— Сдурел! Гнездо у него на берегу, а ты «пальнуть бы!»

Под склоном холма, над которым возвышалось гнездо, виднелся распадок. По нему в Амур впадала, по-видимому, небольшая речка.

«Хорошее место, — решил Дьяченко. — Может быть, остановиться там?» Но после того как баржи миновали косу, амурское течение и течение широкой Амурской протоки подхватили их и пронесли мимо облюбованного капитаном места.

— Держать на утес! — приказал Дьяченко.

На правом берегу голым каменистым обрывом выделялся заметный издали утес. Пересекая Амур, гребцы налегли на весла.

— И-раз! И-раз, — привычно стал отсчитывать Ряба-Кобыла.

— Веселее, ребята, зимние квартиры близко! — подбодрил солдат капитан.

Вот уже несется мимо береговой холм, деревья по его склону сбегают к песчаной отмели. Вода у подножия утеса шумит и клокочет. А сразу за утесом открылось устье еще одной неширокой речки.

— Принимай к берегу! Приставай! — весело скомандовал капитан.

— Неужто приехали! — искренне удивился Леший и первый крикнул: — Ура-а! — успев одновременно натянуть своей ручищей фуражку на глаза Игнату.

Пока солдаты, весело переключаясь, разжигали костры и варили обед, Яков Васильевич решил подняться на утес. Хотелось осмотреть место, где предстояло теперь жить батальону. Он шел по склону, раздвигая кусты орешника, пробирался сквозь паутину, усыпанную капельками ночного дождя. Осторожно, чтобы не вымокнуть, пригибал ветки остро пахнувшей цветущей черемухи, перешагивал через гнилые колодины упавших деревьев. И в первозданном этом нетронutom лесу вдруг вышел на едва заметную тропинку. Вынырнув откуда-то из глубины леса, она повела его в сторону утеса. Над тропинкой нависали ветви деревьев с молодой листвой, сквозь них голубело небо и почти отвесно падали солнечные лучи.

Яков Васильевич стряхнул с рукава паутину, осмотрелся и пошел по тропе к реке.

Тропинка вильнула, огибая ошетилившееся колючками незнакомое ему деревцо, и вывела к вершине утеса. И справа, и слева от него сверкала под солнцем просторная речная гладь. А прямо перед капитаном, на самом возвышенном месте утеса, стояла сооруженная кем-то из березовых стволов небольшая кумирня. К ней и вела лесная тропа. У входа в кумирню лежал перевернутый вверх дном чугунный жбан. Вход в кумирню обвешан ленточками, пучками увядшей травы. Внутри виднелся грубо вытесанный деревянный идол,

тоже украшенный полосками выцветших тканей и звериных шкур, связками небольших, отливающих перламутром ракушек.

Дьяченко обошел кумирню и стал на краю обрыва. У подножия его клокотало стремительное течение, вращались в омотах захваченные им сучья и коряжины. Капитан невольно сделал шаг назад и осмотрелся.

На горизонте фиолетовой громадой поднимался горный хребет, маячивший еще с утра, сначала по правому борту плывущих барж, а потом возвышавшийся за кормой. На карте штаба войск Восточной Сибири этот хребет носил название Хохцир. Слева, огибая низменные, опоясанные у берегов зарослями тальника зеленые острова, переливалась солнечными бликами просторная Амурская протока. А коренной холмистый берег курчавился густым лиственным лесом. Над увалами только кое-где поднимались вершины хвойных деревьев. И на одном из них заметной вехой возвышалось гнездо орла. Сам же он неподвижно сидел на суку соседнего дерева.

Прямо перед глазами батальонного командира, за амурской гладью, зеленым луговым простором лежал левый берег. Капитану, немало проскакавшему в молодости уланом и драгуном по южным степям, он тоже показался степью, только кое-где оживленной отдельными рощицами деревьев. За этим луговым левым берегом проглядывалась полоска Амура, там они плыли с утра. И отсюда, с утеса, хорошо можно было проследить похожий на изгиб натянутого лука крутой поворот могучей реки на север, за гряды сопок.

Справа же, за речушкой, где пристали баржи и откуда сейчас доносились стук топоров, голоса солдат и тянуло запахом дыма, тоже возвышался увалистый берег с вековыми лесами. Потом уже капитан разглядел близ воды, поодаль от лагеря, несколько островерхих берестяных шалашей и султанчики поднимающихся над ними дымков. Значит, рядом кто-то живет. «Эвены, манегры...» — стал перебирать он в памяти названия амурских племен, встречавшихся по верхнему течению реки. И вдруг вспомнил: «Гольды!» О них, как о дружелюбном, промысловом народе рассказывал Михаил Иванович Венюков, а может быть, и кто-то еще.

Взгляд капитана Дьяченко опять пробежал по пустынной речной глади, над которой сновали одни птицы, и задержался на далекой полоске воды за левым берегом. Он в эту минуту живо представил себе тот многоверстный путь, который проделали его солдаты от Шилкинского завода в Забайкалье до этого вот холмистого берега в среднем течении Амура, и бесправные его солдаты, на которых мог накричать любой унтер, которые не раз попадали под тяжелый кулак офицера, а то и под розги, срезанные тут же в прибрежных тальниках, сейчас показались капитану настоящими богатырями. Они безропотно шли в дальние походы, то бечевой, то на веслах или шестах преодолевали тяжелые амурские версты. Голодали, мокли, тонули, мерзли, а шли вперед, лишь смутно ощущая, что такая вот их солдатская служба нужна не генерал-губернатору и не офицерам, которые их ведут, и даже не государю императору, а всей стране, России. Недаром звонко стучат сейчас плотницкие топоры в руках солдат линейных батальонов и в далеких верховьях Амура, и в низовьях реки у Николаевска, и вот здесь, в сотне-другой шагов от утеса, в лагере 13-го линейного Сибирского батальона. Стучат топоры, прокладывая России торный путь к Восточному океану. И за ротами линейцев встают свежими стенами новые русские селения. Пусть пока неказистые, наспех срубленные, но это уже оседлое человеческое жилье, вокруг которого лягут пашни, и свяжут эти селения между собой тропы и дороги. И самое обидное в том, что потомки вспомнят имена не тех, кто набивал мозоли о деревянное топорище и сгибался под бечевой, не Михайлу Лешего, Кузьму Сидорова или молодого солдата Игната Тюменцева, а только тех, кто отправлял их в дорогу.

«А что! — вдруг с задором подумал Дьяченко. — Построим вот здесь военный пост, и назову я одну из улиц «Линейной» — в честь всех линейных солдат».

...С треском обламывая сучья, ухнув, упало первое срубленное дерево. Было это 19 мая 1858 года. Ни командир 13-го линейного Сибирского батальона капитан Яков Васильевич

Дьяченко, ни солдаты, свалившие дерево, не знали, что в этот день они заложили не просто военный пост, из которого удобно будет отправлять роты батальона вверх и вниз по Амуру, а при надобности и далее, не просто строят свои зимние квартиры, а основали будущий красавец город. Не ведали, не гадали они, что расплзется он сначала по трем холмам деревянными и редкими красно-кирпичными строениями, а потом уж раскинется на полсотни километров вдоль берега и будет весело отражаться в речном плесе стеклом и белым камнем стен, трубами заводов, бетонной набережной. Будет он люден и красив...

Остаток дня ушел на устройство лагеря. На расчищенной от леса и кустарника площадке натянули несколько палаток, соорудили в них из жердей нары. Михайло Леший натаскал с берега камней и, никому не доверяя, установил на них котлы.

— Навес бы надо, — сказал он кашевару. — Ну да это мы с утра устроим. Ты пробуй кухню-то, заваривай ужин. Не тяни!

После ночного дождя день выдался по-летнему жаркий. Многие солдаты поснимали рубахи и говорили:

— А что, ребята, место против Забайкалья куда как теплое! Об эту пору в Шилкинском заводе холодной.

— Глянь-ка, Михайло: рыба играет, — сказал Лешему Кузьма, указывая на реку.

Там после всплесков расходились круги и, тая, уплывали по течению. В стороне от лагеря над рекой опять кружил орел. На глазах у солдат он вдруг камнем упал на воду и тут же взмыл вверх, держа в вытянутых лапах белую рыбину.

— Ишь, хозяин поймал, половим и мы, — потирая руки, сказал Михайло. — Только приспособиться надо, кто знает, как ее тут брать.

— Ушицы бы свеженькой похлебать неплохо, — разжигая рыбацкую страсть Лешего, сказал Кузьма. — Ты уж, Михайло, постарайся. Надоела казенная еда.

Однако уху солдаты попробовали раньше, чем ожидали.

Под вечер на реке показалась лодка. Сидели в ней люди в берестяных шляпах. Лодка шла снизу, трое гребцов в ней, ловко орудуя короткими веслами, быстро гнали против течения выдолбленное из целого дерева суденышко. Пристали они у барж. Один из гребцов, не опасаясь несколько солдат, соскочил на берег и вытянул на песок нос лодки. Двое других, улыбаясь и что-то выкрикивая на непонятном солдатам певучем языке, стали выбрасывать на берег рыбу. Серебряные сазаны, скользкие сомы и пятнистые зубастые щуки били хвостами. Солдаты сбежались к лодке и принялись отбрасывать рыбу подальше от воды.

Это приехали гольды, жившие неподалеку от лагеря в летнем стойбище, которое видел с утеса капитан Дьяченко. Гольды знали русских по первым сплавам и приехали в гости как к старым знакомым. Для них все русские солдаты были на одно лицо, и, может быть, они приняли линейцев 13-го батальона за тех, кто проезжал тут в прошлые годы. Рыбаки пытались объяснить с солдатами по-своему, солдаты в ответ коверкали русские слова, полагая, что такая ломаная речь понятнее будет гостям.

— Чем ловила, а? — допытывался Михайло, показывая на рыбу.

Рыбаки кивали на левый берег.

— Да нет, — говорил Кузьма, тыча пальцем в грудь Михайлы. — Он твоя спросил: чем ловил?

— Ловил, ловил, — запомнив последнее слово, смеялся гольд и тоже тыкал пальцем в могучую грудь Михайлы.

Разговор не получался, тогда Ряба-Кобыла протянул гостям кисет с табаком. К кисету сразу потянулись руки. Набив длинные трубки, гости уселись на корточки у костра. Прикурив от горевших сучьев, причмокивая губами и прищелкивая языком, они всячески показывали, что русский табак им нравится.

— Так-то оно лучше, а то зарядили: «ловил, ловил», — смеялся Леший.

Повар уже чистил рыбу и заваривал уху. Гости засобирались домой, но солдаты опять усадили их на место, угостили табаком и продержали в лагере до ужина.

За ужином Леший, усевшись рядом с понравившимся ему гольдом, показывал ему, как

надо размачивать сухари, и подвигал к гостю сало: ешь, мол, наш солдатский харч.

Провожали рыбаков, когда над рекой уже густо высыпали звезды.

Потом все пошло по давнему, но уже забытому за дорогу, распорядку.

— Выходи строиться! Становись! — зычно прокричал Ряба-Кобыла. — Равняйся! Тюменцев, убери брюхо. Подравняй носки. Смир-на!

Еще в одном месте дикого амурского берега зазвучала переключка, а потом желанные для солдата слова: «Разойдись! Отбой!»

На матрасе, набитом свежей, не просохшей еще травой, Михайло Леший растянулся, как на мягкой перине. Он с облегчением подумал, что 14-й батальон и ненавистный ему унтер Кочет остались далеко, по меньшей мере, за тысячу верст от этого места. Можно теперь не прятаться, не ходить с оглядкой. Солдат улыбнулся в темноте, и перед глазами у него поплыли, зарыбились амурские волны. Вскоре послышался богатырский храп.

Кузьма Сидоров хотел толкнуть Михайлу, чтобы тот перевернулся на бок и не храпел на всю палатку, но хлопотливый день, работа по устройству лагеря взяли свое, и сон тоже сморил старого солдата.

Дольше других ворочался Игнат Тюменцев. Где-то, как ему казалось совсем недалеко, бедовала Глаша, и не знала она, что все эти дни он плыл все ближе к ней. Может быть, она в этот час тоже не спит и думает о нем. Может, выходит на берег, ожидая сплава, всматривается в сторону заката, ждет... а он вот застрял тут. «Эх, Глаша, Глаша», — вздыхал Игнат.

Капитан Дьяченко, ночевавший в своей каюте на барже, думал о своих близких. Если судьба не вытянет ему новый жребий и придется с батальоном остаться здесь надолго, он на будущее лето вызовет к себе жену и сына. В эту зиму съездить в Иркутск едва ли представится возможность: и далеко, и забот будет много по строительству поста.

По палубе мерно ходил часовой. Звук его шагов то приближался к каюте, то удалялся от нее. Всплескивала, словно кто-то бросал камень, рыба. «Скорей бы подходили остальные роты, — думал капитан. — К зиме надо построиться. Работы край непочатый...»

Уснув с этой мыслью, капитан Дьяченко с нею и проснулся. И с этого первого рассвета на новом месте побежали дни, заполненные с утра до ночи одной заботой: надо строить казармы, чтобы не пришлось зимовать в палатках или землянках, ведь сюда к зиме стянется весь батальон. Для провианта и снаряжения нужны цейхгаузы. Иначе продукты, сплаваемые с огромным трудом из далекого Забайкалья, попадут под дожди, и батальону придется голодать. Не дай бог, повторится то, что солдаты пережили в 1856 году. Дьяченко не давал передышки никому, не щадил и себя.

Дней через пять, когда был срублен венец первой казармы, работу приостановил крик часового:

— На Амуре — шлюпка!

Яков Васильевич, замерявший площадку для второй казармы, сложил аршин и неторопливо пошел к берегу. Он подумал, что опять плывут к ним гольды. Но лодка шла со стороны Амурской протоки и по очертаниям действительно походила на шлюпку, а не на долбленную гольдскую лодку. Часовой протянул ему подзорную трубу, и капитан рассмотрел на борту шлюпки офицера и гребцов-казаков в летних фуражках без козырьков, с красными околышами.

«Курьер в Николаевск, — подумал капитан, — а может быть, к нам».

Минут через двадцать лодка приблизилась. Капитан уже без подзорной трубы узнал Михаила Ивановича Венюкова. Еще не пристав к берегу, Венюков тоже узнал Дьяченко и закричал:

— Яков Васильевич! Плыву за вами вторую неделю. Я чуть-чуть не застал вас в Благовещенске. Прибыл туда через какой-то час после того, как вы ушли вниз.

Выйдя на берег, он пожал руку Дьяченко и, оглядывая лагерь, сказал:

— А я увидел дым ваших костров и обрадовался. Надеялся встретить здесь двух топографов, которых для моей экспедиции обещали прислать из Николаевска. А это,

оказывается, ваш лагерь. Может быть, знаете что-нибудь о моих топографах?

— Нет, Михаил Иванович, у нас людей из Николаевска не было. Да и вообще пока никого из цивилизованного мира не бывало. Вы — первый гость. Куда вы намереваетесь теперь плыть?

— Тороплюсь подняться вверх по Уссури, да задержался в пути. Рассказать бы вам, на каком прескверном баркасе и с каким грузом мне пришлось плыть, не поверите! Но баркас и его блеющий и кукарекающий груз я оставил в Благовещенске. Там со своей командой пересел на две лодки — и в путь. Сейчас мои казаки на Уссурийском посту, в самом устье Уссури. Это верст сорок от вас. Надо отправляться дальше, а топографов все нет. Если не придут, придется самому составлять карту Уссури. Для одного человека работа почти непосильная, — вздохнул Венюков. — Вы уж, Яков Васильевич, не считите за труд, если они появятся, направляйте их не медля ко мне.

Офицеры пошли вдоль берега. Венюков, вспоминая сборы в дорогу, жаловался:

— Будогосский опять разобиделся. Видно, он рассчитывал, что экспедиция на Уссури будет доверена ему, и, узнав о моем назначении, мешал, чем мог. К счастью, составление команды для экспедиции и снабжение ее запасами поручено было Корсакову, лицу, стоящему вне штабных интриг. Однако Будогосский распорядился из довольно значительного запаса топографических инструментов, находившихся в Иркутске, отпустить мне самые дурные. Например, буссоли я получил с размагниченными стрелками и тупыми шпильками. По счастью, я имел инструменты собственные. И с этой стороны маневры моего начальника не достигли цели. Но я дал себе слово: как только окончу Уссурийскую экспедицию, уеду из Восточной Сибири. Какие бы условия службы не пришлось принять после отказа от должности старшего адъютанта штаба!

— Что слышно про переговоры с князем И-шанем? — поинтересовался Дьяченко.

— Сам я под Айгунем во время переговоров не был, — сказал Венюков. — Но слышал, что вся процедура ведется через переводчиков или, точнее и главным образом, через Якова Парфентьевича Шишмарева. Он получает указания от Николая Николаевича, и к нему являются второстепенные китайские чиновники с наставлениями от И-шаня. Но, несмотря на волокиту, дело вроде бы продвигается.

— Посмотрите наш лагерь, — предложил Дьяченко.

— С удовольствием, — согласился Венюков.

Они прошли мимо солдатских палаток, расположенных у подножия холма. Остановились возле солдат, рубивших первую казарму. Яков Васильевич, показывая лагерь, объяснял:

— Лес заготавливаем чуть подальше, по берегам вот этой речушки, и по ней же сплавляем. Мне не хочется вырубать лес на ближнем склоне, подле утеса. Раз уж батальон осядет здесь надолго, пусть у нас будет свой парк... Жду остальные роты, они привезут лошадей, приплавят плоты. Будем разбирать их и тоже пускать в дело... А будущее поселение мне видится так. Здесь, на правом фланге, расположится батальон, а на левом, за средней горой, в таком же распадке, — переселенцы. Там тоже впадает в Амур небольшая речушка. Место преотличное. Я на днях обошел все окрестности. Прекрасные леса. Река здесь богата рыбой. Заметили, когда плыли, гнездо орлана? Мы сначала приняли его за орла, а солдаты и сейчас зовут орлом. Он тоже рыбой промышляет. Тут к нам ездят гольды, у них неподалеку стойбище, вот там, где дымок. Привозят столько рыбы, что хватает на всю роту. Расплачиваюсь с ними ситцем. И они, и мы довольны. Жаль, не знаем их языка.

— У меня есть переводчик, унтер-офицер Карманов. Если я еще надумаю к вам, прихвачу его с собой, — пообещал Венюков.

На обед Венюков, несмотря на уговоры, задерживаться не стал.

— Много еще дел, — объяснил он. — Смолим лодки. Казаки, их у меня двенадцать, чинят одежду и обувь. Дорога-то предстоит дальняя, а в Иркутск надо вернуться к осени.

Приехал и уехал Венюков, побыв какой-то час в лагере батальона, а капитан почувствовал, что настроение у него поднялось. Все эти дни, поглядывая на пустынные

речные просторы, он чувствовал заброшенность и оторванность, как солдат, отставший от строя где-нибудь в ковыльной степи. В прошлом году мимо Кумары шли плоты с переселенцами, баржи сплава. То вверх, то вниз по реке проплывали курьеры, а здесь ни суденышка, ни лодки, кроме гольдской, ни нового человека. Порой даже не верилось, что дальше вниз по Амуру есть Кизи, Мариинск, Николаевск. Казалось, что все живое, русское, заканчивается 13-м батальоном. Теперь как-то веселее стало, когда уже не по карте знаешь, что всего в сорока верстах от первой роты, на устье реки Уссури, стоит казачий пост. Там же команда Венюкова, а скоро подойдут сюда и остальные роты батальона.

Однако прошло еще пять дней, заполненных перестуком топоров, и визгом пил, до того радостного момента, когда часовой, не сводивший глаз с амурского кривуна, во всю мочь закричал:

— На Амуре баржи и плоты с конями. Видать, наши плывут!

— Плоты! — гаркнул и Михайло.

Ряба-Кобыла отпустил солдат, корпевших над срубом, а сам по заросшему лесом склону побежал на вершину утеса. За ним увязался Игнат Тюменцев.

Солдаты, столпившиеся на берегу, зашпорили:

— Вторая рота, точно тебе говорю.

— Баржа-то у второй какая? У второй нос другой. А это третья плывет. Вон и кони на плоту.

Никто почему-то не думал, что, обогнав на много дней баржи Прещепенко и Коровина, приближалась к лагерю четвертая рота поручика Козловского.

С утеса и с берега, с баржи солдаты размахивали фуражками. Каждый понимал, что теперь строительство лагеря пойдет быстрее да и веселее станет.

Подхваченная возле утеса быстрым течением, баржа обогнула его и причалила у самого устья речки. Туда же подтянулись два плота. К этому месту сбежалась почти вся первая рота, кроме тех солдат, что заготавливали лес и еще не знали о прибытии подкрепления.

Козловский, выбритый и подтянутый, прыгнув на берег, доложил батальонному командиру:

— Четвертая рота со всем грузом прибыла. Все нижние чины здоровы. По пути высажены переселенцы в новых станицах Константиновской, Поярковой, Куприяновой.

Офицеры пожали друг другу руки.

— Где же эти станицы? — спросил Дьяченко.

— Пока далеко от нас. Все три, не доезжая Буреи.

— Что слышно о второй и третьей ротах?

Козловский заулыбался.

— Прещепенко обогнал меня в станице Куприяновой, так как он шел до этого места без остановки, но затем, — совсем расцвел Козловский, — я обошел его у новой станицы Скобелициной, сразу за Буреей. Прещепенко высаживал там казаков и должен был на день задержаться. Он мне говорил, что Коровин ждет погрузки переселенцев на Усть-Зейском посту. Прошу прощения, в городе Благовещенске.

— Ну что ж, сегодня устраивайтесь, ставьте палатки, сгружайтесь. Лошадей отправьте пасти. Без лошадей нам здесь трудно. А завтра начинайте строить вторую казарму, место для нее уже подготовлено. Хорошо, что сплавили плоты. Надо их разобрать. Бревна отдаю на вашу казарму. Ну и косцов выделяйте. Придется косить на зиму сено.

Козловский вскинул ладонь к козырьку, повернулся кругом, как на занятиях в корпусе, и быстрым шагом пошел отдавать распоряжения. Он был немного разочарован. Ему показалось, что капитан встретил его холодно. А так хотелось поговорить, рассказать о дорожных впечатлениях, услышать доброе слово о роте, которая прибыла и быстро, и в полном порядке. Причем обошла Прещепенко! Но за работой, разгрузкой, установкой палаток обида забылась, тем более что и в первой роте никто не сидел без дела.

Зато вечером за ужином и после него, у пылающего костра, молодой офицер наговорился вдоволь. Он вспоминал плавание, меняющиеся берега реки:

— А помните, Яков Васильевич, то место, перед домиком, где живет натуралист Радде, — говорил он. — Там Амур становится замечательно узок. Мои молодцы кормчие только успевали поворачивать весла. Я думаю: течение там делает не менее пяти узлов! Удивительно красивы щеки в Хингане! Но и здесь очень видное место. Когда мы вышли из-за кривуна, я увидел на дереве орлиное гнездо и подумал, что это вы вывесили вежу! Обрадовался, а потом пригляделся — гнездо. Однако разочароваться не успел, заметил дымки над лагерем! Вы уже осмотрели окрестности?

Капитан рассказал поручику о своих прогулках по близлежащим местам, о трех холмах, упирающихся в берег. На них не только лагерь батальона — город построить можно!

— Я тоже, как немного освобожусь, постараюсь все здесь обойти.

— А как океан? — спросил Дьяченко. — Не тянет вас больше полюбоваться его просторами?

— Что вы, Яков Васильевич! Очень тянет. И если потребуется послать кого-нибудь в низовья реки, вы направьте меня!

— Ну, в обозримое время едва ли появится такая необходимость. Надо обстраиваться: Тут один старый солдат, ветеран батальона Кузьма Сидоров захотел вскопать огород. Я сначала подумал, что это старицкая блажь, и отпускал его только после работы. А потом решил, что дело-то полезное. Батальон, по всей видимости, останется здесь надолго. Значит, пора обживаться по-настоящему. Появятся солдаты бессрочно-отпускные, тот же Сидоров. Пусть селятся рядом с лагерем. Сегодня я отпустил Сидорова с утра и дал ему в подмогу двух солдат. Посадят картофель. А будут проезжать переселенцы, попросим семян каких-нибудь овощей.

Гудели жаркие солдатские костры, сыпали в звездное небо горячие искры. Лаяли за речушкой в гольдском стойбище собаки. Всхрапывали за палатками кони. И уже от костров, от запаха дыма, от людских голосов и белеющих полотнищ палаток казалось это место обжитым, хотя не стояло пока здесь ни одного дома.

Кузьма с Игнатом и Михайлой сидели у костра рядышком, курили. Уставшие за день солдаты лениво подшучивали над Кузьмой и его огородом.

— А что, — отвечал Кузьма, — вырастет картошечка, сами довольны будете.

Совсем неожиданно потянула Кузьму к себе земля. Позвала заложенной в крови памятью. Прослужил почти два раза по десять лет солдат и никогда не думал о полях и огородах. А тут нашел как-то неподалеку от лагеря удобную ложбинку и представил на ней огород, грядки. Даже будто уловил запах укропа. Но самое главное представил, что над грядками этими подсолнухи цветут. Даже защемило сердце у старого солдата. Вспомнил Кузьма, что у него где-то в сумке есть узелок с семечками, еще из Шилкинского завода.

А что если раскопать полоску земли да посадить, глядишь, через месяц расцветут подсолнухи. Еще ведь май, до осени далеко. В тот день отпросился у командира Кузьма, прихватил лопату и в ложбинку. Копался до темноты. Да много ли один сделаешь. Земля никогда никем здесь не копана, проросла корнями да кустарником. А так ничего земляца — черная.

А вот сегодня капитан отпустил Кузьму с Игнатом и Михайлой. «Копайте, — сказал, — картошку посадим, будет приварок». Втроем-то хорошо поработали. Вскопали ложбинку, грядок нарезали, завтра садить.

Рано утром 30 мая, когда шел развод по работам, с той стороны, где стояло стойбище, зычно протрубил пароходный гудок. И тотчас на стрежень реки вывалил сам пароход, извергая из трубы черные клубы дыма, рассыпая искры. Строй линейцев возбужденно зашевелился и замер под сердитый окрик капитана. Пароход, борясь с могучим течением, бившим от утеса, медленно приближался к лагерю.

Дьяченко скомандовал батальону: «Смирно», — и вместе с поручиком Козловским взбежал на свою баржу. «Амур», — прочитал он название парохода.

У лагеря линейцев судно сбавило ход до самого малого. На палубе его стоял

контр-адмирал. «Казакевич», — догадался Дьяченко.

— Чей лагерь? — донеслось с парохода.

— 13-й линейный Сибирский батальон! — сложив ладони рупором, крикнул в ответ Дьяченко.

«Амур», не останавливаясь, прошел дальше. Часу в пятом пополудни он вернулся, став на якорь рядом с баржами четвертой роты. На берег сошел уже знакомый Дьяченко по Иркутску командир «Амура» Болтин.

— Вот так встреча, капитан! — воскликнул он. — Где же вы оставили молодую жену?

— Там, где и вы! В сибирском Париже.

— Ах, жены, жены! Наши милые жены, — вздохнул Болтин. — Но я зимой непременно вернусь в Иркутск. Непременно. Основание для рапорта веское: сразу после свадьбы оставил жену. И единственное воспоминание о мимолетной семейной жизни, дорогой капитан, вот этот силуэт...

Болтин достал из внутреннего кармана форменного кителя кожаное портмоне и вынул из него обернутый папиросной бумагой, наклеенный на паспорт изящно вырезанный силуэт молодой женщины.

— А я не догадался сделать этого, — пожалел Дьяченко, рассматривая портрет. — С вами был контр-адмирал Казакевич? — спросил он.

— Да, я везу его из Николаевска. Идет встречать генерал-губернатора, который должен прибыть на Уссурийский пост. Но до Уссури я «Амур» не повел. Дошли до того места на протоке, где я в прошлом году сел на мель. А уж дальше Петр Васильевич отправился на шлюпках. Приказано ожидать его и генерал-губернатора здесь. Ох, капитан, от плавания с генералом до Николаевска зависит моя дальнейшая судьба. Сядем на перекат или откажут машины, и тогда мне хоть в петлю!

— Что так? — спросил Дьяченко. — Ждете очередного производства?

— Упаси бог! Хотя все мы, военные, немного карьеристы, и очередной чин никому еще не мешал, — дело совсем не в этом. Не ужогу генералу или контр-адмиралу, значит, прощай отпуск! Не видать мне Иркутска и жены.

— Ну-ну, не расстраивайте себя раньше времени.

— Расскажите лучше о Николаевске, — попросил Козловский. — Это уже на самом деле город?

— Что ж, Николаевск, конечно, не Иркутск, но для такой окраины, безусловно, город. В нем одних частных домов считается уже до двух сотен. И протянулся он ни много ни мало на полторы версты по берегу Амура.

Но любознательному поручику этого было мало. Он водил капитана «Амура» по лагерю, показывал строящийся цейхгауз и казармы. Одна из них уже подведена под крышу, вторая только-только поднималась над землей. Ровным рядом тянулись палатки двух рот. Дымили под брезентовым навесом котлы временной кухни. Козловский сводил Болтина на утес, показал гольдскую кумирню, гнездо орлана, а сам расспрашивал о Николаевске, Мариинске, о Татарском проливе и ночью допоздна засиделся в каюте Болтина.

На следующий день с казачьего поста на устье Уссури на трех лодках прибыли генерал-губернатор Муравьев, архиепископ Камчатский, Курильский и Амурский — Иннокентий, контр-адмирал Казакевич и весь походный штаб Муравьева.

Дьяченко помнил о разное, который учинил генерал-губернатор в прошлом году есаулу Травину на Усть-Зейском посту, когда тот построил для встречи всех казаков. Завидев лодки Муравьева, капитан не знал, как ему поступить. Построить роты — генерал может опять вспылить. Не подготовить торжественную встречу, а вдруг генерал, со своим часто меняющимся настроением, останется недовольным? Поколебавшись, Яков Васильевич все-таки построил взвод, оставив остальных солдат на работах.

Генерал-губернатор на этот раз оказался в приподнятом настроении. Он выслушал рапорты Дьяченко и Болтина, поздоровался с караулом, пожал руки офицерам и приказал

собрать и построить весь наличный состав батальона.

Заиграла сигнал построения труба. За несколько минут сбежались линейцы, валившие лес и строившие казармы. Генерал прошелся перед замершим строем, поздоровался и приказал зачитать приказ, отданный им 21 мая в Благовещенске. Стоявший наготове с приказом в руках заведующий путевой канцелярией коллежский секретарь Карпов, откашлявшись, прочел:

«Товарищи! Поздравляю вас! Не тщетно трудились мы: Амур сделался достоянием России! Святая православная церковь молит за вас! Россия благодарит!.. Ура!»

Дождавшись, когда замолкнет «ура», прокатившееся по строю, Муравьев заговорил сам:

— Трактат с Китаем заключен по обоюдному согласию. Амур вновь наш! — Помолчав, он продолжал: — От нового города Благовещенска мы шли ужасно долго из-за сильных противных ветров, которые задержали и прочие все сплавы, и пришли на устье Уссури только сегодня, 31 мая. Там меня встретил военный губернатор Приморской области контр-адмирал Казакевич, которому теперь ваш батальон будет непосредственно подчинен. Ваши ближайшие соседи, казаки на устье Уссури, слава богу, здоровы. У них на посту все хорошо. Строят дом, магазин, огороды засажены, и времени вообще даром не теряли. Надеюсь, что и у вас дела пойдут не хуже. Казенный провиант вам положен, но вы далеко от житниц, посему сами старайтесь, добывайте зверя, ловите рыбу, заводите огороды.

Усть-Уссурийский пост я только что назвал в честь контр-адмирала Казакевича станицей Казакевичевой. Ваш лагерь — лагерь 13-го батальона — отныне будет носить название Хабаровка! Ура!

— Ура! — прокатилось по рядам.

— В названиях станиц Пояркова, Бейтонова, Албазин, Хабаровка будет жить память о наших предках, радением своим и подвигом своим сделавших эту землю русской. И вы, солдаты, продолжатели дел славных предков, должны быть достойны их славы!

Слова генерал-губернатора звучали в полной тишине. Замерли солдаты, стояли, выпрямившись, офицеры. И только Амур неудержимо катил и катил вдаль свои полные воды.

8

Когда выдавалась редкая свободная минута, Глаша садилась на пенек у арестантского барака, прятала красные от горячей мыльной воды руки в рукава серого халата и смотрела на берег. Там, внизу, располагались крепостные укрепления, обведенные земляным валом, переплетенным тальником. На высоких, с двумя колесами впереди лафетах стояли крепостные орудия. У мачты с флагом неподвижный часовой с ружьем на плече. Солдаты-артиллеристы суеились у пушек. С саблей на портупее прохаживался офицер.

На батарее каторжанки не бывали. Запрещалось. А по остальному Мариинску можно было ходить куда угодно.

По сравнению с Засопошной, единственным местом на земле, которое хорошо знала Глаша, день в Мариинске проходил шумно. Вставал Мариинск по сигналу трубы, жил под барабан и отходил ко сну после выстрела пушки. Одних солдат тут было не перечесть. Стоял в Мариинске 15-й батальон. Отдельно обитали батарейцы-артиллеристы да еще казаки. Часто сновали мимо казарм, толклись на берегу, плавали на своих лодках гиляки. Начался июнь, а некоторые из них до сих пор ходили в меховых шапках, в расшитых узорами по низу куртках на меху. У баб ихних в ушах висели тяжелые медные серьги-кольца. Гиляки в каждый свой приезд предлагали рыбу: больших сазанов, сигов, сомов. А прошлой осенью целыми лодками привозили кету. Меняли ее на пустые бутылки, всякие жестянки, соль. За медную копейку давали по пять рыбин. А потом копейки гилячки нашивали на свои халаты, а мужики пробивали в копейках дырки и подвязывали их к кисетам. Табак курили у гиляков

и стар и мал.

Солдаты гиляков не обижали. «Польза от них, — говорили они, — рыбу возят, мясо. Шкурку у них можно хорошую выменять. Не век придется служить, по том сгодится».

В 15-м батальоне много старых солдат, ждущих к осени увольнения в бессрочный отпуск. Некоторые поставили себе избенки поодаль от офицерских домов, образовав здесь целую солдатскую слободку. Избы в слободке ставились так, чтобы оконца их глядели за батареей, на заречный берег с озерами, лугами и сопками. Решили эти солдаты остаться доживать свою жизнь в Мариинске, надоело им мерять Амур. «Может, на гилячках женимся», — не поймешь, в шутку или серьезно говорили они. «Дак они же некрещеные!» — ужасались каторжанки. «А баба, что крещеная, что некрещеная, все одно — баба. А то окрестим. Чего им не креститься, церковь-то в Кизи достраивают».

С пенька, где сидела Глаша, видна только часть реки. А вот с высокого, самого лучшего в Мариинске места, где стоял бревенчатый дом батальонного командира с резным крылечком-верандой и красной крышей, река виделась далеко!

Когда нужно было отнести выстиранное белье самому батальонному командиру, Глаша охотно это делала. На крылечке командирского дома она нарочно задерживалась и подолгу смотрела оттуда на реку: не плывут ли солдаты, а с ними Игнаша? В другое время женщин туда не пускали. У дома батальонного командира стоял зеленый ящик на колесах, а рядом с ним — часовой. Говорили, что это денежный ящик, поэтому он день и ночь охраняется.

Короткие минуты, когда можно было спокойно посидеть, выпадали нечасто. С утра дотемна Глаша со своими товарками стирала. Те каторжанки, что умели хорошо шить, чинили солдатскую одежду, некоторые кашеварили; самым проворным удалось устроиться убирать в офицерских домах.

В Мариинске ожидали прибытия генерал-губернатора. Встречать его уже поехали на пароходе адмирал из Николаевска. К приезду Муравьева линейные солдаты и казаки собирали и сжигали щепу, корчевали пни, торчавшие тут и там на улицах, засыпали ухабы на дорогах и настилали горбылями тротуар к дому батальонного командира.

«Может, Игнат с генералом приплывет, — мечтала Глаша. — Генерал с собой в дорогу возьмет самых храбрых солдат, а Игнаша — парень хоть куда». И верилось ей в свою мечту с каждым днем все больше.

Приезда генерал-губернатора ожидали и другие женщины. Среди них прошел слух, что генерал, не бывавший в этих местах уже два года, тех арестанток, кто с прилежанием работал, или совсем освободит, или уменьшит им срок каторги. «Кого, девки, отпустит подчистую, а кому срежет каторгу наполовину!» — переговаривались прачки за работой.

Надежда эта будоражила всех «тётенок», как прозвали ссыльнокаторжанок солдаты в Мариинске. Волновались и те, у кого завелись здесь дружки унтер-офицеры и солдаты. А им, кажется, чего бы не жить!

Глаша решила, что если придет досрочное освобождение, то в Засопошную, которую она столько раз видела в своих сладких снах, она все-таки не вернется. А поселится она в Шилкинском заводе и станет по осени ждать-поджидать из похода Игната. И будет у них свой дом на самом берегу. А почему на берегу? Да потому, что Игнат притомится за дальнюю дорогу. И как приплывет, до своего-то дома идти ему будет совсем недалеко. Только с баржи сбежал — тут и дом! И так это ладно складывалось в голове у Глаши, что не терпелось ей скорей рассказать об этом Игнату, обрадовать своей придумкой и его.

Пароход с генерал-губернатором, под залпы береговых батарей, прибыл в Мариинск 8 июня. Был этот день воскресный. И хотя каторжанки не работали, приказано было им никуда из казарм не отлучаться, на улице не показываться. Несмотря на это, в казарму проникали вести о том, какой караул встречал генерала, как он осматривал укрепления, потом ездил верхом в Кизи смотреть почти готовую церковь.

Прачки между собой договорились: «Только зайдет к нам, все сразу на колени, заревем и скажем: «Батюшка, помилуй!» Но вот кто-то, подглядывая тайно за улицей, сообщил: «Все,

бабы! На пароход взошел. Видать, ночевать здесь не будет, дальше поедет!» А вскоре донесся отходной гудок парохода.

— Уехал! — заголосили некоторые. — Брехня все была, что освобождать станут.

— А может, начальство для того нас и запрятало, чтобы самому не показать. Мы ведь и здесь нужны. Вона какая гора рубах да портков нестираная в бане лежит.

— Не орите! — урезонивали другие. — Он, батюшка генерал, в Николаевск сбегает и обратно вернется. Тогда и скажет свой приказ.

Глашу больше всего удручало, что не удалось ей рассмотреть свиту генерала. А вдруг и правда там был Игнат и тоже ее высматривал, да так и не увидел.

С этого дня она глядела уже не вверх по реке, как раньше, а вниз, в сторону Николаевска. Может, при возвращении генерала удастся увидеть своего желанного Игнашу.

Но генерал в Николаевске задержался. Прошла неделя, потянулась вторая, а парохода все не было. Наконец, в конце второй недели, как раз в субботу, на реке показались сразу два парохода: «Амур» и «Шилка».

Опять гремел салют крепостных орудий. На новенькой пристани тянулся в струнку караул из солдат и казаков. Унтер-офицер Кузькин бегал по берегу и приказывал гилякам, чтобы они поснимали свои лохматые шапки и не надевали, пока генерал не пройдет мимо. А если генерал повернется к ним лицом, чтобы все, как один, кричали «ура».

— Покричим, — обещали гиляки, понимавшие немного по-русски, — покричать можно.

Каторжанок на этот раз выпустили из казарм и велели кланяться, если его высокопревосходительство соблаговолит пройти мимо.

— Но чтоб, бабы, голоса вашего не слышал, — наказывал им охранник. — Не выть, не жалобиться...

Казарма ссыльнокаторжанок стояла в стороне от пристани, но женщины видели, как пристал пароход и по сброшенным сходням на берег быстрым шагом сошел генерал-губернатор. Он выслушал рапорт, поздоровался с солдатами, что-то сказал им, и в ответ послышалось «ура». Кричали «ура» и гиляки, стоявшие у своих лодок. Генерал остановился и милостиво помахал им рукой в белой перчатке. Не успел он повернуться и направиться к только что законченному тротуару, как из кучки гиляков кто-то громко и восторженно закричал: «Караул!» К кричавшему кинулся унтер-офицер Кузькин. Но гиляки уже одернули нарушителя церемонии, и, когда Кузькин подбежал, тот усердно крикнул: «Ура!»

— Маленько спутал, — смущенно объяснили Кузькину гиляки. — Совсем плохо по-русски знает. Ему твоя говорил: «Ура кричи», а он — «караул». Ошибался маленько.

Так и доложили генерал-губернатору. Муравьев посмеялся и пошел к дому батальонного командира. За ним, облегченно пересмеиваясь, двинулась свита.

Каторжанки-поварихи накрыли там столы с калужьей ухой, тушеной сохатиной и дикими гусями, настрелянными на озере Кизи. Приготовили отведать дикого местного лука, соленой черемши, грибков, черной и красной икры. Все свое. Даже на десерт было варенье из голубицы и жимолости. Так загодя приказал батальонному командиру контр-адмирал, военный губернатор Приморской области и начальник портов на Восточном океане Казакевич.

За столом пили за здоровье его высокопревосходительства, за Айгунский трактат, покончивший с неопределенным положением на Амуре. Поднимали тост за процветание Приамурского края. Разговаривая, вспомнили гиляка, от чрезмерной старательности перепутавшего «ура» и «караул». Между тем батальонный командир хлебосольно обращал внимание знатного гостя то на одно, то на другое блюдо, подчеркивая, что все это добыто его солдатами в близлежащих водах и лесах.

Эффект, на который рассчитывал Казакевич, был достигнут. Генерал-губернатор изволил даже пошутить в том смысле, что, пожалуй, Нижний Амур, который находится под благонамеренной заботливостью такого рачительного начальника, как Петр Васильевич

Казакевич, можно даже снять с государственного довольствия, поскольку своего провианта тут с избытком.

После затянувшегося обеда говорили о том, что даст статут порто-франко для Николаевска и торговля с Китаем для Среднего Амура. Как встретит весть о заключении Айгуньского договора граф Путятин и почему от него нет вестей.

— Путятин как будто в воду канул, — сказал Николай Николаевич. — Я ожидал получить от него известие в Николаевске, но увы, его нет. Я послал на днях к нему на американском купеческом судне курьера с договором и письмом. Американец дойдет в Шанхай через месяц, следовательно, только в конце июля Евфимий Васильевич сможет узнать, что амурское дело окончено. А до того времени, бог знает, что он вздумает предпринять.

Многие из присутствующих знали о сложных отношениях между Муравьевым и Путятиным и сочувственно поддакивали генералу.

Заговорили о Сахалине, где стояла русская команда. Но тут поднялся архиепископ Иннокентий и предложил пройти по Мариинску, а затем направиться всем на освящение нового храма в Кизи.

Николай Николаевич вышел первым, он хотел осмотреть солдатскую слободку.

— Что там смотреть, ваше высокопревосходительство, обыкновенные домишки... — начал было батальонный командир, но сразу осекся.

Генерал-губернатор уставил в него свой сверлящий взгляд, которого остерегались не только подполковники, и сердито заметил:

— То, что пожилые солдаты строят в сем краю дома, достойно всяческой похвалы. Значит, они думают здесь осесть. А каждый поселенец, знающий местные условия, принесет пользы больше, чем десяток новоселов из далеких мест.

Неказистые домишки солдат стояли, окруженные грядками огородов, что особенно понравилось губернатору.

Слух о приходе генерал-губернатора быстро облетел слободку. Солдаты — хозяева домов — собрались посредине улицы.

— Хвалю, — сказал им генерал, — хвалю, кавалеры! — И велел выдать, тут же при нем, каждому по три серебряных рубля.

Довольные солдаты моментально попрятали новенькие рубли по карманам, а генерал продолжал:

— Мне передали, что многие из вас согласны, после увольнения в бессрочный отпуск, остаться на Амуре. Сообщаю вам, что на них будут распространены льготы, представляемые переселенцам-казакам. Обживайте эту землю, обзаводитесь хозяйством.

— Землица ничего, — соглашались дядьки. — И зверь есть, и рыба. Тут бы многие остались, не только мы, к примеру...

Солдаты мялись, переглядывались.

— А в чем дело? — спросил генерал.

— Да вот, трудно бобылями жить. Сказано: без жены, как без штанов, одинаково неловко. А где здесь бабу возьмешь!

Солдаты оживились.

— Мы и к гилячкам присматривались, так у них, гиляков, у самих баб мало.

— Что гусь без воды, то мужик без жены, — негромко сказал кто-то.

— Как? — переспросил Муравьев и, выслушав вновь поговорку, добавил: — Неплохо! А слышали, как еще говорят: «Мужик — как бы хлеба нажить, а жена — как бы мужа избыть»?

— Так оно мало ли что скажут. А без баб худо тут будет.

— Понимаю, — согласился Муравьев. — А насчет жен вам, кавалеры, я подумаю.

После того как владыка Иннокентий освятил в Кизи первую на Амуре церковь, Муравьев приказал собрать на батальонном плацу старослужащих солдат и женщин-каторжанок.

— Старых не приводить, — сказал он о женщинах, — а тем, кто помоложе, намекните, что сегодня у них в жизни может произойти большая перемена.

В арестантских казармах дело дошло чуть ли не до драки. Каторжанки решили, что генерал собирает их за тем, чтобы объявить свою милость. И когда караульный офицер, построив женщин, отобрал наиболее пожилых и убогих и приказал им вернуться в казарму, поднялся крик:

— Неужто мы плохо работали?

— Да я день-деньской не разгибалась на постирках, не то что Стешка! Ей бы все зубы скалить да юбочонку задирать.

— Это я-то зубы скалю! — взорвалась Стешка и боком двинулась на обидчицу. — Да ты что несешь! Али Кузькина мне простить не можешь! А я что виновата, что он на тебя, сухопарую, глядеть не хочет.

Каторжанки напустились друг на друга, но их растащили солдаты, а потом обеих затолкали в казарму.

Не слушая криков и уговоров, не обращая внимания на слезы, забракованных каторжанок загнали в арестантскую и приставили к ним часового. Остальных повели на плац.

Там уже стояло человек тридцать линейцев, дослуживавших свой срок солдатчины.

— Кавалеры! — обратился к ним генерал-губернатор. — Меня радует, что многие из вас решили по доброй воле поселиться на этой мало обжитой земле. Тем, кто останется, будут предоставлены льготы. Сегодня один из вас сказал, что мужик без жены, что гусь без воды. Я позаботился о вас и дам вам жен...

Муравьев быстро прошел взад-вперед мимо шеренги солдат и, остановившись, скомандовал:

— Кто решил не выезжать с сих мест, три шага вперед!

Шеренга ветеранов заколебалась, потом из нее стали выходить один за другим солдаты. Набралось ровно двадцать человек.

— Все? — молча пересчитав солдат, спросил генерал.

Потоптавшись и махнув рукой, вышел еще один.

— Остальным — разойтись!

Солдаты, решившие возвращаться на родину, сначала разбрелись, потом сбились в кучку, ожидая, что будет дальше.

Глаша стояла в толпе женщин. То, что говорил генерал, доходило до нее, не задерживаясь в сознании. Она думала о своем. Неужели сейчас генерал скажет какие-то слова, и она станет вольной? И поплывет она по Амуру, и найдет в какой-то станице своего Игнашу. Может быть, пробудет с ним до осени. Ее не прогонят. Она будет стирать солдатам, как стирала здесь. А прачки везде нужны. Потом она вместе с Игнашей отправится в Шилкинский завод и поселится там. И будет все, как ей мечталось бессонными ночами и за работой.

Толпу женщин растолкали в неровную шеренгу. Глаша машинально стала туда, куда ее поставили. Потом унтер-офицер Кузькин вывел из строя почти половину женщин и отправил их в казарму. Оставшихся каторжанок пересчитали. Их оказалось двадцать одна.

Шеренгу их подравнял все тот же расторопный Кузькин. Напротив, всего шагах в трех от женщин, выстроились солдаты. И хотя они стояли на месте, лица их плыли перед Глашей. Уже примелькавшиеся, знакомые и незнакомые. Бритые, с усами, морщинистые, загорелые, расплывшиеся в улыбке, серьезно сосредоточенные.

— Ну вот, детушки, — говорил тем временем генерал. — Вот вам жены и хозяйки! Любите друг друга, обживайтесь! А вы, женщины, отныне освобождаетесь мной от каторги и становитесь солдатскими женами.

Из всего сказанного Глаша поняла только одно, что она освобождается от каторги, и заплакала счастливыми слезами.

Потом ее взял за руку знакомый солдат — дядька Иван. Он часто приносил в баню для

стирки солдатские рубахи, портянки и белье и бывало заговаривал с Глашей. Избушка его пока без крыши, но уже с печной трубой стояла в солдатской слободке.

Как во сне, еще ничего не понимая, обошла Глаша за руку с тихим солдатом Иваном вокруг походного алтаря: кизинский военный священник торопливо обвенчал их, как и другие пары.

Обвенчанные, поцеловав крест, вели себя по-разному. Высокий, сухопарый солдат обнял длинными руками свою неожиданно полученную жену и, склонившись к ней, что-то приговаривая, повел к солдатской слободке. Глашина товарка по прачечной, разбитная бабенка Маришка, спалившая когда-то дом свекра, за что и оказалась на каторге, едва отойдя от алтаря, обхватила шею доставшегося ей солдата и, не стесняясь генерала и всего высокого начальства, начала звонко причмокивая, целовать его колючие щеки. Набожная, еще совсем молодая, как и Глаша, кухарка Фенька зашлась в плаче и не могла шагу ступить вслед за тянувшим ее за руку солдатом.

— Да куда ты меня! — кричала она. — Да ты что!

Над плацем стояли и плач, и смех, и выкрики. Двое солдат со своими женами неловко топтались возле священника и о чем-то сбивчиво просили. Кое-как он разобрал, что солдаты хотели бы поменять жен, и бабы, мол, на это согласны, поскольку до этого они уже жили с ними, как с женами. Но каждый жил не с той, с которой его сейчас обвенчали, а с той женщиной, что досталась товарищу. Но священник терпеливо объяснил, что теперь, после святого венчания, ничего уже нельзя поделать. А то, что было у них раньше, — великий грех, который надо замаливать.

Все эти разговоры, плач, чужие объятия плыли, мелькали в глазах у Глаши, как во сне. Лишь в неказистом доме Ивана, где пока стояла только печка, деревянная лавка да висела на гвозде у двери заношенная шинель с номером 15-го батальона на погонах, Глаша по-настоящему осознала все, что случилось в этот роковой день. Нежданно-негаданно, по чужой воле стала она солдатской женой.

— Прощай, милый дружок Игнаша, — шептала вслух она, бессильно опустившись на лавку.

А робкий солдат Иван раздувал печь. Наливал в котелок воду, доставал из-под лавки сухари.

Иван думал попотчевать чаем молодую жену.

9

Перекликался птичьими голосами, сдабривал знойный воздух медовыми запахами жаркий июль. Отойдешь несколько шагов от первых казарм Хабаровки — и вот они, высокие травы с метелками иван-чая, пестрыми цветами мышиного горошка и нежно-розовой валерьяны. А в сырых местах по берегам прозрачной речушки, из которой берут воду солдаты, сочные синие цветы ириса.

Побурели возле огорода Кузьмы Сидорова грозди черемухи — скоро поспеет. Уже вьются над ней разбойными стаями крикливые скворцы. Горьковатый запах и прохлада в ее тени. Давно взошел на огороде картофель, а подсолнухи тянутся вверх, словно их кто подгоняет. Хорошо здесь. Гудят в кроне старой липы пчелы. Недалеко от огорода, на склоне холма, нашел Кузьма землянику. Она уже спеет. И проглядывают из травы цветными камушками ее душистые кисло-сладкие ягоды. Вот бы сюда ребят малых: Богдашку и его сестренку. То-то было бы радости! Только далеко они — осиротевшие мальцы...

Ровными рядами ухожены грядки. Они вскопаны и засажены, прополоты от сорной травы своими руками. Казармы тоже построены своими руками, но ведь картофель растет, требует заботы, это что-то живое, и радость от этого особая.

Жаль, что нечасто удается друзьям посидеть под черемухой, покопаться на грядках, поваляться на траве. Работа в лагере идет от восхода до заката. А день в июле длинный,

почти не остается времени для ночи, для отдыха.

Михайло кладет печи. Две казармы уже готовы, рубят солдаты третью и четвертую, строят цейхгауз, магазин. Кузьма покрывает крыши, Игнат в лесу на валке леса, готовит с другими солдатами бревна для дома батальонного командира. Но сегодня, в воскресенье, они все трое сошлись на огороде. Для солдат это отдых, потому что строят они свой пост, не соблюдая праздников. Даже в воскресный день звякает железо в кузнице, стучат топоры, не переставая до половины дня, и лишь после обеда могут солдаты помыться в реке, постирать, что надо, и починить.

— Значит, отпустил тебя капитан? — спрашивает Кузьма у Игната.

— Отпустил, — улыбается Игнат.

— А что, может, и повезет тебе, — снимая рубаху, рассуждает Михайло. — Может, и повезет, — повторяет он, укладываясь на траву так, чтобы голова была в тени черемухи, а спина под солнцем. — Приплывешь, а в Софийске как раз твоя милаша.

Всякое слово, которое поддерживает надежды, Игнат ловит с радостью. Кузьма это понимает и не спорит с Михайлом. Сам он думает, что Софийск начнут строить на голом месте и едва ли там окажется Глаша. А ведь только ради нее отпросился Игнат у батальонного командира в другую роту.

Новостей в 13-м батальоне много. После отъезда генерал-губернатора в низовья стали прибывать отставшие роты. Пришла рота Коровина, за ней — Прещепенко. Всем батальоном на строительство навалились. Казармы и другие постройки стали расти прямо на глазах. Людно и шумно, зато и веселее стало в лагере. Орлан теперь не кружит над рекой, а улетает куда-то далеко.

28 июня, возвращаясь из Николаевска, прибыл в Хабаровку генерал-губернатор. Заведующий путевой канцелярией Карпов обошел весь лагерь и подробно записал, что сделано, что начато и, кажется, остался доволен.

После того как он поднялся на пароход, генерал-губернатор вызвал к себе в каюту капитана Дьяченко и приказал ему послать одну роту к мысу Джай, что в тридцати пяти верстах выше Мариинска, и заложить там город Софийск. Этой же роте по пути надлежало установить почтовые станки от Хабаровки до реки Горин, оставив в каждом по несколько солдат.

— Еще одну роту, — продолжал Муравьев, — отправьте на Уссури. Она должна до зимы, в добавление к уже имеющейся станице Казакевичевой, поставить на Амурской протоке станицу Корсакову. Далее, за станицей Казакевичевой, на правом берегу Уссури — Невельскую, а за ней, — Муравьев сделал многозначительную паузу, потом, чему-то усмехнувшись, сказал: — Нет, еще рановато... Так вот, за ней, ниже устья реки Кия рота заложит станицу номер четыре...

Обычно находчивый на слова Дьяченко при других обстоятельствах попытался бы доказать, что в первый год, до того, как будут возведены зимние квартиры, не стоило бы распылять батальон. Но сейчас он молчаливо согласился.

Прошла неделя с того дня. Завтра две роты, недолго поработав в Хабаровке, опять оставят батальон.

Козловский вел свою роту на Уссури. Встретил он это назначение с радостью. Опять придется плыть в новые неведомые места. Пусть не к океану еще, но там, на Уссури, по рассказам, все необычно: и лес, и звери, и земля.

Строить Софийск уходила рота Прещепенко.

— По мне лучше бы в Шилкинский завод или в Иркутск, — сказал он. — Да уж ладно, построю вам город...

В роту Прещепенко и стал проситься Игнат. И напросился-таки. Поручик Прещепенко его хорошо помнил.

— Это балалаечник, что ли, которого я из воды вытянул? — спросил он у капитана Дьяченко. — Ну, коли тот, пусть идет. Хотя он и растяпа, с обрыва свалился, зато на балалайке хорошо играет. А нерасторопность я из него выбью.

Сейчас, когда отъезд Игната дело решенное, и радовались его приятели и переживали. Сдружились они с парнем. И самому Игнату жаль расставаться с ротой, куда прибыл он неотесанным рекрутом, а теперь обвыкся, втянулся в солдатскую службу. Поздней осенью стукнет два года, как пришел в первую роту Игнат. У поручика Прещепенко служить потрудней. Он и наорет, и оплеуху может отвесить, и унтера у него крикливые да драчливые. Однако ради встречи с Глашей Игнат готов стерпеть все. Лишь бы разыскать ее, лишь бы жить рядом.

— Эх-ха! — громко вздыхает Леший. — А мне бы, братцы, Дуняшу еще раз увидеть. Мой это малец у нее, мой!

О казачке Дуняше уже немало было переговорено. Степенный Кузьма Михайлу корил, Игнат поддерживал Лешего:

— Да ведь мужик у нее неспособный. А теперь в доме ребенок. Значит, полная семья.

Упрекая Лешего, Кузьма сам думал о вдовой казачке, что осталась в станице Кумарской с двумя ребятишками. Вспоминая ее, Кузьма украдкой от друзей вздыхал. Жил бы рядом, помогал бы, чем мог. Сена накопил бы, дровишек заготовил. А там скоро в бессрочный отпуск. Остался бы в Кумаре.

На следующий день уходили вторая и четвертая роты. Думали отправиться с утра, да не успели. Что-то не было погружено, что-то недоделано на баржах. Наконец к полудню отчалили баржи роты Козловского. Им до первой остановки, места, выбранного для станицы Корсаковой, плыть не так уж далеко, хотя и против течения. Там высадится часть роты, остальные же пойдут за станицу Казакевичеву, в места малоизвестные.

— Где-то там сейчас странствует неугомонный Михаил Иванович Венюков, — сказал, прощаясь, батальонный командир Козловскому. — Встретитесь, поклон ему от меня!

— Обязательно, Яков Васильевич! — заверил поручик.

— А я выберу время, побываю у вас.

— Приезжайте на медвежатину. Там, говорят, медведей уйма!

Прещепенко, как отчалили, приказал Тюменцеву играть плясовую. Игнат уселся на борту и ударил по струнам. Заиграл он забайкальского «Голубца», сам же себе подпевая: «Хай, люли, голубец!...»

На берегу его провожали Кузьма и Михайло.

— Э-гей! Игнат! Найдешь свою милашу, про нас не забывай! — крикнул Леший.

Игнат вскочил на ноги и, вытренькивая «Барыню», пустился в пляс:

Эх, Глашенька моя,
Сударыня ты моя!

Надеялся солдат, крепко надеялся, что встретит, не может он не встретить свою Глашу...

Вскоре появился в Хабаровке и первый купец.

Сначала на большом баркасе с товарами приплыл разговорчивый приказчик. Сам купец где-то отстал в пути. Прослышав, что в амурских станицах ценятся кошки, он на Шилке загрузил трюм одной баржи кошками и котами.

— Кошечки-то на Амуре по рублю! — рассказывал об этом приказчик, притопывая смазанными дегтем яловыми сапогами. — На Шилке мы за пару по пятаку платили, а тут по рублю! Только барыши мы не получили. В верховских станицах хозяин торговать не стал. Там полцены давали. Забайкалье, слышь, близко, вот казачки и скупаются. Сами когда-никогда эту живность привозят. Ну, мы плывем, плывем. А кошка хоть и мала, есть-пить просит. Мячат они в трюме-то идохнуть начали. Пристали как-то мы на ночлег, хозяин возьми и прикажи трюм открыть, чтобы проветрить немного да кошек покормить. Открыли, а кошки как хватят, как рванут по сходням! Весь товар в один момент на берег утек! Вона как, господа любезные, приключилось!

Солдаты и офицеры, слушая приказчика, от души смеялись.

— Ну и где теперь твой хозяин? — спросил Коровин.

— Ой, беда! Надавал он подзатыльников своим молодцам, погоревал, погоревал, да обратно на Шилку повернул. За котами, значит. Да и товар, который продали, пополнить. А меня отправил лавку тут у вас ставить. Не знаю, угожу ему или нет, местом-то, где стал. Вашей, значит, Хабаровкой. Тут одно преотличное место попадалось... станица Екатерино-Никольская. Берег высокий — топить не будет. Да я тигров испугался. Как раз перед моим приездом разорвал там тигр часового. А так, бо-ольшая там станица будет, а может, и город.

— Какой же товар ты привез? — поинтересовался капитан Дьяченко.

— Разный товар. Свечи есть, чай кирпичный, сапоги, сухари, крендели, табак, спирт. Ситец имеем, коленкор, дабу, котлы... Все, что душе угодно. Вы тут у туземцев пушниной не разжились?.. Тащите ее сюда, товар в промен найдется!

Поселился приказчик и стал строить лавку за средней горой у небольшой мелкой речушки, которую солдаты прозвали Хабаровкой.

Как не спешил Дьяченко готовить к зиме лагерь, он все же отпускал желающих поработать вечерами у торговца. И к августу на левом фланге Хабаровки, аккуратно напротив орлиного гнезда, уже стояла лавка. В срубленном наскоро доме первую половину занимал «магазин», разгороженный надвое прилавком. За ним до потолка тянулись полки с товарами. А на самом прилавке лежали потертые счета и стояла стеклянная чернильница. Во второй комнате поселился приказчик.

Про лавку узнали гольды не только из стойбища у Хабаровки, но и те, что жили по Уссури. И повезли они к ловкому торговцу пушнину, которую не успели отобрать в прежние набеги маньчжуры. Приказчик похвастался:

— Соболей я беру по два, самое большое по четыре рубля серебром за хвост. А на ярмарке в Ирбите он идет по двенадцать, пятнадцать, даже по двадцать рубликов. Доволен будет хозяин.

В начале августа приплыл и сам купец. Якову Васильевичу его приезд доставил неожиданную радость...

Сначала на баркас, приставший к берегу возле лавки, не обратили особенного внимания. По Амуру теперь часто проплывали переселенцы, курьеры. Наведывались при нужде в Хабаровку на лодках казаки из Казакевичевой, солдаты из роты Козловского, строившие соседнюю станицу Корсакову. В самом конце июля прошел из Благовещенска, не остановившись в Хабаровке, пароход «Амур». Так что прибытие еще одного баркаса не вызвало интереса. Однако, когда от баркаса отделилась лодка и направилась к лагерю, часовой удивленно присвистнул. Удивился он тому, что в лодке сидела женщина, а рядом с ней нетерпеливо привставал мальчишка.

Доложив о необычных пассажирах капитану и передав ему подзорную трубу, часовой заметил:

— Видать, из благородных дама-то. В шляпке. И платье на ней непростое. Такое я только в Шилкинском заводе видел...

Яков Васильевич поднес к глазам трубу, подвернул окуляр и разглядел сначала широкую спину гребца. Потом, над этой спиной в холстяной рубахе, приподнялось удивительно знакомое мальчишеское лицо.

— Володька! — чуть не вскрикнул капитан, узнав сына.

А в окуляре уже покачивалось родное лицо жены Фимы.

Капитан сунул трубу часовому и, к его великому удивлению, тут же закричал, замахал руками:

— Володя! Фима!

Володя вскочил с сиденья, но его одернул державшийся за борт одной рукой незнакомый капитану человек; лодка же огибала утес с его клокочущим течением.

Сбежав на берег, капитан шагнул в воду, подхватил нос лодки и вытянул ее на песок.

Володя, не находивший до этого себе места, вдруг засмутился. Он хотел было броситься отцу на шею, но смешался, как и тогда, в Иркутске.

— Ну, давай, сын, сходи! Конец твоему путешествию. — Дьяченко протянул руку.

Потом он, не стесняясь солдат, подхватил на руки жену и перенес ее на берег. Следом соскочил сопровождавший их человек, оказавшийся владельцем построенной уже в Хабаровке лавки.

— Как же вы не предупредили, не написали?! — и удивлялся, и радовался Яков Васильевич.

— А мы рассудили, что письмо дойдет не быстрее, чем доберемся мы сами.

— Да вот вам сразу и живое письмо, — вставил свое слово купец. — Чего же еще желать!

Подошел в сюртуке без эполет Коровин. Увидев даму, смутился за свой вид, хотел отступить, но капитан уже представлял его жене и сыну. А купец рассказывал:

— Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я ведь мог быть здесь еще месяц назад, вместе со своим приказчиком. Да кошки подвели, окаянные, разбежались. Пришлось возвращаться. Еду в другой раз, добрался до Благовещенска, а там ваши сидят, оказии ждут. На «Амур», что сюда шел, они опоздали. Поговорили мы, выяснилось, что я с родителем ихним, Константином Севастьяновичем, дела имел, а плыть нам, примерно, в одно место. Вот и отправились.

— Так это ваша лавка у нас за горой? — спросил Коровин.

— Моя, — довольно сказал купец. — Приказчик-то мой и сообщил, что вы здесь.

Капитан пригласил всех к себе на баржу.

— А мы навсегда в твою Хабаровку, — счастливая и довольная, рассказывала Фима. — Знаешь, стало нам с Володей нелегко. Сколько можно тебя ждать. И мы отважились. Отец с мамой, все знакомые пугали: до зимы не доберетесь. Безлюдье там, мало ли что может случиться. Оказалось, все не так, какое же это безлюдье! По всему Амуру новые селения. За день одно, а то и два проплывали. Успели добраться за месяц. До Шилкинского завода нас доставил отец. Привет тебе, Яков, от него и от мамы! Потом с курьером приплыли в Благовещенск. А дальше вот со Степаном Степановичем...

— Говорил я, — сказал капитану поручик Коровин, — не надо приостанавливать строительство вашего дома. Теперь придется поторопиться. Он ведь, ваш супруг, — обращаясь к Афимье Константиновне, продолжал Коровин, — как ушли от нас две роты, приказал строительство своего дома оставить и завершать казармы.

— Так-то ты нас ждешь! — притворно обиделась Афимья Константиновна.

— Не ждал, не ждал, — добродушно улыбался капитан.

— Папа, я хочу на берег, посмотреть лагерь, — сказал Володя.

— Успеешь еще, сынок, насмотришься...

— Пусть идет, — поддержала мальчика Фима. — Столько дней на воде, засиделся.

— Ну, иди. Разыщи в лагере унтер-офицера Ряба-Кобылу, он тебе все покажет. Хотя подожди. Найди лучше солдата Кузьму Сидорова, пусть сводит тебя на свой огород. Кузьму Сидорова — не забудь! — крикнул капитан уже вслед сыну.

— Не забуду! — отвечал тот, убегая.

Гости привезли свежие, всего месячной давности, иркутские новости. А благовещенские были совсем с пылу с жару. Новый город на Амуре они оставили немногим больше недели назад.

Пока солдаты накрывали стол, зашел разговор о генерал-губернаторе. Афимья Константиновна рассказывала, что он еще 9 июля прибыл в Благовещенск. Туда же, через несколько дней, на трех джонках прибыл айгуньский амбань.

— Встречали их, как рассказывают, пышно, — говорила она. — На пристань вышли офицеры штаба. Оркестр играл марш. Впереди амбаня шли шесть маньчжур с павлиньими перьями на шапках, потом церемониймейстер, а уж за ним выступал сам амбань. Остальная свита толпилась за ним. Николай Николаевич встретил амбаня на веранде дома, проводил в

гостиную. Тут же подали угощение. За обедом, еще раз поздравив друг друга с заключением трактата, они договорились, что попеременно в Благовещенске и Айгуне будут устраиваться ярмарки. Ходит слух, что договор с китайцами заключил в Тяньцзине и граф Путятин, а китайский богдыхан уже утвердил трактат, подписанный в Айгуне.

— Ярмарки, конечно, хорошо, — заговорил о своем купец. — Я вот тоже думал поторговать с китайцами, да где там! Если наших станиц, как сказала уже Афимья Константиновна, действительно заложено немало, то китайский берег по-прежнему пуст. За Айгуном одни леса да горы, горы да леса. Жалко: такая земля без дела лежит.

Купец пообедал и откланялся, пригласив всех к себе в гости. Ушел и Коровин, и Яков Васильевич с Фимой остались одни. Они стояли у открытого окошка каюты, за которым до полосы дальнего берега простиралась речная гладь. Течение несло пену, вода прибывала, отчего Амур казался особенно могучим и величавым.

— Какой простор, — сказала Фима, — и какое упрямое течение. Оно завораживает и куда-то зовет. Поэтому ты, наверно, и бродишь столько лет без приюта и без своего гнезда.

— У меня здесь есть заветное место, — отвечал капитан. — Когда я очень скучал о тебе и Володе, я поднимался туда и глядел на Амур. И понемногу успокаивался. Это на утесе — рядом. Мы потом сходим туда втроем, увидишь, какой там открывается простор... Но, как ты решилась, моя умница, на эту поездку?

— В Иркутске нет утеса, на который я могла бы подниматься. Не выдержала. Собралась враз, и вот мы у тебя.

— Я хотел вызвать вас будущей весной, когда здесь будут какие-то удобства. Сейчас придется трудно... Но я так благодарен тебе, — Яков Васильевич обнял жену, — я так благодарен тебе за твою жертву.

— Какая жертва! Я не на каторгу, а к тебе приехала! — воскликнула Фима.

Она повернула к нему заалевшее вдруг лицо, увидела совсем рядом его глаза и замолчала под его взглядом. А капитан рассматривал ее так пристально, будто никогда не видел женского лица. И ему казалось сейчас, что природе никогда не создать ничего совершеннее, чем женщина, чем милое, заставляющее сжиматься от нежности сердце, женское лицо. И он только сейчас понял, как истосковался по глазам Фимы, доверчивым, восторженным и испуганным, по ее голосу, который вдруг смолк, по мягким нежным чертам ее лица, по ней — своей жене. Фима приникла к нему.

— Как хорошо, что ты приехала, — почему-то шепотом сказал он.

— Ты меня не отпускай, — тоже шепотом произнесла она. — Нет, не так... Ты меня больше не оставляй, а бери с собой во все свои походы.

По палубе у каюты прошелся часовой. Он остановился, видно, укрывшись от речного ветерка за стеной, и начал кресалом высекать искру. Фима шевельнулась, освободилась от руки капитана, виновато улыбнулась и произнесла:

— Пойдем. Покажи мне свою Хабаровку.

Солдаты, когда к ним подходил капитан с женой, еще прилежнее налегали на работу. Все уже знали, что у командира гости. Но гости: жена, сын — все это могло быть только в далекой от их существования жизни. Такой далекой, что, даже уважая своего батальонного командира, солдаты не столько радовались за него, как порадовались бы, например, за соседа, а просто им было любопытно: какая у капитана жена, какой сын и как их командир разговаривает с женой. Они, кто украдкой, а кто с откровенным любопытством разглядывали жену капитана, ее платье-амазонку, недавно дошедшую до Иркутска, с длинной суконной юбкой, из-под которой выглядывали носки шнурованных ботинок, узкой кофтой и широкими, колоколом у плеча и узкими у ладони, рукавами.

Замечая эти взгляды, Афимья Константиновна поняла, что приезд ее в этот военный пост растревожит, может быть и неосознанной болью, души этих подчиненных ее мужу людей, лишенных многих радостей и удобств, доступных ей, лишенных женского участия и женской заботы.

Еще в институте госпожи Липранди приезжие с Нижнего Амура офицеры с

восхищением рассказывали о Екатерине Ивановне Невельской. Для иркутского света она по-прежнему оставалась Катенькой Ельчаниновой, и все в городе поражались ее неожиданно проявившемуся мужеству. На самом краю света она испытывала целых пять лет и голод, и холод, перенесла сама цингу и болезнь детей, а вместе с тем служила душой общества в Петровском и Николаевске. Опекала таких вот солдат, находила время, чтобы лечить гиляков и обучать домашним премудростям их женщин. И сейчас, шагая со своим Яковом мимо занятых работой линейцев, Афимья Константиновна думала, что не одно только желание быть рядом с мужем, облегчать и скрашивать его лагерную жизнь, двигало ею, когда она решилась на поездку сюда, но и желание хоть немного походить на Катю Невельскую, на других молодых жен, отправившихся сюда на Амур, и хоть самую малость на Александру Муравьеву, о которой рассказывали легенды, на Елизавету Нарышкину и жен других сосланных по делу 1825 года в забайкальские остроги.

Володю Яков Васильевич и Фима увидели сидящим верхом на лошади, рядом шагал Кузьма. Мальчик хорошо держался в седле.

— Папа! — крикнул он еще издали.

— В лес ездили, — поздоровавшись, доложил солдат. — Значит, с гостями вас, ваше высокоблагородие. А вас с прибытием, — он степенно поклонился Афимье Константиновне.

— Да, Сидоров, у меня неожиданная радость, — ответил капитан. — А ты, Володя, вижу, подружился с Кузьмой?

— Да, папа. Мы были на огороде и ездили в лес. А сейчас пойдем на утес, смотреть гольдскую кумирню. А потом сходим к орлиному гнезду.

— Давай, Володя, так. К гнезду — завтра, а на утес, пожалуй, сходите. И мы туда придем, как только осмотрим наш проспект.

Капитан Дьяченко и его жена, сопровождаемые неумолчным стуком топоров и кувалд, шарканьем пил, командами унтеров, пошли по щепе и опилкам вдоль первой улицы Хабаровки. Шли мимо длинных стен рубленных из круглого леса казарм, мимо палаток.

— А вот это будет наш дом, — показал Яков Васильевич на незавершенный сруб. Сейчас возле него уже отдавал какие-то распоряжения поручик Коровин.

— Там цейхгауз, а это продовольственный магазин. Вот и вся Хабаровка. Да, еще лавка купца за средней горой...

В это время у сруба будущего командирского дома кто-то закричал. Капитан и его жена обернулись и увидели, что солдаты, работавшие там, сгрудились вокруг сидевшего на земле линейца.

— Что еще там случилось, — недовольно сказал капитан и быстрым шагом направился к дому.

Афимья Константиновна поспешила за ним.

— Ногу поранил, — объяснил Коровин.

Топор солдата разрубил сапог, который сейчас стягивали двое других плотников, и из-под него текла кровь.

Солдат виновато улыбался.

Увидев кровь, Афимья Константиновна почувствовала себя дурно, она ухватилась за руку капитана и прошептала:

— Там у меня в саквояже есть бинты, надо пойти взять.

— Да тебе плохо, — встревожился Яков Васильевич. — Совсем побледнела. Пойдем отсюда, здесь сами перевяжут.

— Да, да, пойдем за бинтом.

— Какой бинт! Пустяки, — возразил Коровин.

Он склонился над солдатом, оторвал у него от подола нижней рубахи длинный лоскут и быстро перетянул рану.

— Да вы сядьте, ваше благородие, — подкатил чурку к ногам жены капитана унтер-офицер Ряба-Кобыла.

— А и правда, сядь, неженка, — сказал капитан. — Привыкай.

— Простите, ваше благородие, — сказал, обращаясь к Фиме, перевязанный солдат, — испугал я вас.

— У нашего брата быстро все заживает, — добавил другой солдат. — Зарастет как на козе.

— Посидит малость и работать будет, — подтвердил Ряба-Кобыла.

— А бинты я приготовлю, — оправдываясь за свою минутную слабость, сказала Фима. — Буду держать их под рукой.

Ей было неудобно перед собой, перед своими сокровенными мыслями, что она растерялась при первой небольшой беде и чуть сама не потеряла сознание, глядя на кровь, вместо того чтобы оказать помощь солдату, как это, наверно, сделала бы Катя Невельская.

— Мне уже совсем хорошо, — сказала она Якову Васильевичу, почувствовав на самом деле, что слабость прошла. — Пойдем еще походим.

Побывали они в этот день и на утесе, и в летнем гольдском стойбище, вызвав там отчаянный собачий лай и великое удивление. Русских солдат и офицеров гольды видели часто, а вот женщина и мальчик стояли перед ними впервые. Мужчины стойбища и их жены рассматривали Афимью Константиновну и Володю, удивлялись, что-то быстро говорили друг другу, качали головами.

«Ну вот, капитан, — думал Яков Васильевич ночью, уложив своих уставших гостей спать, — теперь и семья с тобой. И строишь ты здесь новое поселение, где будет, наверно, надолго твой дом». Он набил трубку и вышел на палубу, думая, что Фима уснула. Лагерь уже спал. Плескалась, огибая борт его баржи, вода, и никаких других звуков не доносила больше тихая, спокойная ночь. В черной речной глади отражалось безлунное звездное небо. И сейчас нельзя было даже угадать, где кончается амурский разлив и начинается противоположный берег. Все пространство перед капитаном было усыпано мерцающими звездами.

Яков Васильевич не услышал, как вышла из каюты и как подошла к нему Фима. Она прислонилась щекой к его плечу и замерла. Капитан осторожно привлек ее к себе, и они стояли так, ощущая друг друга и не говоря ни слова. Потом Фима вспомнила, как уезжала из Иркутска, и стала вполголоса рассказывать, как ее провожали, кто провожал и что говорили.

Часовой неслышно отошел на корму, а потом и совсем спустился на берег, зная, что командир батальона не накажет его за это нарушение. Оттуда, с берега он потом увидел, как командир взял на руки свою жену, постоял так с ней, что-то приговаривая, а потом унес ее в каюту. Перед тем как ему смениться с поста, часовой увидел, что капитан и его жена вновь вышли на палубу. «Не наговорятся, — подумал он. — Ну и пусть их. А я сейчас как лягу, да как всхрапну...»

И уж совсем неожиданно приезд семьи командира растревожил старого солдата Кузьму. Вспомнилось ему, что скоро закончится долгая его солдатская служба, одна его жизнь, а куда податься, чтобы начать другую? Некуда! Батки с матерью давно уже нет. У старшего брата, за которого служит Кузьма, своя большая семья. А ведь мог и у Кузьмы расти свой малец, вроде капитанова сынишки, если бы не пришлось тянуть солдатскую лямку. Думал Кузьма, уйдя в бессрочный отпуск, поселиться в Кумаре, которую своими руками рубил. Поселиться да, может, и сойтись со вдовой теперь казачкой. Однако там казачья станица, и ты будешь всем чужой. А что, если остаться жить в Хабаровке, среди своего брата солдата да вызвать сюда или самому привезти казачку с ее ребятишками? Это было бы ладно! «Пожалуй, привезу», — засыпая, думал Кузьма.

Кузьму Сидорова и Михайлу Лешего батальонный командир выделял. Давал им, как считали линейцы, всякие поблажки. Но это было понятно. Кузьма — старый служака, перенес тяжелый поход 1856 года. А всех, кто вернулся из этого похода, только за то, что

жив остался, надо уважать. Солдаты помоложе безропотно слушались Кузьму, тянулись за ним. А Михайло — силач и умелец. Что двоим не поднять, Леший один попрет. А печи какие добрые получались у Михайлы! Недаром к нему льнули казачки в Кумаре. Да и рыбак Михайло удачливый. Гольды по-прежнему изредка привозят рыбу. Но разве на две роты ее напасешься. Каждый, поиграв день топором, умнет котелок ухи, к нему пару карасей да еще посмотрит, не осталось ли чего в котле.

Поэтому и смотрел капитан одобрительно на дружбу солдата с соседями рыбаками, на его отлучки в стойбище. Пусть перенимает у них умение рыбу добывать, готовить ее впрок.

А Михайло уже научился «маячить», объясняться с гольдами десятком схваченных у них слов да несколькими русскими словами, которые они запомнили. А чаще жестами и ужимками.

Как только приезжали соседи — гольды, солдаты звали Лешего:

— Эй, Михайло, иди помаячь! Мы тут никак не сговоримся.

Михайло приходил, хлопал дружески приезжих медвежьей своей пятерней, и начинался разговор. Кузьма и гольды размахивали руками, приседали, строили всякие фигуры из пальцев, потом Леший, доставая кисет, говорил своим:

— Дурни, что тут не понять! Вот Чокчой табаку просит, свой промочил. А этому — гвозди понадобились. Он потом за гвозди рыбой отдаст.

— На, друг Чокчой, подыми!

Михайло отсыпал гостю табаку, вырубал кресалом огонь и сам закуривал трубку.

С Чокчоем, из рода Данкан, уже немолодым простодушно-хитроватым гольдом, носившим большую медную серьгу в ухе, Леший сдружился. Бывал в его летнем шалаше, переполненном ребятишками и собаками, ездил с ним на ночь на левый берег рыбачить, утром привозил своим мешок рыбы. Чуть вздремнув на рыбалке в лодке, а то и вовсе не поспав, солдат потом вместе со всеми выходил на работу.

— Мне лишь бы не бегом, а так все сделаю, — говорил он.

Чокчой быстрее своих сородичей усваивал русские слова и оказался человеком бывалым. Несколько лет назад он ходил с русским офицером проводником по Амуру и получил от него в подарок фитильное ружье. Ружье это, единственное во всем роду Данканов, принесло Чокчою уважение и почет на всей территории от Горина до Хабаровки. Плавал Чокчой и по Уссури, ездил даже торговать с маньчжурами на Сунгари. Был он отменным рыбаком и охотником. Две жены Чокчоя боготворили своего повелителя.

Последнее время из-за левобережного кривуна почти каждый день проплывали гольды с верховьев. Плыли они целыми семьями с ребятишками, женщинами и собаками. Миновав лагерь, лодки обычно приставали к берегу возле стойбища.

Яков Васильевич давно обратил внимание на это передвижение. Разглядывая в подозрную трубу лодки, он видел, что гольды везут с собой весь свой немудрящий скарб, даже перевернутые вверх полозьями собачьи нарты. Раньше, в июне, на Амуре у Хабаровки плавали только лодки гольдов из соседнего стойбища. Чем вызваны теперешние поездки, да еще все в одну сторону? Откочевывать к зимним стойбищам еще рано, лето в разгаре. И однажды, когда проплыли еще две лодки, капитан послал в стойбище Лешего.

— Навести соседей, помаячь. Узнай, куда эти лодки плывут? Может быть, ярмарка у них будет?

Михайло отмыл с рук глину, оттолкнул лодку и уплыл, довольный поручением.

Вернулся он часа через два вместе с Чокчоем и незнакомым старым седеньким гольдом. У того была жиденская борода, короткая косичка, морщинистое добродушное лицо.

Сняв войлочную шляпу, гольд начал кланяться, а потом, что-то сказав, вынул из-за пазухи халата связку пушистых шкурок и протянул капитану.

— Что это он, а, Леший? — спросил Дьяченко, беря шкурки.

— Тут, ваше высокоблагородие, такое дело, — начал объяснять Михайло. — Он, старик этот, аж с реки Сунгари приплыл. Из Китая, значит. Просит, чтобы вы ему

разрешение дали поселиться на нашем берегу. Они, гольды, что по Сунгари живут, прослышали про договор с Россией и теперь бегут к нам. На русском, мол, берегу жить легче. Не бьют, мол, их, не обижают. Маньчжурская стража их сюда не пускает, так они ночью. И те, что до этого приплыли, Чокчой говорит, тоже с китайского берега. Больше все с Сунгари. Старик этот маньчжур боится беда как. Запуган, видать. Все выпрашивал у меня, не приплывут ли маньчжуры сюда, не вернут ли их назад.

— Что же ты ответил?

— Я говорю: не бойтесь, не приплывут. Земля здесь наша.

— Правильно объяснил, молодец, — похвалил капитан. — А старику скажи: пусть селятся, где захотят. Притеснять их у нас никто не будет. А шкурки эти отдай ему, пригодятся.

Старик внимательно слушал разговор, пытаясь понять, какое решение примет русский начальник. Он, не надевая своей шляпы, кивал головой, поддакивая Лешему, и улыбался, видя, что улыбается офицер. Но когда Дьяченко протянул ему пушнину, старик по-своему понял намерение капитана, упал на колени и быстро-быстро заговорил. Видно, он уговаривал начальника принять подарок и разрешить им остаться на русском берегу.

— Объясни ты ему, Леший, — сказал капитан, — что селиться я разрешаю. И другие пусть приезжают без опаски. А платить за это не надо.

Пришлось Михайле изрядно помаячить, пустить в ход всю свою изобретательность и весь запас гольдских слов, пока старик понял наконец, что возвращаться на Сунгари ему не придется. Чокчой тоже что-то растолковывал старику по-своему. В конце концов старик успокоился. Чокчой же отозвал в сторону Лешего и на ломаном русском языке спросил: неужели пушнина совсем не понравилась капитану?

— Чудак ты, — сказал Леший. — Капитан говорит, пусть даром живет, а пушнина ничего. Хорошая пушнина.

Чокчой сразу же все перевел старику.

Довольного гостя и Чокчоя Михайло на своей лодке отвез обратно. Там старик достал деревянного божка и щедро обмазал его рот рыбьим жиром. Своим родичам он сказал всего несколько слов, и те обрадованно засуетились у кипящего котла, приглашая и Михайлу поесть с ними.

— Ты мне, Чокчой, лучше талы подай, — попросил Леший, пристрастившийся к гольдскому блюду из сырой рыбы.

Чокчой что-то крикнул женам, и те моментально очистили живого еще сазана и принялись рубить его на мелкие полоски. Через пять минут тала была готова. Приезжие гольды пришли в восторг, когда увидели, с каким удовольствием русский солдат уплетает их еду. Они ахали и заглядывали Михайле в рот.

Гольдские семьи продолжали переселяться с реки Сунгари до середины августа, потом цепочка лодок враз оборвалась.

— Что-то не едут больше ваши люди? — спросил Михайло у своего приятеля Чокчоя. — Видать, все перебрались.

Чокчой замахал руками, затряс головой.

— Не все, не все!

Он рассказал, что маньчжуры, встревоженные бегством охотников и рыбаков, которых они с большой выгодой для себя обирали, выставили на Сунгари посты и на Амур никого больше не пропускают. Последней лодке удалось проскочить ненастной ночью, когда караульные попрятались от дождя.

Линейцы из роты Козловского, наведываясь в Хабаровку, рассказывали, что вскоре после приезда русских солдат уссурийские гольды тоже стали переселяться с левого берега на правый.

— Грабят их китайцы, ваше высокоблагородие, — говорили солдаты капитану Дьяченко, — так, что и сказать нельзя. Всех соболей берут подчистую. Отдаст охотник соболей, а его все равно лупят палками, думают, что он еще чего-нибудь припрятал. Так

гольды теперь приспособились. Отдадут сперва часть соболей, а как их бить начнут, тащат остальных.

— Когда мы начали станицу рубить, — добавлял другой солдат, — так китайцы запретили гольдам к нам приезжать, рыбу нам возить. Те поначалу опасались нас, а теперь, вишь, насовсем сюда переезжают.

В конце августа в Хабаровку заехал Михаил Иванович Венюков.

Почти три месяца пробыл он со своей командой на берегах таежной Уссури, занимаясь съемкою и описанием долины этой реки.

— Ну, что там, как моя четвертая рота? — прежде всего спросил Дьяченко. — Много ли успели сделать?

— Еще мало, Яков Васильевич. Только Хабаровка представляет утешительный вид, — сказал Венюков. — Несколько свежих, незаконченных построек есть в станице Невельской, то же я видел в станице номер четыре и в Корсаковой. Казакевичева, правда, растет, имеет вполне приличный вид. Я очень боюсь за станицу номер четыре, как бы ее потом не пришлось переносить на другое место. Очень уж низменный участок для нее выбрали. В большую воду будет топить.

— Таков приказ, ничего не поделаешь. Козловский не мог отойти от плана.

— Говорил он мне, — сказал Венюков. — Но Хабаровка, откровенно скажу, меня обрадовала. После того что я видел тут в первый приезд, сделано много. Работы у вас идут успешно. И знаете, Яков Васильевич, быть здесь городу!

— Доживем ли мы до этого, Михаил Иванович?

— Должны дожить. Вон купцы своим коммерческим чутьем сразу поняли это.

— Да, одна лавка уже есть. А на днях проезжал в Николаевск купец Ланин, тоже обещался открыть у нас свою лавку. Был тут и приказчик Амурской компании, просил выделить ему место для складов. Я ему сказал: селитесь на левом фланге, на склоне под орлиным гнездом.

— Вот видите: быть городу, быть.

Офицеры сидели на палубе, у каюты батальонного командира. Отсюда виден был и Амур, и постройки военного поста.

— Вот вы изволили заметить, — продолжал Дьяченко, — что сделано пока мало. Сделали бы больше, если бы батальон не был так распылен. Одна рота у меня на Уссури, две — здесь, а еще одна устанавливает почтовые станки и строит город Софийск.

— Город? — переспросил Венюков.

Дьяченко улыбнулся:

— Да, представьте себе, сразу город! Так захотелось Николаю Николаевичу. И вот получается, — помолчав, сказал капитан, — что линейные батальоны — это амурские пионеры. Мы появляемся в совершенно ненаселенных местах, закладываем здесь города и села. Несем пограничную службу, а теперь поддерживаем еще и почтовую гоньбу.

Венюкову показалось, что Дьяченко, гордясь своими солдатами, видит в их труде одну только лицевую сторону, не замечая ее изнанки. И он воскликнул с горячностью:

— А жертвы! Вы забываете, капитан, о громадных лишениях, которые падают на головы вверенных вам нижних чинов! Оправданы ли они все-таки?

— Да, жертв много, — согласился Дьяченко. — На днях сообщили мне, что на первом станке утонул солдат, перевернулась лодка. Переносят линейцы голод и холод, цингу и тиф. Зато в лишениях этих выковался совершенно своеобразный тип сибирского линейного солдата. Он бурлак и лоцман на реке, плотник, кузнец и печник на берегу. И не ждет лавров за военные подвиги, потому что их, слава богу, на Амуре нет. Порохом здесь, к счастью, не пахнет.

— Да я не спорю с вами, Яков Васильевич, — сказал Венюков. — Я сам имел случаи убедиться в изобретательности и находчивости линейных солдат.

— Вон, посмотрите на этого богатыря, — показал Дьяченко на Михайлу Лаптя. —

Видите, как легко он волочит плаху, которую сам же и отесал. А он у меня еще и печник, и рыбак, и переводчик. Сейчас свободно уже изъясняется с инородцами.

— Это с вашими соседями гольдами? Тихий и добродушный народ, с покорностью судьбе выносит ее удары. Наблюдал я, в каком страхе держат их маньчжуры на Уссури. Но теперь, с нашим прибытием туда, несмотря на угрозы китайцев и маньчжур, они бегут на нашу сторону и ищут защиты у русских солдат и казаков.

В затянувшемся, интересном для обоих разговоре, они опять вернулись к жизни строящегося военного поста.

— Так вы считаете: будет на месте Хабаровки город? — снова спросил капитан Дьяченко.

— Непременно, — ответил Венюков.

— Фима! Ты слышишь, что говорит Михаил Иванович? — окликнул жену капитан.

— Слышу. Но не думай, что только поэтому я сюда приехала, — донесся из каюты голос Афимьи Константиновны.

11

Молодому офицеру Вячеславу Казимировичу Кукелю путешествия по Амуру казались прямой дорогой к блистательной карьере. В доме его старшего брата в Иркутске, где собирался городской олимп, не раз говорили о примерах головокружительных взлетов по служебной лестнице. Сам брат, часто повторявший: «Лови счастье, пока оно дается», ухитрился получить в один год два чина. За карточными столиками, между пустыми разговорами и анекдотами, серьезно намекали, что уже этой зимой старший Кукель займет место начальника штаба войск Восточной Сибири. А нынешний начальник штаба Николай Васильевич Буссе, полковник в тридцать лет, представлен на производство в генералы. Поговаривали, что вот-вот будет создана Амурская область, военным губернатором которой он и станет. А разве не позавидуешь Михаилу Семеновичу Корсакову, которого Николай Николаевич за десять лет провел от штабс-капитана до генерала, военного губернатора Забайкальской области. Или взять Петра Васильевича Казакевича. В сорок шестом году он был лейтенантом на транспорте «Байкал». В пятьдесят шестом — уже контр-адмирал, военный губернатор Приморской области и командир всех русских портов на Восточном океане.

Сам Вячеслав Казимирович тоже не жалуется на судьбу. По Амуру он плавает второе лето. А уже сотник и чиновник для особых поручений при генерал-губернаторе. Прибыл в прошлом году курьером в Усть-Зейский пост и сразу был замечен Николаем Николаевичем. Генерал, как только сотник представился, направил его осматривать новые постройки в Усть-Зейском посту, а потом в станицу Иннокентьевскую. Правда, тогда произошел казус с проектом Усть-Зейской станицы, к которому он тоже приложил руки. Впрочем, если бы не этот грубиян капитан Дьяченко, проект просто бы забыли, а теперь случай с ним превратился в анекдот. Над проектом потешаются по всему Амуру и даже в Иркутске.

У Кукеля-второго диплом инженера. Но не на поприще возведения военных укреплений, не в строительстве простых казарм и домов надеется он оставить свой след на Амуре. Из всей инженерной науки успешнее всего усвоил Вячеслав Казимирович умение строить церкви. К этому лежит у него душа, в этом он видит средство для продвижения по службе. Высшее начальство уже привыкло к тому, что в Амурском крае одна за другой возникают станицы, и это никого не удивляет, зато когда докладывают, что заложен новый храм, начальство непременно заинтересуется: «Кто руководит строительством?» — «Сотник Кукель», — отвечают чиновники. Недаром старший брат Кукеля сказал: «И на церквях, Вячеслав, можно сделать карьеру!»

Последнее лето оказалось для Кукеля хлопотливым. Еще в конце февраля он выехал из Иркутска в Читу. Затем с генерал-губернатором, как только тронулся лед, отправился на

Амур. Там, в Албазине, он достроил начатую еще в прошлом году церковь и получил приказ сопровождать караван переселенцев к устью реки Уссури.

Сплавив казаков до Казакевичевой, сотник вернулся в новую станицу Екатерино-Никольскую, названную так в честь супруги Николая Николаевича. Там выбрал место для церкви и проинспектировал строительство станицы. Надо было съездить в Благовещенск, поторопить с отправкой транспортов с продовольствием для переселенцев, однако сотник, памятуя о том, что придется идти бечевой, кормить комаров и мошку, решил на месте дожидаться барж с продовольствием. Тем более что в Екатерино-Никольской нашлись для него развлечения. Однажды, когда Кукель находился в станице, тигр на виду у всех схватил жеребенка и унес его в лес. Казаки тут же организовали охоту, сотник примкнул к ним. Потом ездили охотиться на уток, потом... Только осенью Кукель узнал, что у привезенных им на Уссури переселенцев начался голод. Хлеб, который казаки привезли с собой, кончился, а казенный так и не подошел.

Кукель кинулся в Хабаровку. Неприятность с казаками могла обернуться личной неприятностью для него.

В Хабаровке слухи о голоде в новых станицах по Уссури подтвердились. Командир четвертой роты 13-го линейного батальона поручик Козловский сообщил батальонному командиру, что он вынужден выделять продовольствие для переселенцев из своих и так небольших запасов. На Уссури выехал батальонный командир Дьяченко, чтобы самому на месте уточнить положение с продовольствием.

— Взял ли он с собой провиант? — спросил Кукель у адъютанта батальона.

Адъютант, молодой штабс-капитан, всего полмесяца назад прибывший в Хабаровку и вступивший в должность, ответил, что капитан повез продовольствие только для четвертой роты.

— Отчего же он не подумал о казаках?! — в сердцах воскликнул Кукель.

— Думай не думай, у нас свой провиант на исходе. Ждем баржу с мукой, но ее нет и нет. Кроме того, четвертая рота делится с казаками, чем может.

Дело для Кукеля принимало явно неприятный оборот. О транспорте с провиантом для казаков нет никаких вестей, а если в станицах начнут умирать люди, не поздоровится и ему.

— Вы недооцениваете угрозу всему переселенческому делу на Уссури! — резко выговаривал сотник адъютанту батальона, заботясь, впрочем, более о своем очередном чине, чем о казаках, и велел показать ему наличные продовольственные запасы батальона.

Адъютант заколебался. Кукель тут же высокомерно напомнил, что он адъютант самого генерал-губернатора. Намекнул и на то, что старший брат у него вот-вот станет начальником штаба.

Адъютант батальона вынужден был открыть склады.

Продовольствие у батальона было действительно на исходе. Если не прибудет до ледостава мука, зимовка в Хабаровке окажется голодной. Несмотря на это, Кукель приказал погрузить в лодки все наличные сухари, кирпичный чай и выделить солдат для сопровождения груза к месту назначения.

Штабс-капитан не знал, как ему поступить. Отказать сотнику, но у него такие связи. Отправить груз, что будет с батальоном, если не придет баржа, и что скажет батальонный командир, когда вернется в Хабаровку. Кукель оказался настойчивым, уговорами и угрозами он принудил адъютанта отправить продовольствие. Шесть лодок, сопровождаемые солдатами и унтер-офицером Ряба-Кобылой, вместе с Кукелем поплыли по реке.

Шел сентябрь. Казаки в Корсаковой и Казакевичевой ловили кету.

— Ай, рыбка! — похвалялись они. — Сама в сети прет! Гольды нас надоумили. Они же показали, как ее впрок готовить. Теперя бы нам мучицы, так и перезимовали бы.

Свой хлеб у казаков кончился. Но в Корсаковой жителей было немного, и солдаты делились с ними сухарями. В Казакевичевой линейцев не было, но здесь неплохо уродился картофель.

— Едим вот, то картошечку с рыбой, то рыбку с картошкой. Так и перебиваемся.

— Что у вас слышно про верховых новоселов? Как у них с продовольствием? — спрашивал Кукель.

— Плохо у них было. А как сейчас, не знаем.

На следующий день, уже за станицей Казакевичевой, на Уссури Кукелю встретила лодка. Ряба-Кобыла сказал сотнику:

— Наш батальонный командир возвращается.

Кукель встревожился, но виду не подал.

Капитан Дьяченко был удивлен, узнав в лодочниках своих солдат. Но еще больше поразило его и рассердило самоуправство Кукеля.

— Да это же Тришкин кафтан! — гневно напустился он на сотника. — Латаем в одном месте, обрезаю в другом.

Между офицерами разгорался спор. Кукель доказывал, что казакам угрожает неминуемый голод, а Яков Васильевич отвечал, что то же самое ждет его батальон.

— Как вы могли забрать все сухари?! — возмущался он.

— Вам скоро должна поступить мука!

— И казаки ждут транспорт с провиантом! Нет, нет! Из-за чьей-то нераспорядительности голод в батальоне я допустить не могу. Ряба-Кобыла, сейчас же поворачивайте обратно!

Солдаты начали разворачивать лодки.

— Вам это так не пройдет! — закричал Кукель, вспоминая заодно и о том, как Дьяченко высмеял проект Усть-Зейской станицы, и решил непременно отомстить капитану. — Я все доложу лично Николаю Николаевичу, — с угрозой сказал он. — И я снимаю с себя ответственность за зимовку казаков. Отвечать за голод, за их страдания будете вы!

— Что ж вы не позаботились о зимовке раньше? — сказал Дьяченко. — Я только что от казаков. Посоветовал им ловить кету. Мой ротный командир Козловский делится с ними, чем может. Слухи о голоде явно преувеличены.

— Нет, я не позволю вам повернуть лодки, — упорствовал Кукель. — Я приказываю вам от имени Николая Николаевича как адъютанта для особых поручений!

Кукель умышленно называл генерал-губернатора только по имени и отчеству, стремясь подчеркнуть свою близость с ним.

Оба офицера стояли друг против друга на причаливших одна к другой лодках. Казалось, что они вот-вот бросятся в драку.

— Помните, капитан, батальоном вы командуете последний год, — стал опять угрожать Кукель. — Избавить от вас батальон мне поможет брат, о котором, я надеюсь, вы слышали!..

В конце концов Дьяченко согласился отпустить с Кукелем часть груза, но потребовал, чтобы сотник написал форменный рапорт о том, что он действует от имени генерал-губернатора. Кукель тут же сочинил требуемую бумагу. На том и разъехались.

До самой Хабаровки Яков Васильевич не мог успокоиться. Он понимал, что, если не подойдет до ледостава баржа с мукой, батальону придется пережить нечто похожее на экспедицию 1856 года. Тогда все его усилия, направленные на сплочение батальона, обернутся провалом.

Сначала капитан собирался, сразу же по приезде, отстранить от должности адъютанта батальона. Как он мог поддаться Кукелю и отпустить без разрешения своего командира провиант? Но к Хабаровке капитан успокоился. Он решил немедленно послать солдат ловить кету и вялить ее, как это делали гольды. Надо выделить охотничью команду, а картофель, выращенный на огороде Сидорова, придется беречь.

Шел октябрь. За дождями, ненужными уже ни людям, ни тайге, вдруг выдавались погожие тихие дни. Проплывали в небе запоздалые караваны птиц. Бесшумно срывались с деревьев последние листья. Покинул свое гнездо в Хабаровке орлан с двумя орлятами и орлицей.

Козловский торопился до ледостава закончить начатые постройки. В каждом готовом доме Невельской, Корсаковой и станицы номер четыре коротали в тесноте ночи казаки сразу нескольких семей. А утром вместе с линейцами выходили доделывать остальные избы.

Стояли уже почтовые станки на пути от Хабаровки до Горина. Жили в каждом из них по несколько солдат. Станок — изба или просторная землянка. На берегу одна-две лодки, чтобы возить до следующего станка почту и курьеров. Вдоль берега длинная поленница дров, заготовленных по наряду для пароходов.

Поднялась большая казарма с красной крышей и на крутом берегу у мыса Джай. Эта казарма да несколько небольших домов пока и был весь город Софийск. В казарме, сидя у печки, молодой солдат Игнат Тюменцев сделал вторую зарубку на рукоятке своего охотничьего ножа. До конца службы оставалось восемнадцать лет. До Глани, до Мариинска, было всего тридцать пять верст. Рвался туда Игнат с первого дня, как высадились рота в будущем Софийске. До того надоел ротному командиру, что однажды поручик Прещепенко вспыл, ударил Игната и обругал его последними словами. Но потом, как раз через неделю, понадобилось Прещепенко побывать в Мариинске, и он вместе с тремя другими солдатами взял с собой Игната. Как плыли, как обратно возвращались, не помнит Игнат. А вот встреча с Глашей врезалась в память так, что не забудется, наверно, до самой кончины.

На пристани в Мариинске Прещепенко сказал:

— Валяй, Тюменцев, ищи свою зазнобу. Только запомни: дел у меня здесь часа на три. Опоздаешь — голову оторву. Да ворон не лови по дороге. Козырай, как положено, офицерам. Задержат дурака — сам розог всыплю.

— А где же искать-то? — растерялся Игнат, разглядывая здания на берегу. — Здесь казарм и домов столько, что за день не обежишь.

— Спроси у солдат, где, мол, каторжанки помещаются. Вот и найдешь.

И побежал Игнат в гору по дощатому тротуару. Первый же солдат 15-го батальона, волочивший к реке связку недавно оструганных весел, показал ему арестантскую казарму. Запыхавшегося Игната у казармы остановил молодой часовой:

— Куда прешь? Не знаешь, что ли, что здесь ссыльные каторжанки!

Объяснил ему Игнат, что хочет он увидеть Глашу, тоже ссыльную. Что из одного села они...

— Ишь чего захотел, — начал куражиться часовой. — А разрешение на свидание у тебя есть?

— Да ты, браток, пойми: времени у меня нет разрешение получать. Приплыли мы с ротным и сейчас назад плыть!

— Не могу, — сказал часовой. — Да и тетенок-то сейчас в арестантской нет. На работе они.

— А где на работе?

— В разных местах, — сказал часовой.

Услышав разговор, вышла из казармы пожилая каторжанка с перевязанной щекой и закричала на часового:

— Чего ты тут над человеком изголяешься! Сказать ладно не можешь. Кого тебе надобно, солдатик?

— Глашу мне, — сказал Игнат, — из Засопошной она.

— Глашку-то, — посмотрела внимательно каторжанка на Тюменцева. — Так она теперь не с нами. Ты шагай-ка вон туда, где солдатская слободка. Там спроси Ивана, отставного солдата, избу. Тамо-ка Глаша-то.

Побежал Игнат в солдатскую слободку, не думая, почему там Глаша, мечтая лишь о том, как встретит ее, как прижмет к груди. В слободке быстро разыскал домишко Ивана. Его тут все знали. Стоял тот домишко посредине небольшого огорода, лежали возле двери чурбаки, приготовленные для дров. Ни двора, огороженного плетнем, ни крылечка или сенцев у дома не было.

Без стука открыл дверь Игнат и сразу увидел Глашу. Сидела она на лавке у окошка и латала какую-то одежонку. А за столом хлебал из котелка уху пожилой солдат.

— Гланя! — позвал Игнат и шагнул через порог.

Подняла на него глаза Глаша, охнула. Медленно положила на лавку свое шитье, медленно поднялась, прижимая скрещенные руки к груди, а потом, ни слова не сказав, опустилась на лавку и заплакала в голос.

— Гланюшка! — воскликнул Игнат. — Да ты что? Вот он же я, приехал к тебе, как обещался. Или не признала?

Игнат взглянул на солдата, который, выронив оловянную ложку, сидел опустив голову, посмотрел опять на Глашу и шагнул к ней. Но остановился, услышав голос солдата:

— Жена она моя. А ты, поди, Игнат? Опоздал ты, Игнат. Ну, я выйду, а вы тут потолкуйте...

Солдат встал и, сгорбившись, вышел на улицу, осторожно прикрыв за собой дверь.

Минуту или больше Игнат в нерешительности стоял посредине избы, потом сел за стол, на короткую лавку, на то самое место, где сидел солдат.

— Венчали нас, Игнат, — вздрагивая от плача, заговорила Глаша. — Ой, против воли венчали нас. И теперь я Иванова жена.

За дверью слышались удары топора. Бессрочно отпускной солдат Иван остервенело колот чурки. Он взмахивал топором и с силой вонзал его в чурбак. И после каждого удара топора к его ногам отлетало полено...

— Да как же так, Гланя? — не в состоянии уяснить всего, что произошло в их жизни, спрашивал Игнат.

— А вот так, а вот так, Игнаша. Бесправные мы все: и ты, и я, и мой Иван.

Это — «мой Иван» — больно кольнуло Игната. Он обхватил ладонями голову и так, не поднимая глаз на Глашу, выслушал ее рассказ. А с улицы доносились глухие удары топора. Иван колот дрова.

— Он ничего, Иван-то, тихий, — продолжала Глаша. — Он со всем согласный. Да люблю-то я тебя, Игнаша. Но грех — этакая любовь. И не судьба нам вместе быть.

— Пойду я, — сказал Игнат, вставая.

— Иди, Игнаша. Что уж теперь. Иди.

И ушел солдат второго года службы Игнат Тюменцев. Ушел, так и не обняв Глашу. Ушел, не сказав слова Ивану.

А он-то, Иван, при чем...

Мучился Игнат, вернувшись в Софийск, места себе не находил. Ночью и днем опять и опять видел Гланю. Не хотел, а память перебирала их последнюю встречу. «Венчали нас, Игнат... — слышал он Глашин голос. — И теперь я Иванова жена». Забывался солдат за работой, и вдруг в голове опять звучало: «Бесправные мы все: и ты, и я, и мой Иван...» Лучше бы, наверно, утонул он тогда, когда сорвался с утеса в реку, чем вот так не находить себе покоя. И корил он порой в своих мыслях Глашу, хотя знал, что корить-то ее не за что.

Оторванным листком, одинокой сиротой почувствовала себя Глаша, когда скрипнула и закрылась за Игнатом дверь. Хотела выскочить из дому, да ноги не пошли. И Иван долго не возвращался, все колот за стеной чурбаки. А пришел, молча сел за стол, не подходя к жене, не поднимая головы. И сидели они, и молчали, и думали каждый по-своему об одном и том же. Так до самого вечера не сказали друг другу ни слова. А вечером вдруг засобирился Иван на рыбалку на всю ночь, хотя свежая рыба у них еще была.

Что думал Иван, зачем оставлял в эту ночь Глашу одну, она не знала. А зря он ушел. Только затихли за окошком Ивановы шаги, всполошилась Глаша, заметалась по избе, руки сами стали сбрасывать в кучу пальтишко, платок, зимние обутки.

«Господи, да что же это я делаю», — думала она, а сама уже затягивала узел. Выглянула в окошко, хотя солнце уже закатилось, еще сумерки — все видно. Опустилась Глаша на лавку, рядом с узлом, стала думать, как ей пробираться, чтобы дойти незамеченной до Кизи. «А там найду лодку, а может, гиляков встречу — упрошу их отвезти меня к

Игнаше».

Долог летний вечер. Медленно темнеет небо, так медленно, что не выдержала Глаша, подхватила свой легкий узел и выскользнула из дому. По-за огородами, по-за домами солдатской слободки стала она пробираться к Кизи. Хотя и вольной считалась она после венчания, да не выпустили бы ее из Мариинска ночью одну — бывшую каторжанку.

Услышав голоса, останавливалась Глаша, приседала или прижималась к кустам, а потом опять чуть не бежала дальше.

Днем дорога до Кизи не так уж далека, а ночью, как стемнело, да еще потому, что шла Глаша сторонясь людей по колдобинам да еле приметным тропкам, не выходя на колесную дорогу у реки, — не было, казалось, ее пути конца. Падала она, зацепившись за корень, оступилась в какую-то яму, вздрагивала от людских голосов и шла.

Сначала все ей казалось просто. Выйдет на окраину, за солдатские посты, найдет лодку, столкнет ее в воду и поплывет по реке к Игнату. Потом стала думать, а где же она найдет своего ненаглядного. Когда пришел Игнат, ничего об этом не говорили. О себе Глаша рассказала, о своей горькой судьбине, а где стоит Игнат, как он там живет — не спросила. Не до того было. «Ничего, как-нибудь найду!» — успокаивала она себя. «Ну и что будет, если найду?» — вдруг подумалось ей. Подумалось так, будто очнулась она от сна, и все, что она делала и думала до этого, было в забытьи, а может быть, даже не с ней. Ведь вернут ее к законному мужу. Непременно вернут. Думала так Глаша, а все равно шла, уже не остерегаясь никого, не шарахаясь от темных кустов, похожих на часовых.

Когда набила о камни ноженьки, когда утомилась вконец, села Глаша прямо на землю у самой тропинки. И тут захлестнула ее острая жалость к безропотному, тихому Ивану. «А ведь с Игнашей я не останусь, — пришла к ней мысль, — а может, и не доберусь до него, по пути как беглую перехватят, и Ивану ни за что ни про что боль нанесу».

Заплакала Глаша в голос над своей судьбой. Плакала и вспоминала, то как ожидала в Мариинске Игната на реку глядячи, то как берег ее, как заботился, зная о ее тоске по Игнаше, Иван. «И за что я его, невиновного, обижу», — думала она опять.

Выплакалась Глаша, встала, прошла немного в сторону Кизи, а потом повернула обратно к брошенному дому Ивана.

12

— Построение! — трубил сигнальщик у мачты с флагом. — Построение!

Солдаты, натягивая шипели, выбегали на плац и выстраивались на притоптанном снегу. С замерзшего Амура тянул холодный ветер, и, пока не раздалась команда «смирно», солдаты топтались, поколачивали себя по бокам рукавицами, переговаривались:

— Не сильный ветерок, а пробирает...

— Зима, брат, здесь ранняя, а к рождеству и вовсе закрутит.

— Ничего, дровишки есть.

— Чего это нас в воскресенье подняли, или что случилось?

— Смирно! — обрывая разговоры, слышалась команда.

Батальон замер. На плацу стояли три роты, кроме второй, поручика Прещепенко, оставшейся в Софийске и на почтовых станках.

Из дома батальонного командира вышли капитан Дьяченко и адъютант.

— Солдаты! — обратился к строю капитан. — В штаб батальона поступил срочный пакет. Его необходимо доставить командиру шхуны, зазимовавшей в гавани Святой Ольги. О дороге к гавани я могу сказать очень мало. Известно только, что она расположена на морском побережье, к югу от Хабаровки. По-видимому, надо держаться реки Уссури, а потом перевалить горы, выйти на берег океана и далее следовать на юг. Добираться до гавани придется пешком. Через тайгу и горы лошади не пройдут. На это дело требуются два человека, согласных идти по своей охоте. Продовольствия возьмете с собой, сколько

сможете унести, кроме того, адъютант батальона выдаст охотникам пятьдесят серебряных рублей на путевые расходы.

Капитан помолчал, перебросился несколькими словами с адъютантом, окинул строй взглядом и добавил:

— Предупреждаю, дорога трудная, но и дело срочное. Поэтому я и вызываю добровольцев. Кто желает, шаг вперед!

Михайло Леший, как самый рослый, стоял на правом фланге батальона. Он тянул ухо, чтобы разобрать, о чем идет речь. Еще командир говорил, а он решил идти и сразу за командой выступил из строя.

За ним, из середины роты, шагнул Кузьма Сидоров. Вышли вперед и двое из роты Козловского. Они уже знали немного Уссури, целое лето проработали там, и, значит, часть дороги была им знакома.

С удовольствием бы отправился в такое дальнее путешествие к океану поручик Козловский. Узнав о пакете, он еще до построения просился у Дьяченко отпустить его с одним солдатом. Но капитан отказал. Весной, со сплавом, ожидали пополнение — и для новобранцев необходимо было построить казарму. Незаконченной оставалась конюшня. Строился батальонный штаб. Работы и зимой будет много, а весной Козловскому опять отправляться на Уссури рубить новые станицы.

— Спасибо, линейцы! — поблагодарил Дьяченко добровольцев. — Но послать мы можем только двоих. Поэтому пойдут солдаты первой роты Леший и Сидоров. Леший на то и леший, чтобы по лесу бродить, а Сидоров уж будет при нем.

— Вольно, — заглушая смех солдат, скомандовал адъютант. — Разойдись!

Строй рассыпался. С говором, со смешками линейцы побежали в теплые казармы. Летом работали без отдыха, а сейчас зимой, в воскресенье, можно и отдохнуть.

Михайлу и Кузьму капитан увел к себе. Вместе с Козловским они набросали схему дороги.

— Дойдете до Казакевичевой, а там вверх по Уссури, — объяснил поручик. — Здесь будет станица Невельская. За ней станица номер четыре. А вот дальше русских селений пока нет. Придется справляться о дороге у инородцев.

— Тут, Леший, тебе карты в руки. Объясняться по-ихнему ты научился, — заметил капитан. — Что я вам еще подскажу. Чтобы пересечь водораздел, выбирайте правый приток Уссури. Ну, собирайтесь, и в дорогу.

— Когда выходить? — спросил Кузьма.

— Хорошо бы завтра поутру. Успеете собраться?

— Успеем, — заверил Леший.

На следующее утро от Хабаровки в сторону станицы Корсаковой, по чуть намеченной дороге, с ружьями и туго набитыми ранцами за плечами, вышли в дальний неведомый путь Кузьма Сидоров и Михайло Леший.

— Ничего, Михайло, добежим! — вспомнив, как говорил казак Кузьма Пешков, сказал Сидоров. — И ветерок, вишь, в спину, подгонять будет. А я схожу вот в этот поход и все: давайте Кузьме бессрочный отпуск! Я, парень, казачку, Богдашкину мать, из Кумары решил в Хабаровку перевозить. И перевезу...

— А что, — бодро вышагивая впереди, отозвался Михайло. — Неплохой у нас командир, а совсем без начальства и вовсе хорошо. Я потому и пошел. Да и двадцать пять рублей серебром в кармане не лишни! Так ведь, Кузьма?..

Отправив солдат, Яков Васильевич вернулся к себе писать отчет о работе, проделанной батальоном за лето и осень. Об этом запрашивал из Иркутска коллежский секретарь Карпов, побывавший летом с губернатором в Хабаровке. Он намекал в письме, что отчет крайне важен, как для батальона, так и для самого капитана.

Курьер, доставивший пакет для шхуны и письмо Карпова, собирался в обратный путь, и надо было спешить с отчетом.

«13-й линейный Сибирский батальон, — писал Яков Васильевич, — в лето 1858 года

сплавил на Амур собственное хозяйство из Шилкинского завода, запас артиллерийских снарядов и пушки для Благовещенска. Участвовал в сплаве переселенцев, содействовал к водворению и домоустройству их. На реке Уссури рота под командою поручика Козловского заложила три новых станицы. Рота поручика Прещепенко устроила почтовые станки ниже Хабаровки до реки Горин и основала город Софийск.

В Хабаровке батальон выстроил для себя казармы, провиантские магазины, цейхгаузы, помещения для офицеров...»

Трудный, наполненный событиями год, дорога по Шилке и Амуру, вся работа здесь в Хабаровке, на реке Уссури и в Софийске — все это уместилось в несколько строк отчета. Капитан подумал и написал о том, как батальон пополняет недостаток продовольствия рыбой, охотой и за счет собственного огорода, а перед его глазами проходили солдаты: надежный, спокойный Ряба-Кобыла, богатырь Михайло Леший, старый солдат Кузьма Сидоров и совсем молодой Игнат Тюменцев. Одни вспомнились лицами, другие — работой, ухватками, словами.

«Несмотря на невероятные труды, понесенные нижними чинами батальона, они и здоровы, и обеспечены на зиму всем необходимым».

— Володя! — крикнул капитан сыну. — Иди, перебели отчет. Почерк у тебя лучше моего.

— А петли на зайцев пойдем проверять? — забежав в комнату, спросил Володя. — Ты обещал пойти со мной в воскресенье, да не пошел.

— Вчера, сам знаешь, приехал курьер. Не получилось. Сегодня же сходим. Садись-ка вот сюда, пиши на этой бумаге. Она получше...

По торосистому льду присыпанной снегом Уссури мчались две упряжки собак. Верхом на первой нарте, поставив ноги на полозья, сидел вместе с проводником гольдом Михайло Леший. На второй, скорчившись за спиной хозяина упряжки, лежал Кузьма. В дороге они были уже третью неделю. В первый день пути солдаты обедали в станице Корсаковой. Там же нашли оказию. В станице оказался казак из Казакевичевой. На его санях Кузьма и Михайло приехали к ночи в эту станицу.

— Вот как! — радовался Леший. — Так-то мы с тобой, Кузьма, враз до моря докатим!

Из Казакевичевой до Невельской пришлось идти пешком. Отдохнули там солдаты и в конец второго дня дошли до станицы номер четыре.

Это был последний русский населенный пункт на реке Уссури.

— Кто же там дальше живет? — допытывался у хозяина избы, пустившего их на ночлег, Кузьма. — Будет ли у кого хоть про дорогу спросить?

— Гольды оттудова летось приплывали. А далеко ли, близко ли их стойбище, кто знает. Мы туда не наведывались, — объяснил казак.

Он с сомнением относился к походу, в который пошли солдаты, теребил бородку, покашливал:

— А уж где то море, никто не знает. Добежите ли нет, паря, сомнение меня берет.

— Дойдем, — укладываясь спать на ворох соломы, брошенной у печки, говорил Михайло.

На третий день только к ночи добрались они до стойбища недалеко от устья реки Хоро. Мужчин в стойбище не оказалось, все были на охоте. Женщины боязливо прятались до тех пор, пока Леший не заговорил с ними на их же языке. Тогда солдат отвели в жилище, где оказался старик гольд. Здесь же у старика остались ночевать. О дороге к морю он ничего сказать не мог.

А потом пошли-потянулись дни, похожие один на другой. Та же ледяная, пересыпанная снегом дорога под ногами, испещренная следами зверей, те же вроде леса по берегам. Когда попадались редкие стойбища, ночевали на теплых канах, а чаще ждали рассвета у костра, приспособляясь по-всякому. Накладывали из валежника за спиной стенку, спали между двумя кострами. А то один спал, а второй сидел, поддерживая огонь.

И не будет, казалось, этим дням, этой долгой дороге конца.

На пятнадцатый день пути, как считал Кузьма, а по расчетам Михайлы выходило, что на шестнадцатый, еще солнце не поднялось на полдень, как небо стало заволакиваться мороккой. Ветер, тянувший от моря, стих и показалось даже, что потеплело.

Прошедшую ночь солдаты провели под корнями упавшего сухого тополя. Падая, дерево выворотило большой пласт земли, и образовался навес. Под этот выворотень Сидоров и Леший наложили хворосту. Забрались туда, как в берлогу, у входа разложили костер и прокоротали ночь, в общем-то, неплохо, хотя ночь и выдалась морозной. Утром натаяли снега в котелке, попили, обжигаясь, кипятку с сухарями и чуть свет пошли.

С половины дня в спины путникам потянул небольшой ветерок, а небо все больше и больше хмурилось. Но пока беды ничто не предвещало, разве что вороны. Большими суматошными стаями они пролетали над рекой с левого берега на правый.

— Да пропадите вы пропадом, — слушая их карканье, выругался Леший. — Ишь разорались. Не к добру это.

За обрывистым берегом в затишке путники перекусили и отправились дальше. Вороньи стаи пролетели, а ветер усилился.

— Не нравится мне погода, — сказал и Кузьма.

— Ничо, — отозвался Михайло. — Ветер-то по пути дует. В самый раз подгоняет. Хошь не хошь, а иди!

А солнце уже скрылось за лохматыми низкими тучами. Начало быстро темнеть, пошел колючий снег. Ветер теперь бросался от берега к берегу: то гнал солдат чуть ли не бегом вперед, то сек снегом прямо им в лицо.

— Худо, Леший, пурга начинается. Надо где-то табором становиться! — кричал в спину Михайле Кузьма.

— Где тут остановишься! — пыхтел впереди Леший. — Пойдем, брат, пока идется. Может, жилье встретим.

— Ну, пойдем пока.

Они шли, перебрывая только что нанесенные пургой рыхлые сугробы. Пронзительный ветер проникал в рукава, за борт шинелей, под воротники и угрожающе гудел в вершинах деревьев на гористом крутом берегу.

Скоро метель закуролесила так, что Кузьма видел только спину товарища да отвесный склон скалистого берега слева от себя.

— И правда, Кузьма, давай искать, где укрыться, а то скоро совсем стемнеет, — остановился Михайло.

Они постояли, прислонившись друг к другу, чуть передохнули, отдышались и побрели у самой скалы, пытаясь найти какой-нибудь выступ, загораживающий от ветра, или ущелье, по которому можно было бы подняться на берег.

Скалистый обрывистый берег, как на зло, тянулся, наверно, с версту, не давая возможности линейцам не только остановиться на ночь, но даже присесть передохнуть. Сидоров еле брел, часто теряя из виду Лешего и опасаясь потерять товарища, хотя понимал, что у отвесной скалы берега они никак не могут разойтись.

Наконец прибрежную гору разрезало широкое ущелье. Солдаты обрадовались и свернули в него, надеясь здесь найти укрытие от непогоды. Но и сюда ветер задувал, может быть, только чуть-чуть тише. Однако Михайло и Кузьма какое-то время шли по глубокому снегу распадка, по бурелому, но так и не обнаружили подходящего затишка. Тогда они присели за свалившимся со склона валуном. Если прижаться к нему спинами, то ветер не так чувствовался, но уже в шаге-другом от камня он кружил и швырял снег.

Посидели, передохнули и решили попробовать разжечь костер. Леший побродил вокруг валуна и наломал немного сухих сучьев. Кузьма достал кремь и огниво, подготовил трут и стал высекать искру. Михайло вынул из-за пазухи пучок сухой травы. Но окоченевшие руки плохо слушались Кузьму, и как только он ударил огнивом по кремню, сразу вышиб его из рук. Отыскивая в снегу кремь, он потерял и трут. Кремь не нашли.

— Ну его к ляду, этот костер, — сказал Леший. — Все равно здесь не переночуешь.

Давай отдохнем и пойдем дальше. Авось найдем что получше.

Посидев за валуном, уже в темноте, два путника опять вернулись на реку и, подгоняемые пургой, побрели вдоль берега.

«Вот так и пропадем», — еле поспевая за Лешим, думал Кузьма. Оба они замерзли и почти выбивались из сил, когда фигура Лешего вдруг качнулась и исчезла. Сидоров сделал несколько шагов — приятеля не было. Он остановился и услышал крик Михайлы:

— Давай сюда, Кузьма! Тут, брат, дыра!

Кузьма шагнул к берегу на голос Лешего и увидел его ноги, торчащие из узкого лаза в пещеру. Ноги исчезли. И Кузьма полез вслед за Лешим.

Отверстие оказалось нешироким, попасть в пещеру можно было только ползком. Зато сама пещера, наверно, постепенно вымытая большой водой, оказалась довольно просторной. Двоим в ней можно было свободно сидеть и лежать. А самое главное, здесь было тихо.

— Ну, парень, — отдышавшись, сказал Кузьма, — и как ты ее разглядел. А я ведь думал, что конец нам с тобой приходит.

— Теперь ночь как-никак скоротаем, — довольно сказал Михайло, обшаривая пещеру. — Вот бы дровишки здесь оказались.

Но, кроме мелких камней, в пещере ничего не было.

— Ладно, — опять сказал Михайло, — ты тут сиди, а я пойду, сучья поищу.

— Может, не надо, а то заблудишься.

— Не заблужусь!

Леший покряхтел и вылез наружу. Не возвращался он долго. Кузьма стал беспокоиться. И заблудиться может солдат, и ногу себе повредить, да мало ли что. Несколько раз он высовывался из лаза и кричал. Звал Лешего и прислушивался, но, кроме воя расходившегося бурана, в ответ ничего не доносилось. Наконец в пещеру просунулся Леший и бросил к ногам Кузьмы несколько сучьев.

— В одну сторону сходил, нет сухих дров. Теперь пойду в другую, а ты сиди.

Кузьма засунул руки за пазуху, отогрел их немного и решил запалить хоть маленький костерок. Он сложил сучья, подложил под низ самые мелкие. Вынул из ранца и засунул под них последнее письмо старшего брата, полученное еще в Шилкинском заводе. Хоть и жалко было, да что поделаешь. Свой кремь Кузьма потерял. Он оторвал лоскут подклада от шинели, натер его порохом и положил на полку замка ружья. Спустил курок, порох вспыхнул и воспламенил тряпку.

Это был проверенный в походах способ. Загоревшейся тряпичей Кузьма поджег бумагу, и пока она разгоралась, стянул сапог и достал солому, служившую ему стелькой. Пучок соломы поддержал огонь. Задымили, загорелись мелкие сучья, осветив каменистый свод небольшой пещеры. Сразу стало веселей. А там и Леший приволок вывороченную из-под снега коряжину. Он бы ее не заметил, да, на счастье, запнулся за нее, перешагивая сугроб.

— Ладно, — сказал он, протягивая к костру руки. — На ночь дров нам не хватит, так хоть обогреемся.

Воздух в пещере быстро нагревался. А в двух шагах от костерка бушевал буран. Он поворачивал тянувший наружу дым и бросал его назад в пещеру. Солдаты кашляли, вытирали слезы, но были довольны: спасены, буран пересидеть можно. А не найди Леший пещеру — пропали бы.

Так у костерка, экономя сучья, они пересидели буранную ночь. Зато, как бы в награду за испытание, на следующий день Кузьма и Михайло неожиданно вышли к большому стойбищу. Десятка полтора жилищ, амбарчики и вешала для вяленья рыбы открылись солдатам, когда они обогнули заросший лесом мысок. Все эти строения располагались на высоком берегу. Поднимаясь по утоптанной тропе к стойбищу, солдаты слышали сердитые крики, возбужденные голоса, плач, ожесточенный собачий лай, чьи-то стоны.

— Что это у них? Может, помер кто или зверь охотника задрал? Пойдем-ка поскорей! — сказал Леший.

— Не торопись, давай сначала посмотрим, — остановил товарища Кузьма.

Они поднялись на бугор и, прячась за невысокими дубками, стороною от тропы вышли к стойбищу. Выглянув из-за деревьев, Леший присел и махнул Кузьме, чтобы тот подошел поближе.

— Ты посмотри, посмотри, что они тут вытворяют, — шепнул он.

Кузьма выглянул из-за спины Лешего и увидел поваленного на землю гольда, которого избивали палками двое маньчжур, а может, китайцев. Рядом на нарте, на ворохе пушнины, сидел еще один дородный маньчжур и что-то сердито кричал стоявшим в стороне перепуганным жителям стойбища. Еще два маньчжура волокли к месту расправы старого плачущего гольда.

— Маньчжур-то всего пять, а жителей вон сколько, — опять сказал Леший, — а бояться, не перечат...

В это время палка в руках одного из маньчжур обломилась, он схватил вторую и так ударил лежащего на снегу охотника, что тот, до этого только стонавший, закричал. Маньчжур, восседавший на нарте, захохотал, и Леший не выдержал.

— Ну, берегись! — воскликнул он и выскочил из кустов.

Кузьма кинулся за ним. А богатырь солдат уже схватил за шиворот обоих маньчжур, избивавших гольда, приподнял их и стукнул друг о друга. После этого он швырнул их на землю и направился, расставив руки, к главному маньчжуру. Тот от неожиданности и страха перекувыркнулся через нарту, и перед Михайлом оказались его ноги. Михайло ухватился за них и вниз головой приподнял маньчжурского начальника над нартой, хорошенько встряхнул его и бросил лицом в снег.

Маньчжуры, тащившие старика, отпустили его и отбежали в сторону, а те, с которыми Михайло уже расправился, все еще ползли ногами вперед в разные стороны, боясь подняться.

Кузьма за это время подбежал к нарте и поднял свалившиеся с нее неуклюжие кремневые ружья.

Все происшедшее ошеломило и маньчжур, и жителей стойбища. Наступила тишина, в которой слышалось только постанывание и кряхтение вставшего сначала на карачки, а потом севшего на снег толстого маньчжура.

— За что это они вас? — спросил Михайло.

Гольды, со страхом уставившись на него, молчали.

— За что били-то, спрашиваю? — повторил солдат.

— Не понимают они тебя, — сказал Сидоров.

— Тьфу ты, и правда, — снимая шапку и вытирая лоб, согласился Леший и задал свой вопрос по-гольдски.

Маньчжуры уже оправились от неожиданного нападения и собрались возле своего начальника. Он что-то буркнул, и двое из них осторожно пошли к Сидорову, показывая руками, чтобы он отдал им ружья.

Кузьма отрицательно замотал головой, и маньчжуры отступили.

Гольды в ответ на вопрос Михайлы чуть ли не все разом начали жаловаться. Из их восклицаний солдат понял, что маньчжуры уже второй раз в этом году отбирают у них всю пушнину.

— Только пришли с охоты, а они тут...

— Всю добычу забрали!

— Мало показалось, бить начали.

Жалуясь, гольды в то же время робко поглядывали на своих обидчиков.

Толстый маньчжур, по-видимому, знавший местный язык, сердито закричал, и гольды сразу притихли.

— Что он крикнул? — спросил Кузьма.

— Чтоб молчали, — ответил Леший и повернулся к маньчжурам. — Сейчас я с ними поумекаю.

Короткая речь Михайлы даже Кузьме наполовину оказалась понятной. Гольдские слова Леший перемеживал крепкими русскими ругательствами, а под конец поддал коленкой так, будто саданул невидимого противника ниже спины. Толстый маньчжур пытался что-то возразить, но Михайло замахал руками, указывая на левый берег. После этого маньчжуры сразу стали собираться. Двое из них начали запрягать в нарту собак, двое других укладывать и увязывать свалившуюся с нарты пушнину. Их начальник, почтительно улыбаясь, принялся о чем-то просить Михайлу.

— Отдай им, Кузьма, ружья, — сказал Леший. — Хотя нет, погоди, мы у них сначала пушнину заберем.

— А ну, у кого что маньчжуры отобрали, забирайте обратно, — сказал он по-гольдски.

Жители нерешительно топтались на месте, переглядывались, но подойти к нарте боялись.

— Эй, начальник, — крикнул тогда Михайло маньчжуру, — верни-ка пушнину, которую здесь отобрал. Разбойник ты, мать твою так... — добавил он уже по-русски.

Дородный маньчжур сам сбросил с нарты почти половину собранной им пушнины.

— Вот, это другое дело! Теперь, Кузьма, отдай им фузеи.

Кузьма бросил подскочившим маньчжурам ружья. Толстяк маньчжур, запахнувшись в шубу, уселся на нарту, крикнул на собак, и те побежали вниз по тропе. За нартой потрусили остальные маньчжуры.

— Разбирай шкурки-то! — опять распорядился солдат.

Охотники, поглядывая на удалявшуюся нарту, один за другим робко подходили к брошенной на снег пушнине и выбирали каждый свою.

— Что это ты, Леший, говорил ему по-гольдски, а ругался по-нашему? — смеясь, любопытствовал Кузьма.

— Так не умею я по-гольдски-то ругаться, — улыбался и Михайло, — вот и пришлось по-русски. А сказал я ему, что посланы мы с тобой, Кузьма, за порядком смотреть. Чтобы никто не мог гольдей обижать. И еще велел ему на наш берег не ездить, пусть на своем грабит.

— Мы уйдем — вернется...

— Я его упреждал. Вернешься, мол, сам тебе коленкой под зад поддам.

С этого момента два линейных солдата стали самыми желанными гостями в стойбище. Их потчевали в жилище старика, которого они спасли от расправы. Туда собрались, наверно, все взрослые жители стойбища. Узнав, куда держат путь солдаты, охотники пообещали доставить их до устья реки, по которой, как они говорили, можно добраться до горного перевала, а уж потом спуститься и к морю.

Отоспавшись в тепле, Сидоров и Леший утром отправились в путь уже на нартах. Дали им две самые выносливые упряжки собак, а сопровождать их поехали лучшие охотники.

Вот и катятся нарты по замерзшей Уссури. Радуются солдаты.

— Не спишь, Кузьма! — окликает товарища Михайло.

— Уснешь тут!

— То-то, не спи, а то свалишься!

А через некоторое время неугомонный Леший опять кричит:

— Как там без нас в Хабаровке?

— Живут... — односложно отвечает Кузьма.

— И я думаю: живут.

В Хабаровке, о которой вспоминали путники, давно наладилась размеренная жизнь, будто и не весной высадились здесь линейцы, а живут уже не один год. Как и положено на зимних квартирах, здесь не только работали, а занимались строем, от которого отвыкли солдаты. Маршировали на плацу, а Ряба-Кобыла требовал:

— Подай ногу! Левой! Левой!

Кололи штыками сплетенные из хвороста чучела, стреляли по мишеням.

Шел конец декабря. Не было вестей от Лешего и Сидорова, давно не проезжали

курьеры из Иркутска и Николаевска. И что там, как в России, хоть бы какой слух дошел...

Вечерами офицеры собирались в доме батальонного командира. Просторная комната, окнами с одной стороны на плац, с другой — на лес, заменяла им и клуб, и гостиную. Когда за окнами монотонно подвывал ветер или мела пурга, Афимье Константиновне приходилось проявлять немалую изобретательность, чтобы развлечь офицеров. Она встречала их у дверей и объявляла:

— Сегодня, господа, «сутолка» отменяется. Карты я убрала. Сегодня мы будем читать рассказ «Севастополь в декабре месяце».

— Бр-р, опять про зиму... — шутливо ежился Козловский.

— Чье сочинение? — спрашивал адъютант батальона.

— Право, не могу сказать...

Афимья Константиновна доставала привезенную из Иркутска книжку журнала «Современник», всего трехлетней давности, и, значит, по амурским понятиям, совсем свежую, листала ее и говорила:

— Подписано: «Л. Н. Т.». По-видимому, кто-то из офицеров, участников обороны Севастополя.

— О Севастополе! Давайте, — оживлялся Козловский.

— Вот вы и будете читать, — передавала поручику журнал хозяйка.

А когда после чтения и чая офицеры вставали из-за стола, Афимья Константиновна говорила:

— В следующий раз каждый расскажет какую-нибудь историю из своей жизни.

— А что если я не переживал никаких историй? — спрашивал Козловский.

— Не скромничайте, поручик, что-нибудь да припомните.

Приглашали на вечера солдат-песенников и, послушав их, расходясь, жалели, что в Хабаровке, кроме сигнальной трубы да барабанов, нет никаких музыкальных инструментов.

— Летом приплывим пианино из Иркутска, — обещала хозяйка. — А пока, что подделаешь.

— Эх, далеко Прещепенко, — вздыхал Козловский, — с ним можно было бы устраивать отличные музыкальные вечера.

— Знаю, знаю, зачем он вам нужен, — смеялся Дьяченко. — Поспорить захотелось.

— В том числе, — улыбался Козловский.

Под самый Новый год примчался в Хабаровку на казачьих лошадях курьер из Благовещенска штабс-капитан 14-го линейного батальона. Он привез приказы и, разумеется, новости, разговоров о которых хватило потом не на один вечер.

— Вы, конечно, еще не знаете, господа, да где вам знать в такой глуши, — говорил курьер, греясь второй кружкой чая. — За успешное заключение Айгуньского трактата наш генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев возведен государем в графское Российской империи достоинство с присоединением к его фамилии названия Амурский! Так что теперь Николай Николаевич — граф Муравьев-Амурский!

— Награждены орденами и пожизненными пенсиями Корсаков, Казакевич, Невельской, Буссе, — со скрытой завистью продолжал курьер, — и многие, многие другие. Со мной приказы, касающиеся вашего батальона и лично вас, капитан.

Яков Васильевич вскрывал пакеты.

Приказом от 24 декабря Сибирские линейные батальоны переименовывались в Восточносибирские с присвоением им новых номеров. 13-й линейный батальон становился 3-м Восточносибирским, соседний с ним 14-й, расположенный в Благовещенске, стал 2-м, 15-й — 4-м, а 16-й стал первым.

Между тем штабс-капитан спросил:

— Как вы думаете, господа, сколько новых селений возникло за это лето на Амуре и Уссури?

— Да уж не меньше, чем в прошлом году... станиц пятнадцать.

— Тридцать одно! — воскликнул курьер. — Тридцать одно! Это позволило 8 декабря

образовать Амурскую область с центром у нас, в Благовещенске. Неужели не слышали?.. Ну и Пошехония у вас! Сейчас ждем в Благовещенск своего военного губернатора генерал-майора Буссе. Кстати, вы помните бесславный поход 1856 года? Ну, кто не помнит, так слышал. В связи с этим походом и назначением Буссе в Иркутске ходят по рукам стихи. Только это строго между нами, господа, и прошу не записывать. Даже не знаю, — замялся он, — читать ли?

— Пожалуйста, — попросил Козловский, — дальше Хабаровки стихи не уйдут. Вы сами изволили заметить, что у нас глушь.

— Ну, хорошо, хорошо. Только, упаси вас бог, подумать, что я причастен к их сочинению. Стихи касаются нашего военного губернатора. Впрочем, я надеюсь, господа, на ваше слово. Итак, стихи таковы...

Штабс-капитан прищурился, словно припоминая, и, постукивая пальцем по столу, прочитал:

Память страшного похода
Пятьдесят шестого года
Свято чтит страна.
Вот по этим-то заслугам,
Говорят, к его услугам
Область создана!

Дьяченко рассмеялся и сказал:

— А что, на мое мнение — очень верные стихи. Такие бы еще про Облеухова. Ну, а теперь послушайте приятную весть.

Батальонный командир зачитал приказ о производстве в подпоручики юнкера Михнева.

— Наконец-то! — воскликнул Козловский. — Какая жалость, что далеко рота Прещепенко. Теперь до лета Михнев может и не узнать, что стал наконец офицером.

— А кто такой юнкер Михнев? — спросил новый командир первой роты.

— Тут давняя история. Михнев много лет ждет этого приказа, да все не хватало каких-то бумаг, — объяснил капитан.

— Но там, мне помнится, был приказ, касающийся лично вас, господин капитан, — подсказал курьер.

— Читай же, Яков, — попросила жена.

Дьяченко сломал сургучную печать на последнем пакете и вынул приказ. Он действительно касался Якова Васильевича и был для него совершенно неожидан. Во всяком случае, после стычки с младшим братом влиятельного Кукеля, он ничего подобного не ожидал. Приказ объявлял, что станица номер четыре, заложенная летом на Уссури, получила наименование Дьяченковой.

Офицеры столпились вокруг капитана, посыпались поздравления.

— Неужто так и будет называться Дьяченкова? — удивлялась Афимья Константиновна.

— Эх, знать бы раньше! — воскликнул Козловский. — Я бы там таких теремов понаставил! А то станица номер четыре... Подумаешь.

Утром курьер попросил построить весь наличный состав батальона.

— Уже второй год ведется розыск беглого солдата нашего батальона Михайлы Лаптя, — объяснил он. — Есть слух, правда, непроверенный, что он прибил к вашему батальону. Когда вы уезжали из Благовещенска, одному из солдат, знавших Лаптя, показалось, что он сидел за веслом на одной из ваших барж. Я лично знал мерзавца и хотел бы сам убедиться, что слух этот не имеет оснований.

Разговор происходил в присутствии адъютанта батальона, и Яков Васильевич приказал ему построить батальон.

— Всех, не оставляя даже дневальных в казармах, — сказал он, а сам подумал, что Лешему и на этот раз повезло. «Не уйди он к заливу Святой Ольги, кто знает, как бы все обернулось».

Батальон построился на плацу. Штабс-капитан в сопровождении Дьяченко и адъютанта медленно дважды обошел строй.

— Все? — спросил он.

— Трое больных, давайте зайдем в казарму, — предложил адъютант.

В последней казарме, в углу, отгороженном для больных, лежали три солдата. Михайло Лаптя-Лешего, конечно, среди них не было. И курьер в тот же день отбыл обратно встречать Новый год в Благовещенске.

А в Хабаровку за день до Нового года примчался из Софийска поручик Прещепенко и, конечно же, с гитарой.

— Вы должны остаться у нас на Новый год, — потребовала Афимья Константиновна.

— Буду беспредельно рад, — он прижал руку к сердцу. — Если... — тут Прещепенко взглянул на Якова Васильевича, — если разрешит батальонный командир.

— Яков, ты, конечно, не пошлешь господина Прещепенко в пургу и буран обратно?

— Ну, пурги и бурана пока нет, — кивнул на замерзшее окошко капитан. — Однако поручика и его гитару мы оставим.

Прещепенко давно рвался в Хабаровку, и помог ему случай. Надо было доставить командиру батальона приказ контр-адмирала Казакевича. В нем говорилось, что получены сведения о приготовлениях Англии и Франции к новой войне с Китаем, следовательно, можно ожидать активности этих держав и против русских владений на Амуре. Предписывая регулярным войскам и казакам по Нижнему Амуру и Уссури быть в военной готовности, Казакевич приказывал Дьяченко заложить две речные канонерские лодки по приложенным чертежам. Для вооружения их разрешалось взять крепостные орудия из станицы Казакевичевой.

— Да что они там думают! — возмутился адъютант батальона, когда капитан зачитал приказ. — У нас же нет корабельного инженера, нет никаких приспособлений, хотя бы простейших стапелей.

— Что поделаешь! Баржи строили, соорудим и канонерские лодки, — сказал капитан.

— Завтра Новый год, а они не могут обойтись без служебных разговоров! — перебила их беседу зашедшая в комнату Афимья Константиновна. — Или вы думаете, что я пойду за елкой в лес?! Утром жалели, что не догадались поставить елку на рождество, давайте поставим хоть сейчас!

— Мать-командирша права! — поднялся из-за стола Дьяченко.

— Бегу распорядиться, — вскочил Козловский. — Мои молодцы для вас, Афимья Константиновна, такую елочку принесут!

Последняя ночь 1858 года выдалась тихой, даже мороз чуть ослаб. По льду Уссури, в ее среднем течении шли два обветренных, обмороженных человека. Давно не стриженные бороды их заиндевели, усталые ноги скользили по обнажившемуся из-под снега льду, в котором, как в зеркале, отражались усыпавшие небо звезды.

Одеты путники были необычно. Поверх истрепанных черных матросских шинелей были короткие куртки, а на первом, высоком и плечистом, куртка была заметно тесна и без рукавов. Наверно, не налезла с рукавами, и хозяин их отпорол. На ногах у обоих — легкие меховые унты, а головы покрывали мохнатые шапки, какие носят гиляки на побережье Татарского пролива. Покачивались за плечами у этих, видать, бредущих издалека путешественников стволы ружей, да солдатские ранцы горбятили их спины.

— Что это стойбища не видать? Пора бы ему показаться, — простуженным голосом сказал один. — Больно не хочется сегодня на дворе ночевать. А придется, наверно. Теперь, если по звездам смотреть, как раз полночь. Вон ковшик почти прямо стоит. Не сбились ли мы на какую протоку?

— Ну, ты скажешь, Кузьма! Куда же тут сбиться. Уссури не Амур. Вона, высокий берег потянулся. Скоро и стойбище наших приятелей покажется. Я вот иду и думаю, приезжали к ним после нас те маньчжуры, ай нет?

— Кто их знает. Придем — расскажут. Да хоть бы дойти. Эх, и выпались бы мы с тобой в тепле. Перво-наперво разулись бы. Покурили всласть. Поели...

— Дойдем, Кузьма. Я те говорю: скоро стойбище.

Солдаты замолчали, в тишине только снег поскрипывал под их ногами. Вдруг Леший остановился и прислушался.

— Слышь, Кузьма, собаки лают!

— Лают! — радостно воскликнул Кузьма. — Пошли-ка, парень, быстрее.

— Пошли!

— А что, Михайло, нас с тобой в батальоне, может, уже и не чают живыми увидеть!

Леший отозвался не сразу, он помолчал, побряхтел, и лишь потом сказал:

— Да не. Вот если бы они там знали, чего нам натерпеться пришлось за дорогу, особенно в горах, когда по грудь в снегу брели, может, и не ждали бы.

— И то верно, — согласился Кузьма, вспоминая путь через перевал, снежные завалы, встречу с медведем-шатуном, обледенелые кручи и два последних сухаря, которые тогда оставались у них с Лешим.

Наверно, и Михайло вспоминал дорогу к Восточному океану. Немало лиха хватили они, пока дошли до залива Ольги. Увидели они вмерзшую в лед шхуну тогда, когда хотели уже возвращаться, так и не доставив пакета.

Их, бредущих по торосам к шхуне, заметили матросы и побежали навстречу. Последние шаги Кузьма и Михайло сделали, уже поддерживаемые под руки моряками. А в кают-компания офицеры, взбодрив путников меркой водки, никак не хотели верить, что эти оборванные, обмороженные солдаты пришли откуда-то со Среднего Амура, из какой-то Хабаровки, про которую они еще и не слышали.

Солдат хотели было положить в лазарет, но они попросили дать им день отоспаться и отпустить обратно. На шхуне солдаты прогостевали два дня. А на третий, надев взамен своих истрепавшихся солдатских шинелей матросские, пошли в обратную дорогу, заявив на прощание: «Теперь-то мы плутать не будем. Дорогу узнали, ну ее к ляду!..»

— Ну вот и стойбище, — показал Михайло на темневшие вдоль берега гольдские жилища. — А вот и тропка к нему. Так вот, глядишь, через месяц и до Хабаровки, разлюбезной нашей, добредем.

— Добредем! А взглянуть бы сейчас, как у них там!

— Спят, поди...

Хабаровка в этот полуночный час не спала. И если бы Михайло и Кузьма подходили сейчас к ней, то слышали бы, как раздался в ночной тишине залп ружей, за ним другой, а потом до них донеслось бы разноголосое «Ура!».

Новый русский пост Хабаровка, заложенный всего полгода назад, встречал 1859 год. Встречал мирными залпами. А других и не раздавалось на Амуре за все время возвращения исконно русских земель в пределы своей державы.

ЭПИЛОГ

«Дьяченко... был один из наиболее полезных деятелей по заселению Амура. Спокойный, ровный характер, распорядительность, умение обходиться с солдатами, казаками, с начальствами, с китайцами и своими доставили ему общее уважение амурцев».

М. И. ВЕНЮКОВ

Августовским днем 1863 года по раскинувшейся на склонах трех холмов Хабаровке в походном снаряжении маршировал 3-й Восточносибирский линейный батальон.

Шел батальон мимо своих опустевших казарм, мимо многочисленных лавок, домов и огородов городских обывателей, госпитальных зданий, шел к новой шумной пристани в устье речки Хабаровки. А за пристанью на скате левой горы, на Орловом поле, виднелись между деревьев склады и красные крыши домов Амурской компании.

Разрослась Хабаровка. Пять лет отстраивал ее бывший 13-й, ныне 3-й батальон. Сто шестьдесят семь различных строений открывались теперь взгляду людей, приплывавших сюда по Амуру, а сколько еще строилось новых!

Шел батальон по дороге, прорубленной когда-то в густом лесу, но лес уже заметно поредел, пошел на дома и на дрова. Только вокруг утеса, на высоком берегу, где Амур обрезал среднюю гору, деревья не трогали. Прочистили там дорожки, убрали валежник, и превратилось это место в естественный парк, где можно было набить карманы орехами, набрать кузовок грибов, а главное, полюбоваться на речной простор, на привольные, манящие дали. И если бы кто-то восторженный, как Козловский, вдруг спросил: «А что за тем кривуном?» — ему бы сказали: «Там, по Амурской протоке станица Корсакова, а за левым берегом, во-он там — Новгородская. Ежели же вы изволите поплыть вниз, то скоро увидите крестьянское село Воронежское, за ним Вятское, а там и Сарапупльское. Всего же в Амурской и Приморской областях сейчас более ста пятидесяти казачьих и крестьянских поселений и четыре города».

Много народу собралось поглазеть на уходящий из Хабаровки 3-й Восточносибирский батальон. Переводился он на новое место в пост Камень-Рыболов на озере Ханка. Стояли группками у дороги люди. У одних были знакомые среди офицеров и солдат, других просто привело любопытство.

Стоял у калитки своего дома и отставной солдат Кузьма Сидоров. Уже три года, как он уволен в бессрочный отпуск. В первый же год построил себе в Хабаровке домишко и той же осенью отправился в Кумару за вдовой казачкой и ее ребятишками.

Плыл Кузьма пароходом и не узнавал Амура. И большие и маленькие села и станицы стояли на его берегу. Высыпал к пристани народ, когда причаливал пароход к берегу. Лузгали ребятишки семечки, кудахтали куры, паслись за поскотинной коровы. Будто жили тут люди испокон веков. Только китайский берег отражался в воде лесом да тальником — по-прежнему был пустынен и дик.

— Что ж ваши люди не селятся по реке? Вон земли сколько по вашему берегу пропадает. Или народу у вас мало? — спросил Кузьма, разговорившись с китайским купцом в Благовещенске.

Купец тот, приехавший торговать из Айгуня, растолковал все очень просто. Оказывается, была в Китае, за тысячи верст от Амура, Великая стена. А за ту стену запрещал их закон переходить китаянкам.

— Совсем худо без мамок, — пожаловался купец. — Кто без мамки сюда надолго поедет. Никто не поедет...

Перевез Кузьма в ту осень казачку с сыном ее Богдашкой и дочкой в первое свое собственное гнездо, наполнилось оно как щебетанием птенцов ребячьими голосами да хозяйюшкиной заботой, вот и живет здесь старый солдат, но батальон не забывает. Да и как забудешь, когда прослужил он в нем два десятка лет, день в день.

Увидел бы сейчас его хозяином тезка — старый казак Кузьма Пешков, сотоварищ по давнему-предавнему походу, порадовался бы. А может, больше обрадовался бы Кузьма тому, как переменился амурский берег. И Албазин вновь стоит там, где у пращуров стоял, и Кумара станица живет-поживает. А сколько других станиц появилось — не пересчитаешь.

Солнечно и жарко сегодня в Хабаровке. Солнышко — это хорошо. Краснеют за спиной у Кузьмы в огороде помидоры, склонили тяжелые шапки полные семечек подсолнухи, топорщат землю клубни картофеля. Высунула с краю грядки у самой тропки к дому свою

макушку горькая редька. Место здесь для огородов благодатное. Раскорчевать и вскопать огород помогли Кузьме дружки: Михайло Леший да Игнат Тюменцев, переведенный года два назад вместе с ротой из Софийска опять в Хабаровку.

— Кузьма! — окликает отставного солдата из строя линейцев Михайло. — На пристань-то придешь?

— Иду, иду! — откликается Кузьма.

— Разговорчики! — наводит порядок новый ротный командир.

Пришел он в батальон недавно. Кузьму не знает, да и Леший для него просто нижний чин. А вон вышагивает Игнат Тюменцев. Справным мужиком стал Игнат. Шесть зарубок у него на ноже, скоро сделает седьмую. Каждая зарубочка — ровно год Игнатовой службы. Если по-старому служить, то еще конца-краю не видно Игнатовой солдатчине. Но ходят среди линейцев разговоры, будто теперь, как мужиков помещичьих освободили, будет послабление и солдатам. Должны якобы скостить срок службы. «Дай бог, дай бог», — думает Кузьма.

— Прощай, дядька Кузьма! — кричит Игнат.

Капитан Прещепенко, хотя и не положены разговоры в строю, не одергивает Игната. Понимает он, что старые приятели расстанутся.

Третья рота прошла, а с ней подпоручик Михнев. Вот не везет человеку. То его из юнкеров много лет не переводили, а теперь застрял он в подпоручиках. Опять, говорят, каких-то бумаг не хватает.

А вот и рота капитана Козловского. Хорошая рота. Почти всю Уссури новыми станицами заставила. Появились на ее берегу Кукелева, Шереметьева, Васильевка, Пашкова, Венюкова и даже станица Козловская, названная так в честь командира четвертой роты.

По пыли, поднятой первыми ротами, топает пятая. Надо и Кузьме сходить на пристань, попрощаться с солдатами.

— Богдан! — кричит он. — Пошли-ка, парень, солдат провожать.

— Бегу, тятя! — доносится из огорода, и подросток Богдашка сверкает босыми ногами по борозде между грядок.

— Опять паслен ел, — ворчит Кузьма. — А ну, как живот схватит! Что тебе огурцов и помидоров мало?

— Так он сладкий, — оправдывает Богдашку сестренка, поднимаясь вдруг из ботвы, с черными, вымазанными соком паслена губами.

Вслед за батальоном по обочине пыльной дороги направляются Кузьма и Богдашка к пристани. Богдашка вприпрыжку впереди, Кузьма степенно следом.

У поворота к пристани, у спуска со средней горы, их обгоняет двуколка подполковника Дьяченко. Знал Кузьма, что недавно передал линейцев Яков Васильевич новому батальонному командиру подполковнику Иванову, а сам будет командовать Уссурийским пешим казачьим батальоном и скоро переедет с семьей в Казакевичеву.

Солдаты жалели об уходе командира, боялись перемен, которые неизбежны при новом начальстве. Новая метла всегда по-новому метет. А тут еще переход в Камень-Рыболов из построенной ими Хабаровки.

Сам Кузьма думал, что бывшего его командира перевели к казакам потому, что новые земли по Уссури надо продолжать обстраивать, а уж Яков Васильевич дело это знает как никто. И Усть-Зею строил, и станицы вокруг Кумары, и Хабаровку, и в Софийск наведывался во вторую роту, чтобы и там распорядиться. А сколько раз выезжал в четвертую роту к Козловскому на Уссури, там теперьлюдно, не то что было в зиму 1858 года, когда ходили они с Лешим в бухту Ольги. Две канонерские лодки еще при Кузьме спустил батальон на воду. А указывал им, как суда эти мастерить, тоже Яков Васильевич. Вот и посылает начальство Дьяченко на Уссури. Так разъяснял это Кузьма Лешему с Игнатом. На что Леший возражал: «А что в Камень-Рыболове, думаешь, робить не придется? Тоже придется. Еще как!»

Однако начальству видней.

На пристань Кузьма только-только успел. Обнялся с Михайлой, с Игнатом, с унтером Ряба-Кобылой. Ему тоже этой осенью уходить в бессрочный отпуск.

— Ты, парень, давай-ка в Хабаровку. Рядом со мной построишься. Женишься. Глядишь, меня в кумовья возьмешь, — сказал ему Кузьма.

— Не, — ответил унтер, — я домой, в Сибирь.

Прощались с Кузьмой солдаты, совсем отдавили ладонь, пока не раздалась команда строиться, а потом — на посадку. И вот уже отошли одна за другой баржи. Налегают на весла солдаты. Дело привычное. А что им не привычно? Все привычно.

Стоял на пристани, провожая батальон, Яков Васильевич Дьяченко. Прибывший в Хабаровку командир 1-го линейного батальона, который переводился теперь из Троицко-Савска в Хабаровку, что-то говорил ему, а Дьяченко смотрел вслед уходящим к недалекой Уссури баржам.

Виду Яков Васильевич не показывал, но тяжело было ему расставаться с батальоном, в котором он знал каждого унтера и солдата. Вспоминал Дьяченко дальние походы по Шилке, Амуру и Уссури, вспоминал селения, срубленные его солдатами. И то, что теперь ожил Амур, словно ото сна пробудился, отражая в своих водах длинные улицы станиц, качая на волнах пароходы, баржи, плоты и лодки, перебрасывая эхом человеческие голоса с берега на берег, конское ржание и удары топоров, — во всем этом есть труд и его батальона.

Уходил батальон, а с его уходом обрывалось все, чем жил Дьяченко эти годы. О том, что готовится его перевод, Яков Васильевич, знал давно. Еще прошлым летом появился в Хабаровке Бернгард Буссе, брат военного губернатора Амурской области. Поговаривали, и не без основания, что старший брат перевел его на Амур специально, чтобы здесь Бернгард побыстрее взбежал, сколь можно выше, по служебной лестнице.

Инспектируя батальон и сразу заявив, что, по-видимому, он будет его принимать, Буссе-второй так за все свое пребывание здесь ни разу не убрал с лица презрительную, недовольную гримасу. Выучка солдат, состояние оружия; хозяйство батальона, порядки в нем, даже вода в Амуре — все не понравилось Бернгарду, однако он начал принимать батальонное хозяйство. И вдруг, узнав, что батальон будет переводиться в Уссурийский край, Буссе моментально собрался и в начале декабря уехал. Потом стало известно, что Бернгард Буссе назначен командовать бригадой.

Слухи о смене командира 3-го батальона постепенно затихли, но вот летом пришел официальный приказ о переводе Дьяченко на Уссури, а принимать батальон прибыл подполковник Иванов.

Какой-то причины своего перемещения Яков Васильевич не видел и считал, что это обычный каприз высокого начальства.

Не знал подполковник, что неосторожно рассказав однажды инспектору из Благовещенска Медину стихи о назначении старшего Буссе военным губернатором, он впал в немилость. Медин, которого все чиновники в Благовещенске сторонились, зная его как доносчика, передал содержание крамольных стихов генерал-майору Буссе, и последствия не замедлили сказаться.

Неизвестно было подполковнику Дьяченко и то, что в личном архиве нового генерал-губернатора Восточной Сибири Михаила Семеновича Корсакова хранилось письмо от старшего Буссе, порочащее 3-й батальон и его командира.

«Любезный друг Михаил Семенович, — писал Буссе, — с последней почтой из Хабаровки я получил письмо от брата, в котором он просит написать тебе, что он с благодарностью принимает место командира бригады. Хотя ему очень хотелось служить в Уссурийском крае, но он нашел хозяйство, оружие, одежду и проч. в таком плохом состоянии в 3-м батальоне, что опасается передвижения этого батальона на Ханку, полагая, что и при оставлении батальона на месте надо года три, чтобы привести его в порядок. Я рад, что брат решил не принимать батальон. Я не разделяю твоего хорошего мнения о Дьяченко и верю в общую печальную известность его, как хитрого надувалы, который с замечательным

искусством умеет бойким словом прикрыть свою чисто хохлацкую лень и все беспорядки в батальоне и во всем, что ему поручалось, и потому боялся, что при приемке от него батальона брат не попал бы в неловкое и невыгодное положение...»

Разделавшись так с Дьяченко, военный губернатор Амурской области жаловался: «Скоро уже два месяца, как я сижу дома почти безвыездно. У меня были постоянные ячмени на глазах, так что я три раза откладывал отъезд свой для осмотра станиц и сотенных управлений... Недавно ячмень прошел и, кажется, последний, но глаз еще болит. Кстати, о Медине — он по прежнему деятелен по службе и ведет хорошо дела, но все более и более возбуждает нелюбовь к себе своих сослуживцев... Некоторые уже не кланяются с ним. Но он мне нужен...»

Скрылись в солнечном мареве баржи третьего батальона. Ушел Кузьма покопаться в огороде, убежал Богдашка на Амур ловить чебаков и косаток. Дьяченко и командир 1-го линейного батальона уехали подписывать акт о передаче казарм и прочих батальонных зданий.

От далекой Усть-Стрелки, где воды Шилки и Аргуни, сливаясь, рождали первую амурскую волну, до самого Татарского пролива величаво струилась великая река — дорога России в Восточный океан. Тянулись амурские версты через десятки новых станиц, через города Благовещенск, Софийск, Николаевск, через села крестьян-переселенцев, вставших между Хабаровкой и Софийском. Крестьяне в названиях новых сел оставили память родных мест — Воронежское, Вятское, Пермское, Тамбовское...

В заложенном командой четвертого линейного батальона военном посту Владивосток, в посту Новгородском, что в бухте Посъета, по реке Уссури, по Амуру — везде корчевался лес, возводились постройки, слышалась русская речь.

Россия прочно встала на своих восточных рубежах.

КОРОТКО ОБ АВТОРЕ И РОМАНЕ

Николай Дмитриевич Наволочкин родился 5 января 1923 года в Николаевке, неподалеку от Хабаровска; позднее этот поселок был включен в образованный Смидовичский район Еврейской автономной области. Николаевка стоит чуть в стороне от железнодорожной магистрали на берегу реки Тунгуски и с одноименной станцией соединяется веткой, по которой лес, сплавляемый по реке и перерабатываемый на лесопильном заводе, отправляется в вагонах по назначению. В этом рабочем поселке прошли детство и юность писателя, здесь он впитал краски и запахи неповторимой дальневосточной природы, познал душу своего народа, обрел основы характера, здесь почувствовал неодолимое желание выразить свое мироощущение посредством стиха. Жизнь в те годы была такова, что люди больше заботились о пропитании, о хлебе насущном, о том, во что одеться, и меньше о пище духовной. Поэтому книга в поселке была редкостью и небольшая школьная библиотека умещалась в шкафу; это обстоятельство не последнюю роль сыграло в жизни паренька, заронив в его душу благоговейный трепет перед печатным словом и тайную мечту самому приобщиться к литературе, хотя бы испробовать свои силы. Годы детства и отрочества писателя способствовали таким дерзким мечтаниям и окрыляли. В тридцатые годы шла коренная ломка привычных жизненных устоев. Проходила коллективизация, комсомольцы ехали строить неведомый город на Амуре, тысячи разного люда переселялись из глубины России на Дальний Восток, чтоб строить здесь новые заводы, вторую колею железной дороги, открывать богатства недр, закладывать порты на морском побережье; бывшие крестьяне и рабочие, знавшие до этого лишь работу с топором и лопатой, приобретали в этих условиях самые неслыханные специальности, начинали варить сталь, водить машины и пароходы, летать на самолетах, овладевали наукой и техникой, то есть занимались делами, которые еще десяток лет назад казались недостижимыми для простого

человека. Распахивались двери во все сферы деятельности, только постучись. Как тут было не зародиться мечте научиться писать стихи?!

Первое стихотворение автора-пятиклассника, помещенное в газете «Знамя пионера», называлось «Старая и новая школа». Материалом послужило то обстоятельство, что старая поселковая школа ни в какое сравнение не шла с новой. Сама жизнь подсказывала, о чем писать.

Стихи Наволочкина-старшеклассника стали появляться в областной и краевой газетах, и не случись войны, его профессионализация завершилась бы, наверное, много раньше. Но в самый разгар школьного вечера вдруг принесли повестки из военкомата о призыве в армию. В запасном полку Наволочкин прошел курсы радистов и в конце 1942 года с маршевой ротой выехал на фронт, в 193-ю стрелковую дивизию. Войска, окрыленные разгромом гитлеровцев под Сталинградом, активно преследовали врага, навязывали отступавшему врагу схватки, оборонялись, когда он переходил в контратаки. Эти мартовские, а затем летне-осенние бои 1943 года, когда дивизия форсировала ряд рек, в том числе и Днепр, легли потом в основу повести «Шли радисты». Н. Наволочкин дошел со своей дивизией до Польши, там был ранен и День Победы встретил в Новосибирске.

В годы войны Н. Наволочкин внимательно присматривался к фронтовой жизни, хотя и мало представлял, в каком виде и когда удастся применить наблюдения и впечатления тех грозных лет. Стихи, да, стихи он продолжал писать и в армейскую и в окружную газету, там его печатали, но о серьезном прозаическом произведении он в те годы не думал. Проза требовала более солидной, нежели средняя школа, подготовки, но институт был пока за пределами мечтаний — шла война.

В 1947 году Н. Наволочкин возвратился на Дальний Восток и поступил в Хабаровский педагогический институт на исторический факультет. Его студенческие литературные пробы тепло поддерживают писатели, группировавшиеся вокруг журнала «Дальний Восток», стихи печатаются в журнале. В 1951 году Н. Наволочкин закончил институт и стал главным редактором Хабаровского книжного издательства. С этой поры он не покидает работы ни на один день: восемь лет в издательстве, а затем — по сей день — в редакции журнала «Дальний Восток». Редакторская работа приучила его к требовательности в собственном творчестве и, возможно, незаметно, обратила его внимание на прозу. Но произошло это не сразу, почти десять лет он пишет стихи для детей, исключая разве сборник «Дорогие мои земляки», куда вошли стихи студенческой его поры о дальневосточниках-рыбаках, бакенщиках и других тружениках, о своем восприятии Родины, а также поэма о герое-земляке Евгении Дикопольцеве, который ушел на фронт из педагогического института, и сборник «К звездам».

Что ни год, появлялась новая книжка стихов: «Зайка-художник», «Как Аленка поила теленка», «Путешествие зайца Антошки» и ряд других. Книжки понравились маленьким читателям, и автор пришел к выводу, что может полнее, интереснее рассказать детям о своем крае, об окружающей жизни, о мыслях, которые ищут выхода и должны быть высказаны с помощью прозы.

Этого требовал и характер Николая Дмитриевича. Когда ни встретишь его,ловишь на себе чуть усмешливый, иронический вприщурку взгляд голубых глаз, видишь добрую хитринку на худощавом лице. У него манера посреди беседы трогать тонкими пальцами короткие русые усики и вдруг высказать такое, во что сначала поверишь, но тут же спохватишься. «А знаешь, сегодня от мороза в парке лопнул меридиан: дзинь! — и порвался». Или выдаст небылицу о том, как пятиклассник писал объявление и перепутал все знаки препинания, и хотя все слова на месте, но получилась такая неразбериха. Это уже в мыслях он отыскивал рифмы для стиха «Грамотей». Или как Киря Сорокин под Новый год поймал волшебную щуку и с ее подсказкой вышел читать стихотворение, но повторил за ней и все знаки препинания, ведь щука была грамотная и все знала, и получилось такое веселье в школе, что оно стало гвоздем программы.

Наволочкин умеет рассказывать интересно и непринужденно, и эта простота, умение

владеть устным словом полностью находят свое воплощение не только в стихах и сказках, но и в его прозаических книгах для детей, таких, как «Бор-Бос» поднимает паруса», «Жили-были», «Андрейка-путешественник», где его герои переживают забавные приключения, где порой действуют, говорят, размышляют сами животные — герои повести «Знакомые кота Егора».

Эти детские книжки Наволочкина — определенный этап в творчестве, я бы назвал его вторым после стихов и маленьких сказок в стихах.

Жизненный опыт, особенно воспоминания о войне, позволили Наволочкину обратиться к «серьезной, взрослой» прозе. «Шли радисты» — это повесть о боевых товарищах, таких же радистах, каким он сам был на войне — парнях и девушках, принявших на свои плечи ответственность за судьбу родины. В ней нет четко очерченного сюжета, она скорее хроникальна, состоит как бы из отдельных звеньев — новелл о радистах одного фронтового взвода, и охватывает полуторагодовой период войны, с февраля 1943 года по июль 1944. От новеллы к новелле раскрываются образы молодых радистов, обрастают живой плотью, появляется крепкая между ними связь, и уже не можешь оставаться равнодушным к судьбе маленького солдата Катюшки, отчаянной приисковой девчонки Дорки, полюбившей комбата и оставшейся с ним до их смертного часа в окопах плацдарма; видишь, как вчерашние мальчишки — Ленка, Нури, герой, от имени которого ведется рассказ, набираются мужества, опыта, как крепнет их дружба. Хорошая, чистая повесть «Шли радисты». Ее герои словно бы отмыты от всего лишнего, наносного и представлены в главной их сути как защитники родины, люди долга, в ореоле своего звездного часа. Это не по воле автора выведены такими наши солдаты и офицеры: вот захотел и нарисовал их такими красивенькими. Нет. Сама борьба за великое святое дело — освобождение родной земли — ковала нужные характеры, требовала, чтобы великое исполнялось чистыми руками, и Н. Наволочкину не нужно было что-то ломать в себе: правда фактов, накопленных им за годы войны, водила его рукой, когда он писал эту книгу.

Я лишь допускаю, что по собственной доброте душевной, по жажде видеть людей только хорошими он где-то переслащивает немного, но это не во вред, и я принимаю его героев и верю в них. И если эта мера реальности в чем-то нарушена, так разве в образе Маши Басовой — героини второй фронтовой повести «Жди ракету». Она дала согласие на брак с малосимпатичным старшиной, который прижился в тылу возле какого-то склада, не очень приятным именно из-за своего практицизма в такое время, когда народ в целом весь отдался борьбе. На свадебное застолье приходит друг ее отца, и это служит для нее толчком и как бы пробуждает от спячки: что же я делаю? Ведь ей — девчонке — еще совсем не хочется замуж, ей еще не пришла пора любить с той силой, когда все другое уходит на второй план! И она бежит в город, бежит в фате, а потом уже из чувства совести не может повернуть вспять и от притязаний жениха уезжает на фронт. Здесь она знакомится с молоденьким лейтенантом Деминим, обнаруживая в нем то самое душевное, чего не хватало ей в старшине: умение видеть в окружающей природе светлое, лирическое, что сродни людям нежным, мечтательным, и это сближает их. По воле случая лейтенанту приказано уничтожить группу бродячих немецких танков, силами взвода бронебойщиков, а Маша остается в деревне «маяком» для машин, которые везут раненых в медсанбат, далеко отставший во время летнего наступления. Они встречаются, когда у лейтенанта уже полегла большая часть его солдат в стычке с танкистами, занявшими деревню. И вот ночь в лесу — с луной и теплой туманной дымкой, с поздней росой, когда только бы наслаждаться жизнью, а не воевать. Но лейтенант, чтоб не дать танкам выхода, решает напасть на гитлеровцев среди ночи, собрав вокруг себя случайных бойцов, оказавшихся в деревне и бежавших в лес.

Он достиг своей цели — уничтожил гитлеровцев, не дал им и дальше следовать на соединение с основными силами, а расплата за это — гибель Маши Басовой.

Но сущность литературного дела такова, что мы становимся сопричастны не только историческим или иным жизненным ситуациям, воссозданным автором на основе собственного опыта или с помощью документов, вникаем в сущность проблем, волнующих

человечество, но в самом отборе действующих лиц, в их действиях и характерах сталкиваемся с субъективным фактором — характером самого писателя, с его жизненной позицией. Характер же Николая Дмитриевича — кроткий, мягкий, я бы сказал, очень пластичный в окружающей среде. Он любит людей и хочет видеть их мягкими, снисходительными, умными и добрыми, и такими же их рисует, созвучных его душе и представлению о человеке в лучшем проявлении этого слова. В дальнейшем, на примере романа «Амурские версты», я постараюсь подтвердить этот свой вывод.

Не станем забывать, что Николай Дмитриевич окончил исторический факультет. Может быть, поэтому он страстно полюбил нумизматику: ведь монеты и бумажные ассигнации, боны являются кроме основного своего назначения еще и своеобразными следами политических бурь, потрясавших человечество. Заинтересовавшись монетами чжурчженей, он скоро перешел к целенаправленному сбору — коллекционированию денежных знаков, имевших обращение на Дальнем Востоке в годы гражданской войны и ДВР. В результате — книжка-исследование «Дело о полутора миллионах», очень полюбившаяся читателям, еще одна грань разностороннего таланта писателя.

Тяга к исследовательской работе, к тому делу, которому учился, но заниматься им не пришлось, породила и роман «Амурские версты». Толчком послужило торжество по случаю столетия города Хабаровска, широко отмечавшееся в крае в 1958 году. Основание города, выбор места произведены по указанию губернатора Восточной Сибири графа Муравьева-Амурского, но город-то строил не граф, а кто-то другой. Кто? Как? В печати было упомянуто имя командира 13-го Сибирского батальона капитана Дьяченко. Он со своими солдатами-линейцами возвел первые дома Хабаровки. Кто он? Почему его имени нет на картах Приамурья, хотя всяких других имен — заслуженных и незаслуженных — в названиях населенных пунктов немало. Опять скрупулезное изучение истории, записок современников великого дела — закрепления Амура за Россией, поиски в архивах. Работа неторопкая, но длительная, и в результате — исторический очерк «13-й линейный батальон и его командир», а вскоре и другой, тоже явившийся своеобразным предпольем романа — «Декабрист Михаил Бестужев на Амуре». Эти два очерка явились тем исходным материалом, уже обобщенным, из которого началась вязь романа «Амурские версты».

Думаю, что не последней причиной, побудившей автора заняться «амурской» темой, явились и те незаконные притязания со стороны клики маоистов на амурские земли, свидетелями которых были все советские люди, но особенно остро пережившие эти события мы — дальневосточники. Писатель не мог сторониться горячих событий, и роман явился литературным ответом, еще раз напоминавшим: все, что создано на Амуре в пределах наших границ, создано руками русского, советского народа. Когда в середине XVII века русские уже широко распахивали левобережные амурские земли и засевали их зерном, агрессивная маньчжурская клика Цинов лишь готовила пресловутый «Ивовый палисад» — исходную позицию для дальнейшего наступления на русских земледельцев и воинов с целью их вытеснения, и позиция эта, вынесенная за пределы Великой китайской стены, все равно располагалась не близко от Амура — почти в тысяче километров к югу от него. Почти два столетия пустовали и зарастали лесом амурские пашни, политые потом и кровью русских людей и оставленные вынужденно под силой оружия и навязанного в результате Нерчинского договора 1689 года. Такое положение не могло сохраняться вечно, и в середине XIX столетия русские вернулись на Амур, сначала в низовье его, пробившись туда через льды Охотского моря и мели лимана, а затем сплавившись по нему на плотах из Забайкалья, когда потребовалось защищать побережье от англо-французов. В 1857 году проходил четвертый сплав по Амуру, целью которого было основать цепочку станиц на левобережье Амура, поселить здесь казаков и положить начало земледелию, поскольку хлеб являлся решающим фактором в освоении нового обширного края. Одновременно правительство России предпринимало шаги к тому, чтобы закрепить за собой Амур в официальном порядке, и вместе с генерал-губернатором Восточной Сибири сплавлялся адмирал Путятин: ему поручалось договориться с Китаем о разграничении земель. Это фон, на котором

развертывается действие романа.

Вторая его часть — 1858 год. Новый сплав батальонов и казачьих семей по Амуру, теперь уже до низовий, закладка Хабаровска и пограничных селений по Уссури, поскольку и Путятину и Муравьеву одновременно удалось заключить договоры с Китаем о разграничении по естественному рубежу: рекам Амуру и Уссури, озеру Ханка и далее по сухопутью к заливу Посыета на побережье Японского моря. Россия прочно обосновалась на дальневосточных рубежах.

Но это лишь необходимые исторические факты, которые придают особую достоверность роману и озаряют своим светом обыденную вроде бы жизнь и деятельность участников великого движения русского народа к Тихому океану. Обыденность заключалась прежде всего в том, что освоение Россией земель Восточной Сибири, огромнейших по территории, важнейших по своему значению в настоящем и будущем, проходило без выстрелов, без кровопролитий, без притеснения малых народностей, что являлось для тех времен небывалым в практике распространения цивилизации примером. Именно в свете решения этой огромной исторической задачи деятельность Путятин и Муравьева, Венюкова и Радде, Дьяченко и его офицеров, все, что свершалось рядовыми солдатами и казаками: плыли они на плотках и баржах, рубили на пустынных берегах избы, голодали и мокли, натирали руки и плечи веслами и лямками, даже гибли от нераспорядительности нерадивых начальников — все это становится подвигом во славу Отечества, приобретает огромный смысл.

В фокусе авторского внимания деятельность 13-го Сибирского линейного батальона — офицеров и солдат, казаков Усть-Стрелочной станицы, назначенных к переселению на Амур. Они — живое ядро романа, и при лепке их характеров Наволочкин пользуется всеми красками словесной палитры. И другое дело — вторая половина персонажей исторических: граф Муравьев, офицеры его походного штаба, китайские сановники и даже декабрист М. А. Бестужев, сопровождающий караван купеческих товаров в Николаевск. Здесь, словно бы боясь погрешить против истины, автор стремится максимально придерживаться тех письменных свидетельств, которые были оставлены участниками событий, очевидцами. Казалось бы, материал вступает в противоречие: с одной стороны художественная ткань, с другой — хроника, дошедшая до нас в письмах и записках-воспоминаниях. Но противоречие это лишь кажущееся на первый взгляд. Автор щадит наше читательское время, он доверяет нашим знаниям. Да и не входит в его задачу вдаваться в жизнеописания тех, кто находился на кипучем гребне волны. Его интересовали прежде всего глубинные силы — народ в своей массе, — определявшие успех амурского дела.

Его герои — простые люди России — казаки и солдаты, несмотря на подневольное свое состояние, понимавшие, что они своим трудом прокладывают дорогу будущему величию родины. А об остальных — лишь в меру того, насколько они способствовали, как Венюков, Радде, Бестужев, или мешали, как Буссе, Облеухов, Хильковский, общему делу. В технике, изобретая новое, пользуются готовыми блоками и узлами, чтоб не тратить время попусту на то, что давно придумано. Вот и романист в полной мере использовал не только накопившиеся исторические сведения, но и письма Бестужева, где его характер проступает не менее четко, чем если бы воссоздать его взялся сам автор своими словами. То же и с воспоминаниями Романа Богданова — молодого казака, исполнявшего при генерал-губернаторе во время похода должность писаря, которого Муравьев приблизил к себе в благодарность за активную помощь солдатам 13-го Сибирского батальона, покинутым своими офицерами на пустынном льду Амура. Никакая самая хитроумная выдумка не сравнится с фактами и их разящей силой воздействия на читателя, и автор это прекрасно понимает и полностью берет их на вооружение.

Думаю, что в литературе правомерно такое использование исторического материала, как и любой другой метод. Читаем ли мы письма Бестужева, или о ходе переговоров с маньчжурскими чиновниками рассказывает переводчик Шишмарев, или автор рисует нам картину на основе факта своими словами, мы представляем эпоху, отдаленную от нас более

чем столетием, представляем ее очищенной, где каждому определена мера его вклада в общее дело, независимо от сословного состояния героев. Вот почему нет в романе противостояния художественной ткани исторической хронике, а есть лишь решение одной задачи разными методами.

Задавшись целью рассказать о командире батальона, капитане Дьяченко, автор, по мере овладения материалом, постепенно раздвинул рамки романа, усложнил задачу. Начав с мирной деревенской картинки: «Дед Мандрика, малолеток пятой Усть-Стрелочной сотни, грелся на майском солнышке с годком своим и соседом Пешковым Кузьмой, бывшим служилым казаком той же сотни Забайкальского казачьего войска. Посасывали деды пустые, без табака, медные богдойские трубочки, выменянные в молодости в один и тот же день у богдоев на летней ярмарке...», автор тут же круто замешивает эту мнимую безмятежную жизнь казаков, — тех же крестьян, только в дополнение ко всему еще и обремененных службой по охране границы и другими повинностями, — такими событиями, что с первых страниц видишь: не проста казацкая служба! Немалые перемены ожидают эту тихую до того станицу. Жизнь ее с этого часа пойдет по-другому!

К Усть-Стрелке, где начинается Амур, подходят баржи 13-го батальона. Дьяченко опытный в жизни человек, сочувствующий своим подневольным солдатам, обреченным на два десятилетия тяжелой службы; он много потратил сил, чтобы избавить их от чувства обреченности, владевшего ими после неудачного амурского похода. Как-то пойдет новый сплав? Еще не зная, как он поведет себя в дальнейшем, веришь, что это офицер другого склада, не Облеухов. Этот не покинет своих солдат в беде.

Рядом с ним рядовой Кузьма Сидоров чувствует себя человеком, а это так немаловажно в трудном походе — чувство достоинства. На одной барже с ними и молодой солдат Игнат Тюменцев, мыслями еще в прошлом, хотя и сам понимает, что возврата в деревню Засопошную для него нет. Служба-то двадцать лет!

Немногословен и деловит унтер Ряба-Кобыла, но фигура этого практичного и опытного в солдатском нелегком деле служаки столь же колоритна и впечатляюща, как и солдата Михаила Лешего — умельца и русского богатыря, которого в этот момент знакомства с персонажами романа трясет за ворот за какую-то провинность расхаживший унтер. С ходу, с первых глав происходит расстановка героев романа, главных и эпизодических, и дальше вам остается только следить за их судьбами.

Если генерал-губернатор Муравьев имел перед собой ясную задачу — закрепить за Россией Амур, и дело это являлось для него делом жизни и чести, за что потомки прощают ему и его деспотический характер, и грубость, и неуживчивость, — встает вопрос, разделяли его стремления офицеры штаба, приближенные или нет. В массе своей понимали и разделяли, являлись не только сподвижниками, но и первыми помощниками. К числу главных следует прежде всего отнести Венюкова, принявшего на себя нелегкую ношу по обследованию Амура и долины Уссури, и декабриста Бестужева. Последний, забыв о двадцатипятилетней тюремной отсидке, смело принимает на себя заботу о сплаве барж с товарами и продовольствием для Николаевска, что являлось без натяжек подвигом в условиях безлюдного четырехтысячеверстного пути по Амуру.

Офицеры 13-го батальона тоже отчетливо представляли свою задачу на Амуре. А рядовые? Если верить автору, то вроде бы нет. «Шли бечевой роты 13-го батальона туда, где две другие роты уже воздвигали новые станицы. Шли, разговаривали про самое земное. И не думали, что они первопроходцы и творят великое дело: застраивают и обживают для России, своих потомков край немерянных расстояний, землю, зверей и птиц, тайги да гор, степей и рек. А скажи им это кто-нибудь сейчас, они бы не поняли, ответили:

— Ты не болтай, знай тяни...»

Но вот размышления капитана Дьяченко, когда он обзревает Амур с утеса и до него доносятся снизу голоса и стук топоров: «Он в эту минуту живо представил себе тот многоверстный путь, который проделали его солдаты от Шилкинского завода в Забайкалье, до этого вот холмистого берега, в среднем течении Амура, и бесправные его солдаты, на

которых мог накричать любой унтер, которые не раз попадали под тяжелый кулак офицеров, а то и под розги, срезанные тут же в прибрежных тальниках, сейчас показались капитану настоящими богатырями. Они безропотно шли в дальние походы, то бечевой, то на веслах или шестах преодолевали тяжелые амурские версты. Голодали, мокли, тонули, мерзли, а шли вперед, лишь смутно ощущая, что такая вот их солдатская служба нужна не генерал-губернатору и не офицерам, которые их ведут, и даже не государю императору, а всей стране, России».

Выходит, понимали, что их служба нужна родине, и если, по словам автора, не стали бы об этом рассуждать: «Ты не болтай, знай, тяни», так только из-за врожденного истинно русского чувства стыдливости, на которое сам автор и ссылается, приводя строки из севастопольских записок Льва Толстого. Если там условия были ужасные в силу сражений, массовой гибели людей от оружия, то и на Амуре они были не менее тяжкими из-за огромной удаленности, плохого снабжения, унижительных крепостнических порядков, усугублявших страдания.

В романе «Амурские версты» более всего удались образы простых людей — солдат и казаков. На них автор не жалеет красок. Разве можно читать без искреннего волнения строки, где восторженный подпоручик Козловский идет с дедом Мандрикой, чтоб увидеть один из обрядов — приглашение на переселение домового, без которого новый дом будет незащищен перед напастями судьбы. А страницы, где обмороженный голодный казак Кузьма Пешков тащится из последних сил по Амуру, а в уме неграмотного человека складываются одно к одному слова песни о горькой участи казаков — участников бедственного сплава. И таких сцен народной жизни в романе много, написанных с большой душевной теплотой и глубоким знанием особенностей своей земли.

«Стучат топоры, прокладывая России торный путь к Восточному океану. И за ротами линейцев встают свежими стенами новые русские селения. Пусть пока неказистые, наспех срубленные, но это уже оседлое человеческое жилье, вокруг которого лягут пашни и свяжут эти селения между собой тропы и дороги», — так размышляет Дьяченко, глядя на своих бесправных солдат.

Нам близки и понятны устремления героев романа, поэтому и можно только домысливать, как сложится их дальнейшая судьба.

В. Клипель.